E57/466

И. ПОЛТАВСКИЙ. ТОМ 1-й

К57 6/54

ГЕРОИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Издательство Л. А. Френкель
Москва — Ленинград
1925

в сс. фонда

Василевский И. П.
Е 57 — 466

И. ПОЛТАВСКИЙ

ГЕРОИЧЕСКОЕ В РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Б. И. ГОРЕВА

В ДВУХ ТОМАХ
со 112 рисунками
и портр. в тексте.

ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ
МОСКВА ▫ ▫ ▫ ЛЕНИНГРАД
1925

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПУ[illegible]Я
ИС[illegible]Я
БИБЛИОТ[illegible]ФСР
17119 19[illegible] г.

БИБЛИОТЕКА
Государ[illegible] Музея
№ 17119
29 [illegible] 19[illegible]
V
сф. 8880

Типография имени ВОЛОДАРСКОГО, аренд. „Красной Газетой“,
Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 11830. Напечатано 5.000 экз.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Автор настоящей книги—не революционер и не историк по профессии. Отсюда—его легкий тон, отсюда — смешение серьезных исторических фактов с мелкими событиями, элемента общественного с индивидуальным и случайным, отсюда — некритическое отношение к источникам, случайный подбор материала и неизбежные промахи и ошибки. Но, с другой стороны, именно это, скорее психологическое, чем историческое, отношение к революционному движению, отношение человека, который, повидимому, пережил большой умственный сдвиг под влиянием нашей теперешней революции и проявляет его в наивно-восторженном отношении к героическому прошлому, именно это отношение делает его книгу особенно доступной душе начинающего читателя или юноши. И с этой точки зрения не имеют большого значения отсутствие теоретической выдержанности, смешение фактов или характеристик самого различного качества, равно

как отдельные ошибки и неточности: самое важное в книге—это проникающее ее настроение и та масса фактического материала, хотя и преподнесенного под психологическим соусом, который дается читателю и безусловно заинтересовывает, захватывает его. А если принять во внимание, что значительная часть этого материала является изложением или даже цитированием источников, что автор прочитал огромную литературу, то нельзя не признать, что „Героическое в русской революции", в качестве легкого чтения по истории революционного движения в России, безусловно займет свое место и найдет своего читателя.

Б. Горев.

ГЛАВА I.

Молодая Россия.

Первая мысль, какая приходит в голову, когда всматриваешься в яркие образы русской революции,—это мысль о том, какая юная, какая молодая, еще только начинающая проявлять себя, страна — Россия.

Подумать только: всего шестьдесят лет тому назад во всей силе и мощи существовало крепостное право. Всего десять лет тому назад правил Россией благовернейший и самодержавнейший представитель рода Романовых со всей кликой Горемыкиных, Протопоповых и Штюрмеров.

До чего молодая страна Россия, до чего юная и сама Революция Российская! Когда тридцать лет тому назад,—вспоминает Л. Б. Каменев, — в 1895-ом году, Владимир Ильич Ульянов-Ленин написал одну из важнейших прокламаций, посвященную вопросу о необходимости приступить к организации рабочего класса,—эту прокламацию по тем временам удалось выпустить в свет всего только в четырех экземплярах, в рукописном виде. Все „издание“ целиком ушло на обслуживание одного только Семянниковского завода в Петербурге. „Для нас, на теперешний взгляд, тогдашняя работа Ильича кажется иногда прямо-таки смешной!“—говорит об этом в своих воспоминаниях Л. Б. Каменев.

Через год после этой прокламации, под руководством Ленина создался первый комитет социал-демократической партии в России,—„Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса“. Только после этого впервые стала организовываться в царской столице настоящая стачка. Но Владимир Ильич к этому времени оказался уже арестованным.

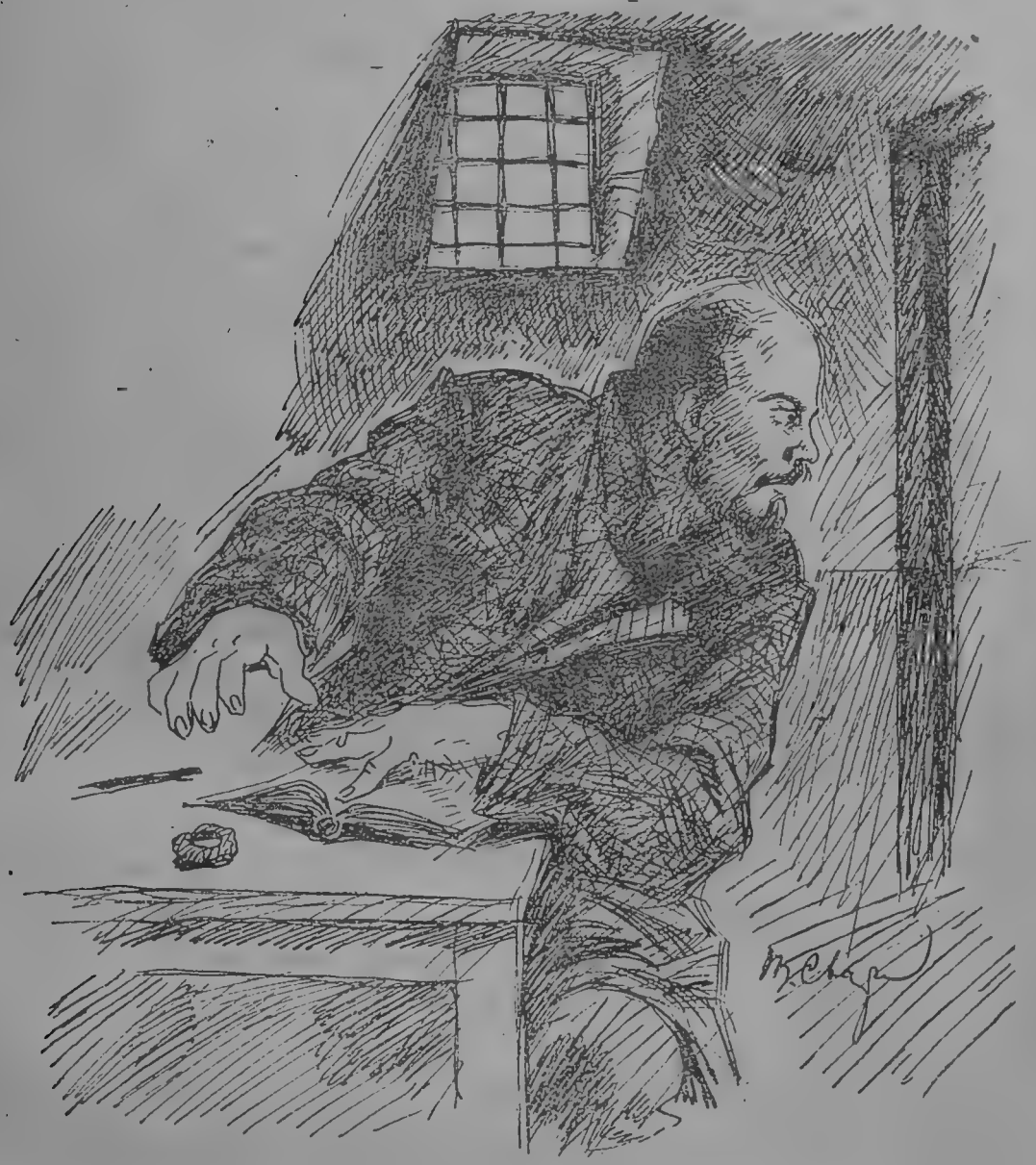
Ленин просидел в тюрьме четырнадцать месяцев, и после этого был на три года выслан в Восточную Сибирь. И если и в эти 4 года Владимир Ильич продолжал руководить организацией, то условия этой его деятельности были таковы, что, например, первую программу правящей ныне партии—он, за отсутствием бумаги и чернил, мог писать в тюрьме только молоком между строчек книг, какие выдавались ему тюремным начальством.

Надолго останется в памяти потомства способ, примененный Лениным для этой работы: „Из черного хлеба он делал маленькие чашечки, в которые наливал молоко и макал перо“. Если в камеру входил внезапно тюремщик, или в тюремный глазок заглядывал надзиратель,—Ленин опрокидывал эту „чернильницу“ к себе в рот, проглатывал ее вместе с „чернилами“ и тем скрывал улики.

Так обстояло дело всего 30 лет тому назад.

Впрочем, что ж вспоминать ту, сравнительно далекую, эпоху! Достаточно оглянуться на то, что творилось на наших глазах еще только что. В вышедшей в Париже книге белого эмигранта, М. А. Алданова, „Огонь и дым“, среди описаний Парижа, его улиц и памятных по историческим воспоминаниям домов,—находим следующее указание:

„Если б стены дома на улице Bailloû, расположенной в квартале катакомб, пожелали разговориться,—то мы



бы услышали, что лет десять тому назад в них помещалось странное учреждение. Оно называлось школой. В нем жило шесть или семь русских. Они назывались рабочими. Раз или два в неделю в эту школу являлся

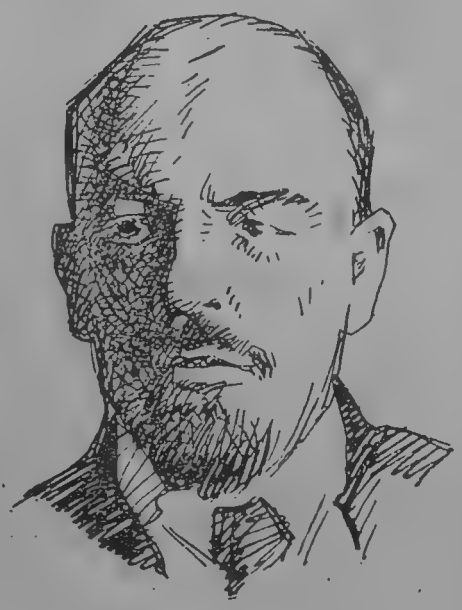
невысокий, лысый, рыжебровый человек и, грассируя, как камер-юнкер, равнодушно читал шести невежественным, часто пьяненьким, слушателям лекции странного свойства".

Все эти украшения стиля о „пьяненьких" слушателях, которые „назывались" рабочими, и „равнодушном" профессоре,—необходимо нужны автору по его должности белого эмигранта. Честно выполняя эти обязательства своей должности, он уверяет, что, жившие в этой школе рабочие не только нигде не работали, но, и „скорее всего, жили здесь именно для того, чтобы не работать": их содержали и кормили бесплатно. „Я в ту пору",—говорит М. Алданов,—„мало интересовался указанным учреждением, но и тогда мне нередко приходилось слышать юмористические рассказы о нравах его обитателей и о том, что в нем происходило".

Оставим в стороне всю эту специфическую эмигрантскую юмористику. Всмотримся в существо дела, в самое содержание лекций, какие читал „грассирующий, как камер-юнкер, рыжебровый профессор".

„Лекции были странного свойства",—сообщает Алданов.—„Профессор подробно объяснял, что он будет делать с землей, заводами, и богатствами России, когда станет ее хозяином. Говорил также,—эту мысль он изложил в ту пору и письменно,—что с владетелями земель и заводов, в первую очередь с царем и дворянством, ему придется расправиться беспощадно, и что такая расправа называется террором. Говорил еще, что одной России ему мало, и что он намерен по своему переделать все пять частей света. Из слушателей те, что поумнее и потрезвее, усмехались, другие хлопали глазами. Если же кто пытался для форсу возражать, то равнодушный профессор внезапно приходил в ярость и выживал вольнодумца из школы.

Поговорив с час, он уходил в свою конуру на улице Marie-Rose, в доме № 4. Настоящее имя этого Фердинанда VII-го Поприщина было известно немногим. Звался он в разную пору различно: товарищ Карпов, товарищ Ильин, товарищ Тулин. Теперь он имеет в мире некоторую известность под именем товарища Ленина".



Было бы грешно изменить хоть одно слово в этой цитате из эмигрантского источника. Дело не в стиле, „некоторой известности товарища Ленина", и т. п., а в самой сущности эпизода.

Неужели всего десять лет отделяет нас от этих лекций профессора перед аудиторией, состоящей из шести человек, заброшенных на чужбине?

Всего десять лет! Как же не ощутить, не почувствовать, до чего вправду молода и юна наша революция, наша история, наша Россия!

* * *

„Героическое в русской революции"... Прошлое—это всегда кладбище. И, подходя к теме о прошлом русской революции, хочется раньше всего почтительно, нежным словом уважения, помянуть погибших, не дождавшихся, не доживших. Сколько их! Не подсчитать, не измерить бесконечного числа жертв, людей, отдавших свои силы и свою жизнь во имя победы революции.

— Вечная память почившим!

Не будем вспоминать примеров, пользующихся широкой известностью, имен прославленных русских революнеров, как А. И. Желябов или Софья Перовская. В этом нет необходимости. Стоит наудачу взять любой период, любой эпизод в истории русской революции, чтобы увидеть целые толпы неведомых, безвестных людей, в душах которых в решительные моменты их жизни оказались целые залежи подлинного героизма, беззаветного подвижничества.

Стоит вчитаться в документы, какие сохранили казенные архивы царского времени, в те данные, какие суконным языком запечатлели полицейские протоколы, чтобы всей душой почувствовать подлинное величие.

Вот наудачу взятая небольшая книжка, изданная в 1908 г.: „Памяти Фрумкиной и Бердягина". Всмотримся в факты, приведенные здесь в сухо-протокольной передаче:

„В 1903 году происходящая из минских мещан повивальная бабка Фрума Мордуховна Фрумкина, 29 лет, отточенным ножом нанесла удар в шею начальнику киевского жандармского управления ген. Новицкому. Ее присудили к 11 годам каторги, которую она отбывала в Горном Зерентуе. По манифестам срок был сокращен. Ее отправили на поселение в Читу, откуда она бежала в 1907 г. В том же году Фрумкина арестована в Москве, в Большом театре, близ ложи московского градоначальника Рейнбота, с браунингом, заряженным отравленными пулями. Фрумкину заключили в центральную Бутырскую тюрьму. Здесь она снова покушалась на жизнь начальника тюрьмы Багрецова и ранила его выстрелом из револьвера. Ее повесили 11 июля 1907 года".

Пример пред нами совершенно заурядный, ничего исключительного не представляющий. Но в том-то и заключается его поучительность, его значительность и важность. Стоит вчитаться в письма Фрумкиной, в отчет об ее процессе, и сквозь казенную шелуху протокола пред нами встает величавый живой образ типичной революционерки с железной энергией, с непреклонной волей.

„Вы меня пошлете на казнь. Этим я завоевала право сказать вам все, что я считаю нужным. И я скажу это!“— заявляет Фрумкина судьям в самом начале своего процесса.

Она добилась осуществления своего права, она сказала все, что считала необходимым сказать.—„Я спокойно, просто и ясно доказывала им“,—говорит Фрумкина в предсмертном письме,—„спокойно доказывала судьям, как мы, революционеры, глубоко любим нашу родину, как страстно мы хотим ей помочь, как легко и радостно отдать свою жизнь за нее, как стыдно жить среди тысяч казненных и замученных!“.

— Впечатление, произведенное на судей спокойной и убежденной речью, было потрясающее,—свидетельствует очевидец.—С каждым словом Фрумкина подымалась все выше и выше. Лицо ее было так бледно, что казалось прозрачным. Всегда некрасивая, она сияла неземной красотой.

— Ведь она некрасива,—взволнованно и удивленно говорит защитнику один из судей,—но я в жизни не видел и, вероятно, не увижу такой красоты. „Вся комиссия была страшно взволнована. Председатель сказал, что он никогда ничего подобного не видел и не слышал“.

По закону, смертная казнь для Фрумкиной является неизбежной, но казенные чиновники в судебных мундирах

оказались настолько потрясены, что решили было объявить подсудимую душевно-больной, и хоть этим путем, во что бы то ни стало, избавить, ее от смертного приговора. Но этого Фрумкина не хочет. Она протестует, она требует признания ее права на смерть. „Я заставила“—читаем мы в уцелевшем письме—„понять и почувствовать, что лучше подписать мне смертный приговор, чем отдать в больницу“.

„Обо мне не печальтесь“,—пишет в этом письме Фрумкина, перед смертью на виселице:—„Все хорошо, товарищи, и все будет хорошо! Я ношу имя русского революционера. Этому имени приписывайте мою стойкость и готовность радостно умереть за наше дело, а не мне. Русские революционеры умеют жить и умирать для счастья родины. Я только следую их примеру. Не выделяйте одного, а говорите: „Да здравствует русская революция“. Желаю вам своими глазами увидеть освобождение России“, — так заканчивается предсмертное письмо революционерки:—„Желаю вам хорошо жить и хорошо умереть. Прощайте“.

Фрумкину повесили 11 июля 1907-го года. Казнь ее ближайшего друга, Бердягина, назначена на послезавтра, на 13 июля.

Если Фрумкина считала своей задачей высказаться до конца, то Бердягин избирает для себя иной путь, путь молчания.

„Неизвестный, именующий себя Максимом Бердягиным“, был арестован в Москве в 1905-м году, при чем у него найдены бомба и браунинг. Он отказался давать какие бы то ни было показания, и, как ни стараются охранка и жандармерия, но так и осталось неизвестным—кто он, откуда, как жил, что делал до ареста. Даже настоящее имя его так и осталось неоткрытым. Приговоренный

к 8 годам каторги, 5-го июля 1907 года, он ранил в шею кинжалом, смазанным синеродистым кали, помощника начальника той же Бутырской тюрьмы, в которой содержалась и Фрумкина. И на этот раз он во все время следствия отказывается от показаний. Отказывается он сообщить что бы то ни было и отвечать на вопросы—и на суде. Он бойкотирует суд, требует, чтобы его вывели из зала заседаний, и даже не желает выслушать приговора.

— Я и без того знаю, что меня ждет петля. Но живым я им в руки не дамся,—писал он за несколько дней до казни, решив бойкотировать и виселицу.

Задачи Бердягин ставит себе вполне определенные. Чтобы не даться живым в руки палачей, он решил покончить жизнь самоубийством. Этих своих планов он не скрывает. Начальство тюрьмы принимает все возможные меры. Бердягина поместили в подвальном этаже тюрьмы. Специально для наблюдения за ним прикомандировали трех надзирателей.

Но у Бердягина достаточно сильная воля, чтобы внешние препятствия его не пугали. Он поставит на своем. Он умеет хотеть.

В ночь накануне казни Бердягин принял морфию, порцию которого он умудрился раздобыть и чудом уберечь от обысков. Доза оказалась слишком велика и вызвала тошноту. Силой воли он преодолевал ее в течение всей ночи, но к утру обессилел и рвота началась. Рассчитывать на действие яда трудно.

Бердягин подготовлен. У него есть запасное орудие,—иголка, сохраненная путем невероятных ухищрений. Надо только этой иглой проколоть мозжечок, и вопрос будет решен. Игла пускается в ход со всей энергией. Один

укол следует за другим, но найти мозжечок, достать до него и после целого ряда мучительных опытов так и не удается.

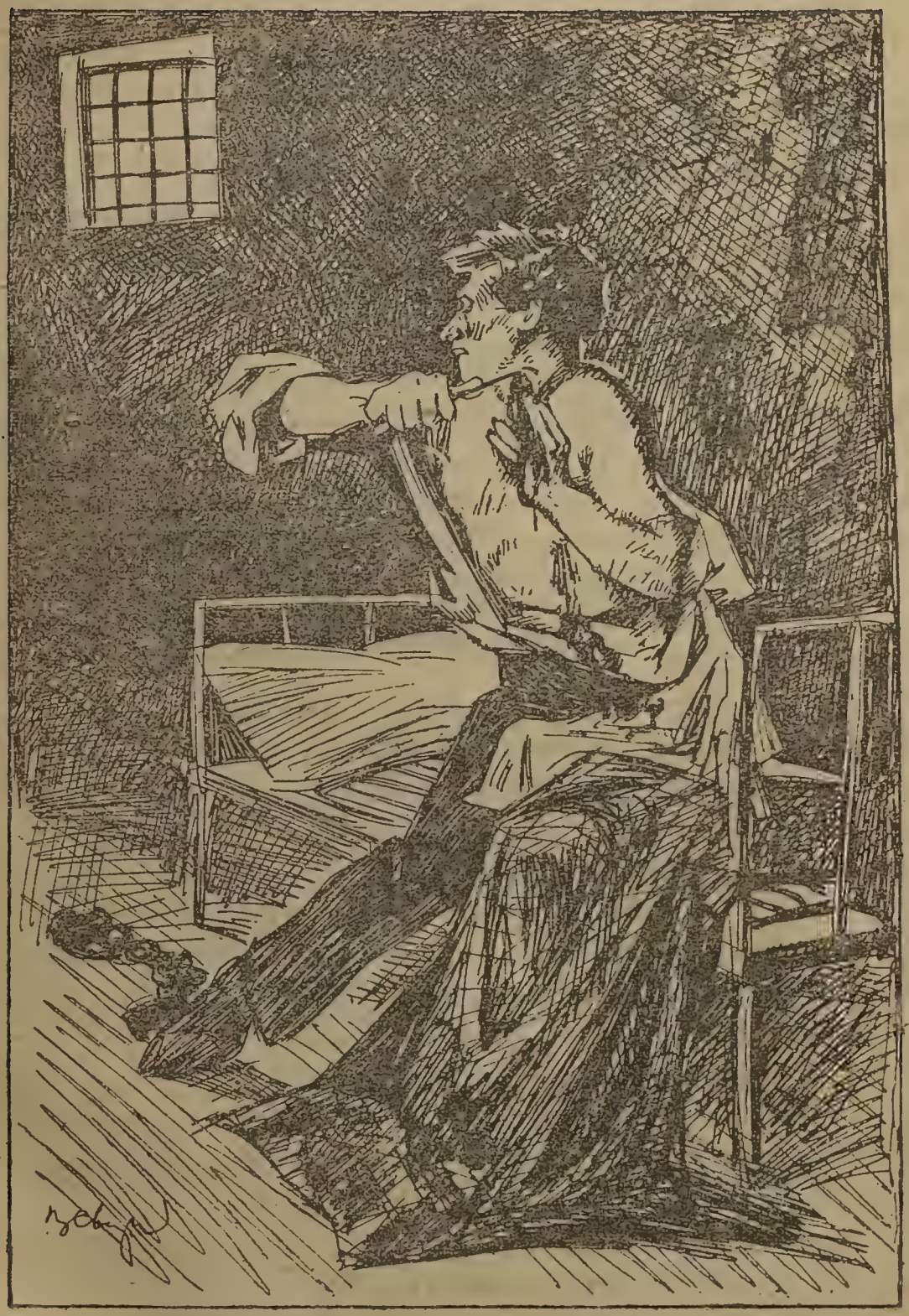
Запасы Бердягина этим не исчерпываются. Он—человек предусмотрительный. Он хорошо знает, что всегда нужно быть готовым к худшему. Где-то в тайниках его камеры хранится еще ржавый гвоздь. Надо только воткнуть его в сердце, и все будет готово.

Гвоздь оказывается короток. Бердягин берется тогда за последнее, имеющееся у него орудие,—ручку от оловянной ложки. Тщательно обточив ее о кандалы, он пробует воткнуть ее в сердце, но „черенок погнулся". На груди—десять ран, но проколоть сердце так и не удалось.

Наступило 13-е число. Весь день за Бердягиным неотступно следили, и приступить к делу оказалось невозможным.—Ну, что ж, надо подождать. На казнь поведут только под утро. Вешать принято не раньше, чем часа в 3 ночи. Времени впереди много.

В 11 часов вечера, делая вид, что он ложится спать, Бердягин, укрывшись одеялом, налег грудью на подставленный гвоздь, чтоб пробить легкое и сердце. Чтобы умереть свободным, он перед тем умудрился снять с себя кандалы.

План, по проверке, оказывается правильным. Налечь грудью на гвоздь—это, и вправду, оказывается гораздо действительнее, чем вбивать гвоздь, пытаясь воткнуть его в ребро. На этот раз задача почти удалась. Как выяснилось при вскрытии, „ребро оказалось пробитым насквозь" и „задета была и сердечная сумка". С такой раной, по указанию экспертов, можно было прожить минут 30—40. Но и на короткое время откладывать смерть и дожидаться ее Бердягин несогласен. Он „вынул гвоздь



из раны, спрятал его на прежнее место“, и после этого „черенком ложки, обточенным о кандалы, перерезал себе сонную артерию“. Для верности дела, „сонную артерию он перерезал в двух местах“.

Цели своей Бердягин добился. Умер он без кандалов, свободным, и умер своей волей, а не в руках палача. Стража заметила самоубийство лишь тогда, когда он был уже в агонии.

„Свободная, счастливая личность в свободном, счастливом человечестве—вот мой идеал“,—пишет Бердягин в последнем перед смертью письме своем: — „Настанет время, когда любовь и разум проникнут в жизнь человека, и мир представит единую, братскую семью“.

В наше время легко умирать,
Уж идет золотая весна,—

— так начинается стихотворение, написанное Бердягиным перед смертью. — „Я счастлив, умирая“...—пишет Бердягин.

„Я не понимаю боязни смерти“... — говорит в предсмертном письме своем и Фрумкина: „Ведь последовательным человеком должно быть всегда и везде, в большом и малом. Людей можно сломать, но не согнуть. Мы ни на минуту не должны забывать, что мы носим почетное звание русского революционера. Это звание обязывает. Не нами началась, не нами и кончится русская революция“.

...Не будем брать иных примеров из бесконечных, бесчисленных, залитых горячей кровью летописей русской революции. Пред нами примеры железной, воистину нечеловеческой воли, образцы героизма исключительного. Но на что только тратилось золото духа народного, на что уходили драгоценные запасы подлинного героизма!

Эти бы силы, железные, нечеловеческие—на бодрое и радостное дело созидания, утверждения живой жизни, на вольное и радостное дело творчества и строительства, — какие бы чудеса успела показать миру наша Россия!

Но во дни царского самодержавия на горькое и тягостное дело борьбы с тюрьмой, борьбы с кандалами уходили беззаветные, неимоверные силы героизма. Сколько Бердягиных и Фрумкиных знают целые поколения русских революционеров! Как жутко думать о небывалой силе воли, об огромных драгоценностях духа человеческого, какие затрачены Бердягиным всего лишь на то, чтобы покончить самоубийством до прихода царского палача, затрачены Фрумкиной всего только на то, чтобы с достоинством, со спокойной улыбкой, надеть на шею намыленную веревочную петлю.

Или, и вправду, так богата Россия, так неимоверно велики залежи героизма, что ничего не стоило из поколения в поколение так беспощадно растрачивать эти драгоценности?!.

* * *

„Героическое в русской революции"... Что следует считать героизмом? Это понятие видоизменяется, перерождается на глазах наших.

Еще недавно русская революция знала только один грустный вид героизма. Жертва, подвижничество, умение беззаветно отдавать себя. Этот героизм жертвы и подвига спокон веку казался вполне в стиле русской души, в духе русского народа, русской истории.

Спокон века русские люди умели чудесно умирать, возвышенно и трогательно. Но жить русские люди не умели.

Были возвышенные идеалы, и чудесная, пламенная литература, и была пылкая, огненная молодежь, и народолюбивая, возвышенная интеллигенция, а жизнь в стране была все та же рабья жизнь, грязная, вшивая, с мордобоем и всеобщей матерщиной.

Героизм жертвы был бессилен сдвинуть с мертвой точки русскую жизнь.

Но вот на смену героизма жертвы пришел иной вид героизма. Не в умении безропотно и бестрепетно полагать живот свой за други своя, а в смелости, в энергии, в неустанном проявлении своего творческого „я“ стал сказываться этот новый героизм.

Но и этого оказалось недостаточно. Индивидуальный героизм смелости и энергии, пришедший на смену героизму жертвы и подвига—оказался сам по себе также недостаточен. Он был бессилен вывести Россию из затхлого и гнилого царского тупика.

Только связь индивидуальности с коллективом, кровная связь единиц с массой привела к тому новому виду подлинного героизма, героизма достижений, какой лишь в последние годы впервые проявляет себя по всему лицу земли русской.

Всматриваясь в историю русской революции, вдумываясь в быт и нравы прожитых эпох, вчитываясь в биографии и характеристики отошедших деятелей,—мы увидим в этой книге много ярких, изумительных примеров героизма разного рода: и героизма жертвы, и героизма энергии, и героизма достижений.

Для здоровой и правильной оценки этих проявлений героизма нужно бережно и любовно помнить о разнице эпох, какая отделяет наши дни от минувших времен. Недавно, когда возник вопрос о праздновании столетия

восстания декабристов, — послышались резкие голоса людей, не желающих считаться с условиями былых времен.

„Декабристы — это были аристократы, помещики и князья. Во имя чего станем мы праздновать память этих людей, которые по существу были предателями трудящихся классов?“—заявил, например, т. М. Ольминский на страницах „Рабочей Москвы“. — „Эти аристократы только и сделали, что подвели под расстрел рабочих и крестьян, одетых в солдатские мундиры. Эти генералы и помещики из дворян вывели 14-го декабря подчиненные им войска на площадь, а когда в них, по приказу из дворца, стали стрелять, они предали солдат, и из-за них, по их вине бессознательная солдатская масса усеяла своими трупами площади и улицы. Неужели же эти декабристы имеют право на почетное звание революционеров? Не вернее ли решить, что пред нами „сплошное недоразумение“? Кому собственно собираются ставить памятник ленинградские товарищи: дворянам-предателям, или забитым и одураченным ими несчастным солдатам?!“...

Пред нами яркий пример путаницы понятий, неизбежно происходящей, когда нынешнюю, современную мерку прикладывают к давно прошедшим временам. „Нельзя ждать пролетарской, классовой идеологии, нельзя требовать ее от людей в те времена“,—указывает в своей книге „История Р. К. П. (б)“ т. Г. Зиновьев:—„Во дни декабристов рабочий класс только рождался, и не могло быть классовой пролетарской партии“. Рабочий класс вовсе не собирается отказываться от того здорового и жизнеспособного, что есть в идейном наследстве былых поколений: „Пролетариат не может не ценить декабристов, умевших отойти от своего привилегированного класса

умевших умирать за народ в те дни, когда пролетариата еще не было".

Это напоминание Г. Зиновьева имеет очень большое значение.

Не с нынешней, одной и той же, раз навсегда готовой меркой надо подходить к событиям минувших времен. Надо ясно и четко ощутить ту или иную эпоху, услышать ее музыку, почувствовать ее запах, понять ее сущность, чтоб суметь оценить то многообразное и великое, что сказывалось по разному — в разные времена, но все вместе составило величавую, единую и неповторимую, чудесную поэму: „Героическое в русской революции".

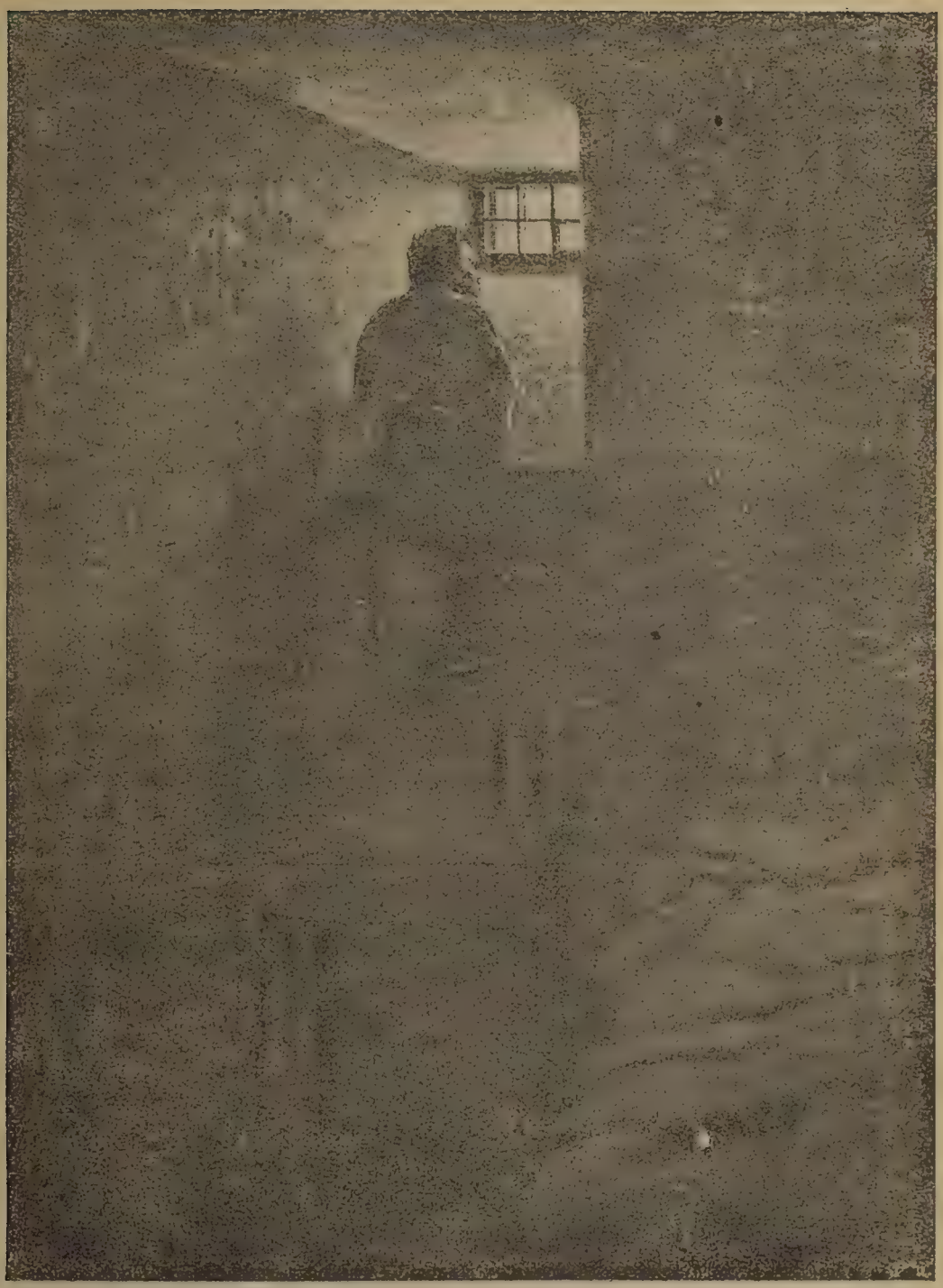
* * *

Кого считать первым по времени русским революционером? Обычно указывают на первого русского республиканца А. Н. Радищева, на первого заговорщика П. И. Пестеля... Быть может, правильнее считать Стеньку Разина первым по времени революционером земли русской?

Какие заслуги дают право на звание революционера? Достаточно ли было, напр., для этого в царские дни одной только борьбы с самодержавием?

Уже в те далекие годы, когда на троне русском оказался первый из Романовых, случайно, „фуксом", прошедший на престол, не умевший ни писать, ни читать, Михаил Федорович,—проявляли себя вольнолюбивые и свободомыслящие, находившиеся в оппозиции люди. Летописи тех дней сохранили, напр., документальные данные о фигуре некоего князя Хворостина.

В рукописях, отобранных при обыске у этого князя Хворостина, обнаружено буйное недовольство по адресу



Заключенный

(с карт. Н. А. Ярошенко).

носителя царской власти. В прозе и стихах князь писал „многие укоризны“, и дошел даже до того, что титул государев ни за что не хотел писать как следует, и царя именовал не самодержцем всея России, а гораздо короче и проще: деспотом русским. Резко отрицательное отношение к царю этот неожиданный бунтарь, князь Хворостин, по показаниям летописей, распространял и на всю русскую жизнь. Писал он, что „в земле русской сеют землю рожью, а живут все ложью“, что „в Москве людей нет: все народ глупой, жить не с кем“, и все эти укоризны князь Хворостин дерзновенно объяснял наличностью на престоле Михаила, первого царя династии Романовых.

По тем временам такого рода политические настроения были до такой степени внове, что Михаилу Федоровичу не пришло даже в голову казнить князя Хворостина. Царь ограничился лишь тем, что на время сослал вольнодумного князя в монастырь, и опубликовал особый царский указ, в котором подробно изложил длинный список грехов крамольного князя. Постов и христианского обычая он, оказывается, не хранил. Не токмо, что „сам в церковь не хаживал“, но и „дворовым своим воспрещал“, и даже „в светлое Христово воскресение с самим государем христосоваться не пожелал“.

Вот каким страшным революционером был этот крамольный князь Хворостин во дни первого Романова!

Если бы право на звание революционера давала одна только борьба с царем,—то фигуры такого рода мы могли бы усмотреть на пожелтевших страницах летописей уже и задолго до появления на престоле первого представителя дома Романовых—хотя бы в далекие дни царя Иоанна Грозного. Здесь напр., князь Курбский, „полити-

ческий эмигрант“, бежавший в Литву и оттуда приславший свое знаменитое письмо, изумительно точно, почти слово в слово, переданное в стихах Алексея К. Толстого:

Царю, прославляему древле от всех,
Но тонущу в скверных обильных...
Ответствуй, безумный, каких ради грех
Побил еси добрых и сильных?!

С необычайной по тем временам резкостью осыпает князь Курбский в этом письме своем, присланном через Василия Шибанова, тяжкими обвинениями грозного царя, пересчитывает все кровавые преступления царя Иоанна. Но и выступая на борьбу с царем, князь Курбский по тем временам—увы!—не имеет среди своих доспехов иных угроз по адресу царя, кроме угрозы „небесным судом“:

Внимай же: приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьею предстану,—
Так Курбский писал Иоанну.

Но угрозы небесным возмездием никак не могут запугать земных царей. И царь Иоанн, не довольствуясь полемическими ответами Курбскому, для начала отсылает в застенок верного слугу Курбского, Василия Шибанова, доставившего грозному царю „послание, полное яду“.

Если даже „бунтовщик“ тех времен, князь Курбский, в своем отношении к царю не идет дальше угрозы небесными муками,—то уж „верный слуга“, Василий Шибанов, гордость свою полагает именно в том, чтобы безро-

потно переносить царские пытки, молясь и за Курбского, предавшего его на муки, и за самого Иоанна:

О, князь, ты, который предать меня мог
За сладостный миг укоризны,
О, князь, я молюсь, да простит тебе бог
Измену твою пред отчизной!

„Верный слуга“ гордится тем, что он раб; даже и будучи предан своим господином на муки, он остается ему верен всем своим существом. Даже и помыслить об ином он считал бы грехом несмываемым. Как ни мучительны его пытки, он только покорно молится:

— За грозного, боже, царя я молюсь,
За нашу святую, великую Русь
Я твердо жду смерти желанной...
Так умер Шибанов стремянный.

Легко было жить царям и палачам в эти рабьи времена, когда смирение и покорность перед царем земным и царем небесным объявлялись главной заслугой, главной добродетелью.

Умирает в муках в застенке Василий Шибанов, томится вдали от родины обрекший себя на изгнание политический эмигрант, князь Курбский, но по прежнему без малейшей помехи свирепствует сумасшедший садист, грозный царь Иоанн Васильевич с Малютой Скуратовым, Васькой Грязным и всей людоедской сворой опричников.

Самая „борьба“ Курбского с царем—весьма условная и только словесная, самый „бунт“ весьма скромен и обречен на безрезультатность. Правда, по тем временам нельзя было не считать ценным и робкого проблеска бунтарских настроений.

Дело, однако, вовсе не только в самой наличности „бунта“, той или иной борьбы с царем и противодействия царской власти. Решающий момент относится к ответу на вопрос: во имя чего предпринимается этот бунт, чем продиктована эта борьба с царем?

Цели своеобразного бунтарства, проявленного Курбским, сами по себе отнюдь не революционные. Курбский борется с Иоанном всего только за права бояр, за их былую, сильно урезанную Иоанном Грозным силу. Как ни парадоксально это положение, но в основе своей даже грозный царь занимает более прогрессивную исторически позицию, чем выступающий в качестве „бунтовщика“ Курбский. Совершенно ясно, что рассматривать Курбского, как революционера, невозможно.

По этой же причине только внешне эффектным приходится признать и тот вид „бунтарства“, какой проявляет хотя бы князь Михаил Репнин все в ту же эпоху Иоанна Грозного (и этот—князь! Как будто именно князья взяли монополию на свободолюбие, оппозиционность и бунтарство в те далекие дни).

По внешнему, князь Михаил Репнин, резкой речью своей доведший до исступления Ивана Грозного,—может показаться бунтовщиком, борцом против царской власти.

Князь Репнин выступает со своими обличениями против грозного царя—во время пира. От пыток—к разгульным пирам, от казней—к богослужениям, — таковы были, как известно, обычные бытовые нормы жизни царского двора:

Без отдыха пирует с дружиной удалой
Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой.
Ковшами золотыми столов блистает ряд
Разгульные за ними опричники сидят.
С вечерни льются вина на царские ковры,
Поют ему с полночи лихие гусляры,—

—рисует обстановку столкновения князя Репнина с Грозным в своей поэме А. К. Толстой:

Но голос прежней славы царя не веселит,
Подать себе личину он кравчему велит.
—Себе личину, други, пусть каждый изберет
Я первый открываю веселый хоровод.
—За мной, мои тиуны, опричники мои,
Вы ж громче бейте в струны, баяны-соловьи.
И все подняли кубки, не поднял лишь один—
Один не поднял кубка, Михайло князь Репнин.
—О, царь, забыл ты бога, свой сан ты, царь, забыл,
Опричниной на горе престол свой окружил.

Лютой смертью грозит непокорному боярину нахмуривший брови грозный царь:

—Не возражай ни слова и машкеру надень,
Или клянусь, что прожил ты свой последний день.
Тут встал и поднял кубок Репнин, правдивый князь
„Опричнина да сгинет",—он рек, перекрестясь.

Он не желает веселить царя потешными плясками и „машкерой". Всю правду, ничего не скрывая, бросит он здесь же, пред всеми в лицо Иоанна!

Пламенную речь свою, разоблачающую кровавую опричнину, „Репнин правдивый князь" заканчивает восклицанием: „Личины не надену я в мой последний час!"

—Он молвил и ногами личину растоптал,
Из рук его на землю звенящий кубок пал.
„Умри-же, дерзновенный!"—царь вскрикнул, разъярясь,
И пал, жезлом пронзенный, Репнин, правдивый князь.

Как ни исключительны эпизоды такого рода в насквозь рабской придворной среде, но говорить и о Репнине, как о бунтаре, революционере,—очевидно не приходится. Его выступление полно достоинства, но это только жест.

Даже в передаче поэмы, позиция Репнина совершенно ясна: „Да здравствует вовеки наш православный царь! Да правит человеки, как правил Русью встарь“,—заявляет даже здесь, в предсмертной речи своей, князь Репнин. Как и князь Курбский,—Репнин типичный представитель, обиженного Иоанном боярства.

Его мечты сводятся к тому, чтобы отстоять боярские права. В действиях Репнина отсутствует та основная идея революции, то главное и руководящее „во имя“, какое только и создает подлинного революционера.

Имена этих случайных „героев“, бунтарски настроенных князей, почтительно сохранились на страницах летописей и, как мы видели, вдохновляли собой творчество поэтов.

Иначе обстоит дело с теми безвестными, неведомыми людьми, какие так часто оказывались и героями, и жертвами при массовых выступлениях.

Не будем и здесь брать общеизвестных примеров, от бунта декабристов и до дня 9-го января 1905-го года. Если пример Бердягина и Фрумкиной оказался, как мы видели, не менее убедителен, чем примеры вроде Желябова или Перовской, то и любой рядовой случай „усмирений“ из тех, какие считались сотнями и тысячами во все дни царствования Романовых даст нам яркие и поучительные образцы.

Саратовский вице-губернатор Стогов в своих „Воспоминаниях“ так рассказывает о том, как он в царствование Николая I-го милостью божией благополучно утишил один из рядовых и обычных бунтов близ Сызрани. Явившись с воинской командой в бунтующую деревню,—рассказывает вице-губернатор—он, собрав мужиков, сказал им „убедительную речь“, и спросил,—повинуются ли?

Все ответили в один голос:

— Нет, не повинуемся.

— Вы знаете, ребята, по закону я должен стрелять.

— Стреляй, батюшка, пуля виноватого найдет. Кому что бог назначил.

— Слушайте, братцы,—говорит губернатор, крестясь на церковь:—Я такой же православный, как и вы. Стрелять никогда не поздно. Мы все под богом. Может, найдется невиновный, то убивши его, я дам строгий ответ богу.

— Пожалейте меня,—говорит Стогов. И, „чтобы не было ошибки", как он объясняет, затевает расспрос каждого из толпы в отдельности.

— Повинуешься ты законам?

— Нет, не повинуюсь.

— Закон дал государь. Так ты не повинуешься и государю?

— Нет, не повинуюсь.

— Государь—помазанник божий. Так ты противишься богу?

— Супротивляюсь!

Один за другим, опрошены все мужики без исключения, но все отвечают одно и то же,—жалуется в своих „Воспоминаниях" бравый губернатор.

Всех бунтовщиков предписано связать.

Уже принесли розог, и стоят во всеоружии прикомандированные к экзекуции солдаты.

— Давайте первого.

Выводят старика семидесяти лет.

— Повинуешься?

— Нет.

— Секите его.

Старик, уже сваленный с ног, подняв голову, просит:

— Батюшка, вели поскорее забить на-смерть.

„Неприятно, но делать нечего“,—продолжает свой рассказ лихой вице-губернатор.

Экзекуция производится серьезная, по уставу, и вот уже старик под розгами умер. „Я приказал мертвому надеть кандалы“.

— Следующего!

Один за другим тринадцать человек уже засечены до смерти. Для острастки на всех запоротых одеты кандалы. Но каждый следующий ведет себя, как и предыдущие. „Только четырнадцатый вышел и говорит: „Я покоряюсь“.—Ах, ты, негодяй, почему прежде не покорился. „Дать ему триста розог!“.

Чем менее исключителен этот будничный, рядовой, обычный случай, тем поучительнее очевидные выводы.

Кто они, эти неведомые, так и оставшиеся безвестными, первые тринадцать человек? Кто они, эти забитые на смерть, герои, сумевшие без громких фраз, без пышных восклицаний, спокойно и сурово пойти на верную смерть?

Революция—это дело толпы, массы, людей неведомых и безвестных. Их кровью, их мужеством, их героизмом от одного поколения к другому куплена победа русской революции, открывшая новую эру, новые горизонты в жизни земного шара.

Слава почившим! Вечная память, вечная нежность и любовь им, на чьей крови строится ныне новая жизнь на земле.

ГЛАВА II.

Стенька Разин.

Если при первом Романове летописи, как мы видели, упоминают о вольнодумном князе Хворостине, который проявлял свою опозиционность только на словах и в своих рукописях „именовал великого государя деспотом“,—то в царствование второго Романова пред нами встает бунтарь совершенно иного склада, – буйная, могучая фигура Степана Тимофеевича, вольнолюбивого казака Стеньки Разина.

Откуда взялся этот человек, чьим именем окрашена целая эпоха? Что выдвинуло Разина из рядов окружающей его голытьбы?

По словам Н. И. Костомарова, „ненависть к боярам, воеводам, приказным людям и богачам—привела в то время к тому, что жители перестали смотреть на разбойников, как на врагов своей страны, лишь бы только разбойники грабили знатных и богатых, но не трогали бедняков и простых людей. Разбойник стал представляться образцом удали, молодечества, даже покровителем, мстителем страждущих и угнетеных“.

Как будто самой природой Стенька Разин был создан для такой вот роли удалого бунтаря, ушкуйника, умеющего крайнюю жестокость к врагам совмещать с безгра-

ничной заботливостью об обиженных и угнетенных. Голландец Стрюйс, видевший Разина в 1669 году в Астрахани, дает в своих записках такое описание: „Вид Разина величественный, осанка благородная, росту высокого, выражение лица гордое. На вид ему около сорока. Он обладает способностью внушать страх и вместе любовь. Что бы ни приказал он, исполняется безропотно и беспрекословно“.

Трудно было голландцу Стрюйсу разобраться в типичных, воистину российских чертах характера Стеньки Разина. „Своенравный, непостоянный, но вместе с тем непреклонный, то мрачный и суровый, то разгульный до бешенства, то преданный пьянству и кутежу, то способный с нечеловеческим терпением переносить всякие лишения, некогда ходивший на богомолье в далекий Соловецкий монастырь, а впоследствии пренебрегавший постами и не хотевший знать ни таинств, ни священников... В его речах,—описывает историк—было что-то обаятельное. Толпа чуяла в нем какую-то небывалую силу, перед которой нельзя было устоять, и называла его колдуном. Он забавлялся как чужими, так и своими собственными страданиями. Закон, общество, церковь—все, что стесняет личные побуждения человека,—стало ему ненавистно“.

Чем больше вдумываешься в духовный облик Стеньки Разина, тем яснее видишь, что в общем хаосе, из какого соткана душа его, живут в нем и борются друг с другом два различных человека. Две души, одинаково широкие, буйные, не желающие знать границ, живут в этом могучем теле. Раньше всего кидается в глаза удалой разбойник, весь охваченный любовью к набегам, захватам и грабежам, яркий представитель казацкой вольницы, не верящей „ни в чох, ни в сон“. Это тот буйный Стенька,

что без счету рубит головы и дуванит среди братии богатые товары, захваченные у мирных жителей. „Жемчуга—по молодечеству, а золотой казны сколько надобно“, описывает народная песня. Это тот Стенька Разин, что пьет без просыпу и пляшет без устали, и, „чтобы не было раздора между вольными людьми“, бросает с расписного острогрудого челна в Волгу свою полюбовницу, красавицу персидскую княжну.

Быстрым взмахом подымает
Он красавицу княжну
И не глядя вниз бросает
В набежавшую волну.
Ах, ты Волга, мать родная,
Волга, вольная река,
Не видала ты подарка
От донского казака!

Но вот этот разбойник, буйный молодец, проявляет неожиданные черты. Уже не о своих выгодах, не о себе, думает он, а о других, обиженных, угнетаемых.—„Смотри ты“,—говорит Стенька царицынскому воеводе Унковскому:—„Если услышу я, что ты будешь казаков обирать и притеснять,—я тебя живого не оставлю“.

Какие-то новые, необычные мысли бродят в косматой Стенькиной голове.

Когда знавшие его щедрость жители Черкасска просят его востановить храмы, сгоревшие незадолго перед тем, Стенька отвечает: „На что церкви? К чему попы? Венчать что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре под деревом, да пропляшите вокруг, вот и повенчались“. Откуда у него, темного, неграмотного, взялись такие мысли в те далекие времена, 250 лет тому назад?

Все усиливаются эти новые мысли в голове Стеньки.

Мысли эти не его личные. Сказывается в них что-то важное, что-то родственное всей вольнице, окружающей атамана. И все растут от этого Стенькины ряды, все беспрекословнее передаются на сторону чующего какую-то правду Стеньки царские войска.

Рядом с прежним, буйным, не знающим удержу, удалым разбойничком Стенькой—все яснее и отчетливее наростает другая фигура Степана Тимофеевича Разина, серьезного, вдумчивого человека, занятого неотвязной мыслью о том, как изменить, перестроить всю жизнь, рабскую, тягостную, несправедливую. Уже не грабежи и попойки, а что-то иное привлекает его. „Иду с боярами повидаться“,—заявляет он, отправляясь на Волгу. Все внимательнее всматривается в окружающее Степан: в одном городе за другим творит он грозный суд и расправу над народными лиходеями, воеводами. И откры-

вает Степан Тимофеевич остроги и выпускает арестантов. И отнимает у богачей награбленное ими добро Стенька уже не для себя, а для раздачи обиженным и обездоленным. Отцом родным, „батькой“ называют его вольные казаки. И жители поволжских городов уже заранее, еще до его прихода, ставят стражу у своих воевод, чтобы „не ушли“ от суда народного, и встречают жители Разина с хлебом и солью уже не как разбойника, а как народного героя, освободителя.

И хотя каждый год по церквам на Руси
Человека того проклинают,
Но приволжский народ о нем песни поет
И с почетом его вспоминает.

Много жестокостей, много кровавых дел ознаменовывают путь Степана. Высечен плетьми, по приказу Стеньки, астраханский воевода Беклемишев. Казнен комендант и стрелецкий голова Яицкого городка. Сброшен с раската в Астрахани главный воевода, князь Прозоровский, со всеми его приближенными. Крут в расправе Стенька. Летят с плеч боярские головы. То одного, то другого воеводу приказывает атаман „посадить в воду“. Но это не простой разгул буйной натуры. Уже не отдельные набеги, а что-то иное и грозное, подкапывающееся под главные устои жизни, проявляется в делах Стеньки.

* * *

Все новые и новые войска высылает против Разина царь Алексей Михайлович. Но не хотят царские войска сражаться со Степаном. Какую-то правду чуют и они в том движении, какое бурлит и шумит вокруг буйного ата-

мана. — Пусть воеводы да боярские дети цареву руку держат! А рядовые стрельцы, эти при первой встрече с отрядами Разина переходит на сторону Стеньки, и буйно радуются освобождению от прежнего гнета, и радостными криками приветствуют поднявшегося „за волю“ атамана.

Уже все пространство между Окой и Волгою до самой Рязани и Воронежа охвачено восстанием. Имя „батюшки Степана Тимофеевича“ несется все дальше и дальше, и радостно отзываются на звук этого имени забитые, замученные люди. Поднялась Пенза, забушевал далекий Тамбовский уезд. „Крестьяне помещичьи, монастырские, дворцовые и тяглые стали убивать своих господ и начальных людей“,—сообщают в Москву воеводы. И эти сообщения радостно несутся по всей земле. „Разнесется весть“, — пишет современник, — „что мятежники побили государевых людей, и народ этому радуется. А скажут, что ратные государевы люди побили мятежников, и станет народ уныл, и печалится о погибели мятежников“.

Вслед за крестьянами поднялись, всей душой потянулись к буйному атаману инородцы: чуваши, черемисы, мордва, татары. „Воеводское управление“—говорит историк—„достаточно прославлено своими злоупотреблениями, но в отношении к неумеющим жаловаться инородцам оно побивало рекорд. Неудивительно, что в восстании Разина инородцы принимали участие целыми волостями, которые сразу подымались всей массой“.

Город за городом, один караван судов за другим завоевывает Стенька. Простые стрельцы при встрече со Стенькой все чаще „бросают знамена государевы“ и присоединяются к вольным.

Буйну голову срубили с губернатора
И забросили голову в Волгу-матушку.
—Ты, добро, ведь, губернатор, к нам строгонек был,
Ты, ведь бил нас, ты губил нас, в ссылку ссыливал,
На воротах жен, детей наших расстреливал.

Сурово расправляясь с воеводами, боярами и боярским отродьем, Стенька простым людям, стрельцам и крестьянам заявляет:—„Вам всем воля! Идите себе куда хотите. Силой не стану принуждать быть у себя. А кто хочет итти со мной, будет вольный казак. Я пришел бить бояр да богатых господ, а с бедными и простыми готов, как брат, всем поделиться“.

Сам Стенька живет в землянке, как простой казак, ничем не отличаясь от других. Но в завоеванных им городах народ стал оказывать ему царские почести: ходил за ним толпами, целовал руки, кланялся ему в ноги.

— Здравствуй, наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев.

Пламя разинского восстания все разрастается. Уже охвачен целиком район и Саратовской, и Самарской, и Симбирской, и Пензенской, и Тамбовской, и Воронежской, и Рязанской, и Казанской, и Нижегородской губерний. Во всех взятых городах Стенька, после сурового суда над царскими воеводами, устанавливает новый казацкий строй. Сжигаются все прежние приказы, алым пламенем горят ненавистные Стеньке бумаги и дела учреждений. Во главе городов и областей ставятся новые власти, выборные: десятские, сотские, тысяцкие. Трудящиеся низы, темные массы объявляются отныне хозяевами жизни.

Непомерно жестокими кажутся, на нынешний взгляд, те меры, какие вводит новое, казацкое, устройство

Стенька Разин. Летят с колоколен боярские тела, рубятся головы. Непомерна резня, какой мстит за былые тяготы и несправедливости поднявшийся вольный народ.

Но вину за все эти жестокости было бы грешно возлагать на одного Разина. „Приходится отметить",—говорит историк С. И. Тхоржевский, специально изучавший эту эпоху,—„что вражда социальных низов к верхам была настолько обострена, что Разин играл скорей сдерживающую роль. Глава движения был умереннее поднятой им массы, и разинцы были радикальнее Разина".

Только после взятия Астрахани, в Москве поняли, что дело идет серьезное и не на шутку взволновались. 1-го августа 1670 года в Москве объявлена мобилизация всего столичного дворянства. Главнокомандующим назначен боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Царские приказы призывают дворян служить не только „за великого государя", но еще и „за свои домы". Правительство старательно подчеркивает классовый характер предстоящего усмирения. Перед выступлением войск Долгорукого, произведен смотр дворянских войск: шестьдесят тысяч дворян „поразили зрителей своей пышностью: все войско состояло из блестяще одетых всадников, и за каждым из них свита холопов вела в поводу разукрашенных коней".

Предполагается, что пышная и блестящая внешность дворянского воинства еще больше подчеркнет противоречие с той голью, „рванью коричневой", нищей голытьбой, какая группируется вокруг буйного Стеньки Разина. „Впрочем, приходится отметить",—говорит историк,—„что блестящая внешность дворянского войска не соответствовала ни его боеспособности, ни усердию к службе. Сто-

личное дворянство в большинстве оказалось „в нетях“.— Начальных людей,—доносил воевода,—почти нет. Живут все по деревням своим“.

* * *

Движение Разина не имело под собой настоящей основы. Оно было в значительной мере построено на персональном обаянии самого Стеньки, которого обожали его сотоварищи.

Мы не воры, не разбойнички,
Стеньки Разина мы работнички...—

— говорят они о себе в народной песне.

Стенька был гениальным выразителем их собственных мыслей и желаний, и только потому и оказывали они ему беспрекословную покорность и верность.

Но эта персональная связь, личное обаяние не могло быть прочным. Когда во время сражения у Симбирска Разин был тяжело ранен („ранен тяжелою раною, сечен саблею по голове, да нога правая пробита из пищали“), и на время вышел из строя—его влияние не могло не ослабеть.

Главным органическим недостатком восстания Стеньки Разина являлся состав его вольницы. Среди них—указывает исследователь В. Фирсов:—не было работников, людей производящего труда. Для них понятие равенства ограничивалось одним только дележом готового, созданного другими имущества.

Равенство, какое несла с собой вольница атамана,— беспомощно. Как бы далеки ни были они в своих мечтах от грабежа, как бы искренне ни хотели они установить справедливость и равенство,—но не умеющие тру-

диться, далекие от рабочей психологии, не умеющие производить, бессильные создавать, они только и умели „дуванить“, делить между собой захваченное имущество. „Только тот класс общества“,—указывает в своей книжке о Стеньке Разине В. Фирсов:—„тот класс, который сам стоит у производства, который производит и предметы потребления, хлеб, одежду, дома, и предметы производства, машины, станки,—только он умеет произвести действительную революцию, настоящий переворот жизни. Дело не в том, чтобы отобрать все, что произведено на свете, весь хлеб, все молоко и всю одежду. Молоко все выпьют, хлеб съедят, одежда разносится, и ничего не останется“.

Состав разинской дружины в самом себе нес обреченность:

„В войсках Стеньки не только рабочих настоящих, не было даже людей, просто привыкших трудиться. Имущество поделили, „подуванили“,—потом другое взяли. А кто будет производить, новое создавать? Эту задачу выполнить было не под силу Стеньке и его товарищам. Вот почему движение их кончилось неуспехом и на успех рассчитывать не могло“.

Огромные силы, незаурядный ум, гигантская воля, железный характер отличают Стеньку Разина. Но, как лесной пожар, прямиком неслась стихия, поднятая Разиным. Не туда направлены эти силы, не то и не так делал вольный атаман.

Эх, огонь, эх ты, силища дикая,
Эх, ты горе-огонь богатырь.

Дело Стеньки после неудачного сражения под Симбирском, где он оказался ранен, оказалось загублено. Сами по себе, это неудачное сражение и рана Стеньки

не могли бы уничтожить движения, успевшего охватить столь огромную область, чуть не половину России.

Огромные, головокружительные планы волновали в эти дни буйную голову атамана. Он уже не скрывал своих

Стенька Разин

(по старинной немецкой гравюре).

намерений итти на Москву, перестроить всю Россию по новому, по казацкому, по вольному образцу.

Но свершить не успел он того, что хотел
И не то ему пало на долю,
И расправой крутой, да кровавой рекой

Не помог он народному горю.
Не владыкою был он в Москву приведен,
Не почетным пожаловал гостем,
И не ратным вождем, на коне и с мечом,
А в постыдном бою с мужиком-палачом
Он сложил свои буйные кости!

Состав разинских дружин—не единственная причина его поражения.

„Восстанию Разина"—читаем мы у другого историка—„не хватало организованности: разрозненные отряды посадских, крестьян и инородцев, плохо вооруженные, разбивались сравнительно немногочисленными отрядами рейтар и солдат, вооруженных и обученных по иноземному образцу".

К этому прибавилась и еще одна причина: расслоение, разделение казачества и крестьянства.

Кроме буйной вольницы, голытьбы, группировавшейся вокруг Разина, были в казачестве и домовитые, хозяйственные элементы, считавшие своим лидером Корнилу Яковлева, осанистого, степенного казака, уважавшего старину, чтившего царя и начальство.

Стенька, как говорит о нем народная песня, „не хаживал во казацкий круг, не думал думушки со старыми казаками, а стал думать крепкую думушку с голытьбою".

Буйная голытьба, окружающая Стеньку,—безоглядочна. „Голый разбою не боится". Каждому из них нечего терять, кроме буйной головушки, которая и без того обречена, в случае победы того „порядка", который несут с собой царские воеводы. Но хозяйственные, себе на уме мужички, что сгруппировались вокруг Корнилы Яковлева,—это все народ осторожный, с опаской да с оглядочкой. У них есть, что терять. И коровенка лишняя в хлеву

стоит, и зерна немало в закрома всыпано, и лошади „не хуже, чем у людей“, и хозяйство—грех жаловаться. В свое время пограбили немало и награбленного не пропили, а на семь замков в клети и подклетья схоронили.—Пора бы и кончать походную, полную приключений жизнь. Хорошо бы остепениться, всласть попользоваться награбленным добром. То-то бы хорошо, если б подвернулся случай помириться с царем Московским, с воеводами царскими, отгородиться от буйного Стеньки. А тут еще митрополит Иосиф успел и анафему Стеньке Разину возгласить. Значит, и сам бог за порядок и за царя.

И вот уже резко изменилось положение! Еще только что, по подсчетам иностранцев, оставивших свои воспоминания о Московском государстве того времени,—общее число мятежников, объединившихся вокруг Стеньки Разина, доходило до 200 тысяч человек. Уже в самой Москве народ на улице громко говорил, что Стенька Разин-мол—не разбойник, что он добра ищет, за народ за весь заступник. Уже „в Москве собирались встречать Стеньку Разина хлебом-солью“.

Но вот хозяйственные мужички, степенные казаки одумались и испугались. Со своим предводителем, Корнилой Яковлевым, они спешат забежать с черного крыльца к его государеву величеству,—спешат предательски арестовать Стеньку Разина с его братом Фролкой и другими верховодами и зачинщиками.

— Вяжи ему руки за спину! Нас за то государь своей милостью пожалует!

Рядовые казаки, окружавшие Стеньку Разина, хранят нейтралитет. Еще только что население целовало ему руки и воздавало ему царские почести. Еще только что тот же Корнила Яковлев гордился собольей шубой, пожало-

ванной ему щедрым Стенькой. Еще только что, в ответ на убеждения царских воевод „выдать воров, зачинщиков и бунтовщиков“,—население дружно отвечало: „Мы все воры, все бунтовщики и зачинщики“.

— Вяжи ему руки за спину! Нас за это государево величество пожалует.

* * *

Еще только что Разина с его приближенными, в богатых одеждах, шитых золотом и серебром, в бархатных кафтанах и высоких цветных шапках, восторженно встречало население во всех завоеванных ими городах. Разин разбрасывал деньги, устраивал пиры для всех званых и незваных, угощал народ православный, давал без отказа все, что у него просили. Голландец Стрюйс в своих „записках“ рассказывает, как Стенька Разин забросал волжские города привезенным из Персии добром. По словам Стрюйса, богатые шелка продавались на вес по три копейки за фунт. Сам Стрюйс купил для себя на „память“ золотую цепь длиною в сажень и переплатил: заплатил за нее целых сорок рублей.

Все любили, все ценили и чтили „батьку“ Степана Тимофеевича, пока был он в силе. Но вот теперь Стенька скован по рукам и ногам, сидит в клетке. И давно отреклись от него прежние друзья, и уже подсчитывают хозяйственные мужички с Корнилой Яковлевым выгоды, какие им должно дать предательство.—Должон же великий государь своих верных слуг за выдачу Стеньки, за этакое-то дело пожаловать.

Рассчеты Корнилы Яковлева оказались основательными. Кроме прощения прежних грехов, ему с товарищами выдано было из царской казны сто червонцев.

На много веков сохранилась с тех пор у хозяйственных мужичков этого типа добрая манера торговать выдачей и предательством. Целые поколения русских революционеров шли в народ с горячими призывами, с пламенными указаниями на то, какой убогой, рабьей жизнью живут мужики, по вине командующих классов. И целые поколения „хозяйственных мужичков“ неизменно прикручивали назад руки вольнолюбивым агитаторам и сдавали „сицилистов“ начальству. Сто червонцев—сумма небывалая, но по два-три целковых иной раз удавалось получать хозяйственным мужичкам еще и до последнего времени.

Дорого заплатили уже и во времена Стеньки Разина хозяйственные мужички за эти сто червонцев. Во всю повеселился „великий государь“ и его, запуганные было разинским движением, бояре и воеводы. Без счету летели мужицкие и казацкие головы с буйных плеч.

Дворянский главнокомандующий Долгорукий сумел сторицей отплатить казакам и мужикам. „Усмирение разиновщины Долгоруким ставилось впоследствии в пример: Сам царь Петр, человек сведущий в этом отношении, во время булавинского бунта, предписывая „людей рубить, а зачинщиков подымать на колеса и колья“, рекомендовал ознакомиться с донесениями Долгорукого“. Было чему поучиться даже и во дни Петра, без счета рубившего стрелецкие головы.

Центром карательной деятельности,—указывает С. И. Тхоржевский,—стал Арзамас. Пленных рубили и вешали без суда. Резиденция Долгорукого была украшена головами казненных. Одиннадцати тысячам зачинщиков поспешили отсечь головы. Арзамас,—говорят иностранные наблюдатели,—напоминал собой „изображение ада“. Кругом стояли виселицы, на каждой из которых висело по

40—50 человек. Повсюду валялись отрубленные головы. Некоторые, посаженные на кол, мучились, сохраняя сознание по три дня. Нечего и говорить, что сам Стенька оказался обречен на лютую казнь:

Вы вставайте, добрые молодцы,
Пробуждайтесь, казаки-донцы...
Нездорово на Дону у нас...
Помутился славный, тихий Дон.
Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тимофеевича,
По прозванью Стеньки Разина.
Как поймали добра-молодца,
Завязали руки белые,
Повезли во камену Москву
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову....

Восстание было подавлено, крепостное право и тесно связанное с ним бюрократическое самодержавие стали еще круче.—Класс дворян-помещиков,—говорит историк разинского движения:—в минуту смертельной опасности, для своих социальных привилегий, острее сознал свои интересы. Он хорошо и надолго запомнил Разина. Но запомнила, навсегда запомнила Стеньку и та многомиллионная „чернь“, которая составила его силу и сделала его таким страшным для московского правительства.

* * *

Круто распорядились московские воеводы.

Неизвестны подробности ареста Стеньки. Современники и летописи говорят глухо, что взят он был „обманом“. Обоих братьев Разиных привезли сначала в Черкасск, где Стеньку содержали на цепи в церковном притворе, для того чтобы сила святых уничтожила его

волшебство, и ему не удалось бежать. В конце апреля Разиных повезли в Москву. Сам Корнила Яковлев провожал их. По изысканиям Костомарова, братья вели себя по разному.

Фролка был от природы тихого нрава и затосковал:

„Вот, брат, это ты виновен нашим бедам“,—говорил он с огорчением.

„Никакой беды нет,“—отвечал Стенька.—„Нас примут почестно. Самые большие господа выйдут посмотреть на нас“.

Стенька не ошибся. Как только прошла по Москве весть, что казаки везут Стеньку, народ толпами высыпал за город смотреть на человека, одно имя которого многих приводило в трепет.

За несколько верст от Москвы поезд остановился. С Разина сняли платье и одели в лохмотья.

Из Москвы привезли большую телегу с виселицей. Стеньку поставили на телегу и привязали цепью за шею к перекладине виселицы, а руки и ноги прикрепили цепями к телеге. За телегою должен был бежать Фролка, привязанный цепью за шею к краю телеги.

Так въехал в столицу Московского государства атаман восставших казаков. Он следовал „с равнодушным видом, — опустив глаза“. „Одни смотрели на него с ненавистью, другие с состраданием и сочувствием“.

Братьев привезли в земский приказ, и тотчас начался допрос. Пытки применялись самые лютые. Стенька молчал.

С головы казацкой сбриты кудри, черные, как смоль,
Но лица не изменили казни страх и пытки боль.

С начала пытки пошел в дело кнут,—„толстая ременная полоса, толщиною в палец и в пять локтей длиною“.

Стеньке связали назад руки и подняли его вверх на дыбе, потом связали ремнем ноги. Палач садился на ремень и вытягивал тело так, что руки выходили из суставов. Другой палач бил по спине кнутом. Стенька получил сотню таких ударов, но „не испустил ни одного стона. Все стоявшие тут дивились“.

Его положили на горячие уголья. Стенька молчал.

По его избитому, обожженному телу начали водить раскаленным железом. И тут молчал Стенька.

Ему дали отдохнуть и принялись за Фролку. Фролка начал вопить и кричать от боли.

„Экая ты баба!“—сказал Стенька.—„Вспомни наше прежнее житье: мы проживали со славою, тысячами командовали. Надобно же теперь бодро несчастье переносить. Разве это больно? Словно баба иголкою уколола!“

Стеньке стали брить макушку. „Вот как!“—сказал он с улыбкой:—„мы слыхали, что ученых людей в попы постригают. Мы с тобой, брат,—простаки, а глядишь и нас постригли“.

Стеньке начали лить на темя по капле холодную воду. Это было такое адское мучение, которого никто не мог вынести. Стенька его вытерпел.

Все тело его представляло безобразную, окровавленную, опухшую массу. С досады, что его ничто не пронимает, стали Стеньку еще бить палками по ногам. Стенька молчал.

6 июня 1770 года Стеньку, вместе с его братом Фролкой, вывели на Лобное место. Собралось множество народа. Прочитали длинный приговор, где излагались все преступления осужденных. Стенька слушал спокойно. Палач взял его под руки.

Стеньку положили между двух досок. Палач отрубил ему сперва правую руку по локоть, потом левую ногу по колено.

Стенька не показал даже знака, что чувствует боль. Между тем Фролка, в виду мучений брата, которые ожидали его самого, растерялся и закричал:

— Я знаю слово и дело государево!

Современник, немец Шурцфлейш, передает, что когда Фролка, во время пытки закричал за собой „государево слово“ (это означало, что он знает государственную тайну: обычный прием преступников, чтобы оттянуть мо-

мент казни),—тогда Стенька, до тех пор стоически молчавший, чтобы не доставить удовольствия своим палачам, прикрикнул на него: Molschi, sobaka.

„Молчи, собака“—это были последние слова Стеньки. Палач отрубил ему голову. Его туловище рассекли на части и воткнули на копья. Воткнули также на кол и голову. Внутренности бросили собакам.

У семи московских застав разбросано было разрубленное на куски тело Стеньки:

Уж по-царски уважили пыткою:
Разымали мне каждый сустав,
Да крестили смолой меня жидкою,—
У семи хоронили застав.

И как вынес я муку кровавую,
Да не выдал казацкую Русь,
Так за то—на расправу, на правую,
Сам судьей на Москву ворочусь!

обещает Стенька Разин в поэме Максимилиана Волошина. О, он, вольный атаман, не простил мучителям. Счеты с ними еще не покончены:

Рассужу, развяжу, не помилую,
Кто хлопы, кто попы, кто паны,
Там узнаете: как пред могилою,
Так пред Стенькой все люди равны.

Мне к чему царевать да насиловать!
А чтоб равен был всякому всяк,
Так пойдут их голубчиков, миловать,
Приласкают московских собак...

предсказывает Стенька грядущую неизбывную расправу над врагами народными.

Ах, недаром так много жалких слов о религиозности русского народа, народа-богоносца, говорили и славяно-

филы российские, и Владимир Соловьев, и Д. С. Мережковский с В. Розановым.

В своем предсказании о грядущем восстании, Стенька себя, вместе с Емелькой Пугачевым и Гришкой Отрепьевым, недаром называет „угодничками божьими“.

Мы устроим в стране благолепье вам,
Как, восставши из мертвых, с мечом
Три угодничка, с Гришкой Отрепьевым,
Да с Емелькой придем Пугачем!

Будущее восстание—теперь, через 250 лет мы знаем это—произошло не совсем так, вернее совсем не так, как представлял себе буйный атаман. Но сущность предсказания ведь в том, что счета будут оплачены полностью:

Уж попомнят, как нас на Остоженке
Шельмовали для ихних утех,
Пообрубят им рученьки, ноженьки,
Пусть поползают людям на-смех.

И за мною, не токмо что драная
Голытьба, а—казной расшибусь,
Вся великая, темная, пьяная,
Окаянная двинется Русь.

Старые счета будут оплачены полностью. Полностью оправдалась эта мечта буйного Степана Тимофеевича.

ГЛАВА III.

А. Н. Радищев.

Ее величество императрица Екатерина II в ажитации. Ее величество взволнована. Ее величество расстроена. Ее величество потрясена. Трудно, трудно бедной немке царствовать в этой странной России.

Верить ли ей глазам своим? Неужели правда, что эта вот книга, „Путешествие из Петербурга в Москву“, действительно написана и издана в Санкт-Петербурге, да еще „с разрешения господина обер-полицеймейстера?“ Но ведь эта книга потрясательная и явно преступная! Эта книга „сеет французскую заразу“. Она учит революции! Она восстает против крепостного права, против духовенства, даже, о ужас, против самодержавия. Ведь вот, черным по белому напечатано: „Одежды царские кровью замараны и слезами омочены. На пальцах царских остатки мозга человеческого“... „Цари умом не отличаются“... „Скажи“,—спрашивает автор читателя,—„в чьей голове может быть больше несообразности, если не в царской?“.

И все это печатается в Санкт-Петербурге, чуть не рядом с дворцом ее величества?!.

А что пишет этот ужасный автор о крепостном праве, о помещиках: „Звери алчные, пиявицы ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем,

воздух. Да, один воздух! Отнимаем у него нередко не только дар земли, хлеб и воду, но и самый свет. О алчность дворянская, грабеж, мучительство наше и безза-

А. Н. Радищев.

щитное нищеты состояние. Звери алчные, пиявицы ненасытные! Страшись, помещик жестокосердый! На челе каждого из твоих крестьян зрю я твое осуждение. Мы увидим вокруг меч и отраву. Смерть и пожигание

нам будет ответом за нашу суровость и бесчеловечие. Опасность уже вращается над главами нашими, берегитесь!"—взывает автор, предсказывая неизбежность революции, и призывая к беспощадному суду над тиранами-помещиками и деспотом—носителем царской власти.

Ее величество в ужасе. Да что же это такое? Неужели на яву, а не во сне видит она своими глазами все эти потрясательные слова? Ведь она не новичек на престоле Российском. Ей 56 лет, свыше 20 лет провела она на троне, наслаждаясь раболепием и низкопоклонничеством окружающих, и вот, вдруг, это небывалое событие, эта ужасная, кощунственная книга!

„Крестьянин в законе мертв. Но он будет, будет жив, если того восхощет",—говорит автор в своей книге: — О„ если бы рабы тяжкими узами отягченные, яряся в отчаянии своем, разбили железом главы наши, главы бесчеловечных своих господ и кровью нашею обагрили нивы свои". Этот возмутительный автор не только предсказывает революцию:—„Не мечта сие. Я зрю сквозь целые столетия!",—но и призывает к ней, убеждает крестьян восстать против помещичьей власти: „Сокрушите орудия его земледелия, сожгите его риги, овины, житницы, и развейте пепл по нивам, на них же совершалось мучительство!".

— Ужас, ужас! Позвать сюда обер-полицеймейстера Никиту Рылеева,—приказывает императрица.

Неужели это правда, что он, обер-полицеймейстер столицы империи Российской, осмелился пропустить, разрешить к печати эту дерзновенную крамольную книгу?

Обер-полицеймейстер в панике. — Смилуйся, матушка государыня. Виноват. Разрешил. Не читая, разрешил.

Бедный обер-полицеймейстер! Его вина вовсе не так велика, как это кажется разгневанной, пришедшей в ярость императрице. Времена были тихие, спокойные. Мог ли он, обер-полицеймейстер, и помыслить, могло ли ему в голову придти, что кто-нибудь в России осмелится представить ему на цензуру книгу, хоть в малой мере потрясающую основы? Времена были тихие, спокойные времена. Книги печатались—или патриотические, прославляющие великую государыню и ее мудрость, или религиозно-нравственные, возносящие хвалу господу и его представителям, архиереям и митрополитам. Обер-полицеймейстер, по тем временам, имел все основания спокойно и не читая подписать к печати представленную ему рукопись, в полной уверенности, что это нечто вроде календаря или толкователя снов. И вот вдруг. Подумайте, какая неприятность, какой невероятный, небывалый случай. Книга насыщена революцией. Книга идет против церкви и религии, указывает, что царь небесный и царь земной заключили между собой союз только для того, чтобы обманывать, превращенных в рабов свободных граждан. Рука руку моет,—объясняет автор:

Власть царска веру сохраняет,
Власть царску вера утверждает.

„Установление свободы в исповедании обидит одних попов и чернецов, да и те скорее пожелают приобрести себе овцу, нежели овцу во Христово стадо“,—насмешливо указывает автор.

Хуже того, книга идет против царской власти: „Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние“, напечатано здесь черным по белому.

В своей оде „Вольность“ Радищев со всей определенностью предсказывает неизбежность грядущего восстания и революции в России:

Восстанет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит,
В крови мучителя венчанна
Обмыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает.
В различных видах смерть летает
Над гордой головой царя.
— Ликуйте, склепанны народы,
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя!

* * *

Немедленно же, в срочном порядке, по требованию ее величества, начато наистрожайшее следствие. Автор книги моментально отыскан. Это оказывается — некий Радищев, окончивший пажеский корпус, дворянин из хорошей помещичьей семьи. Как, каким образом, мог в те времена этот дворянин дойти до столь необычайных, крамольных мыслей?

Александр Николаевич Радищев по происхождению помещик Саратовской губернии. Одно из главных впечатлений его детских лет—Пугачевский бунт со всеми теми жестокостями, какими восставшие крестьяне мстили за целые века угнетения и крепостного бесправия.

Родители Саши Радищева были гуманными людьми, считались „добрыми господами“ настолько, что в те дни, когда пронесся по области вихрь Пугачевского восстания, крестьяне спрятали маленького Сашу и его родителей, укрыли их от расправы Пугачева в окрестных лесах. На всю жизнь остались в душе мальчика неизгладимые воспо-

минания об этих ночах в лесу, о зареве пожаров, какими полыхали помещичьи имения, о буйной стихии ненависти и мести. На всю жизнь неизгладимы остались эти впечатления, на всю жизнь запали в голову Радищева мысли о мужицком горе, о крестьянской недоле.

Время было тяжелое, темное время. „Крепостное право",—говорит историк С. Мельгунов,—„развращало и деморализовало все слои общества. Внешний европеизм прекрасно уживался со всеми замашками крепостнического барства. Сентиментальная дама охотно прерывала чтение французской любовной книжки, чтобы идти на конюшню для собственноручной расправы над своими крестьянами и крестьянками".

Крестьяне в эту эпоху рассматриваются, как „вещь", как „двуногая скотина без рогов". Крепостных продают на ярмарках и базарах. Этот живой товар экспортируется на восток. По свидетельству Массона, дамы высшего света „воспитывают" своих крестьянских девушек специально для разврата. Рабов выигрывают и проигрывают за карточным столом.

Цены на двуногую скотину сбиты до крайности. За борзого щенка платят до 3.000 рублей. Крестьянская девушка стоит от двух с полтиной. Цена ребенка от 10 копеек.

Среди газетных публикаций в эти годы в Петербурге в каждом номере находим:

„Продается малосольная осетрина, 7 меринов и муж с женой".

„Продается парикмахер, 4 кровати, перина и прочий домашний скарб".

„Карета, почти новая, и девка 16 лет весьма доброго поведения продаются".

Изучая крепостной быт этой эпохи, В. И. Семевский нашел в архивах характерный документ, „Журнал Домашнего Управления“, строго применявшийся в помещичьем обиходе. Правила этого „журнала“ предусматривают всю жизнь крепостных. За нарушение малейшего пункта предписаны суровые наказания. В число обязанностей крепостных входит, между прочим, строгое выполнение религиозных требований: „А ежели кто который год не будет говеть, того—плетьми, а которые не причастятся, тех сечь розгами, давая по пять тысяч нещадно“.

„Журнал Домашнего Управления“ предусматривает даже количество времени, какое полагалось хворать после наказаний. Получивший 50 плетей, или 5.000 розог, имел право хворать три дня. При ста ударах плетьми, или 10.000 розог, наказанный имел право пролежать, не являясь на барщину, целую неделю.

Весь быт эпохи насквозь пропитан правилами такого рода. „По правилам“ принадлежит помещику первая ночь крепостной рабыни. „По правилам“ выкармливают грудью борзых щенят для господской псарни крестьянские матери, „по правилам“ за проступки барчуков на их глазах, для их вразумления дерут шкуру с крепостных детей. Все было по правилам в этот просвещенный век мудрой Екатерины Великой.

* * *

Как, каким образом, откуда взял А. Н. Радищев в те жестокие времена ту благородную убежденность, тот подлинный пафос, каким проникнута каждая страница его знаменитой книги?

Во время пребывания в пажеском корпусе, юный Радищев вместе с остальными пажами был обязан дежурить

во дворце. Он своими глазами видел здесь золоченую гниль придворной жизни, тот подлинный дом терпимости, какой создала при русском троне императрица-немка.

Когда Екатерина, считавшая особым шиком во всех своих делах итти „по стопам великого Петра“, надумала отправить несколько молодых чиновников для пополнения их образования за границу,—в число 12 юношей, посланных в Лейпцигский университет, попал и Радищев. Юноши, оказавшись за границей, успели надышаться вольным воздухом Запада, успели оценить и понять значение гражданской свободы. Как будто для того, чтобы эти юноши могли еще нагляднее сравнить западный быт с российским, вместе с ними за границу был отпущен и своеобразный представитель чиновничьей России того времени. Руководителем и воспитателем юношей послан с ними некий майор Бокум, типичный представитель русского режима тех дней. Несмотря на крупные суммы, отпускаемые казной на содержание воспитанников за границей, этот воспитатель держит их впроголодь, одевает их в лохмотья, а присылаемые деньги ворует и удерживает в свою пользу. С воспитанниками он обращается сурово, бьет их, держит в карцере, придумывает для них какую-то „клетку для подвешивания“ воспитанников к потолку. Когда доведенные до крайности юноши выражают свой протест, — майор обращается к лейпцигским властям и добивается присылки немецких солдат, для „усмирения русских государственных преступников“.

Сравнить западные порядки с российскими юношам было нетрудно.

Отсылка их за границу была осуществлена тогда, когда Екатерина играла в либерализм, дружески переписывалась с Вольтером, принимала у себя в гостях фило-

софа Дидро, приглашала в Россию вольнолюбивого Руссо. Это было в то время, когда Екатерина составляла свой знаменитый наказ комиссии для составления новых законов, наказ настолько либеральный, что он был признан „опасным“ в тогдашней Франции и распространение его там было строжайше воспрещено.

В этот период здесь, на Западе, А. Н. Радищев познакомился с французской политической литературой этого века, с ее проповедью прав человека и господства разума.

Но к тому времени, когда надышавшись вольным воздухом Запада и усвоив идеи надвигавшейся французской революции, Радищев вернулся в Россию,—матушка-государыня давным-давно успела забыть былые либеральные идеи. Екатерина круто повернула на старые дороги династии Романовых и стала применять все меры для укрепления крепостного права и подъема благосостояния дворян, объявленных главной основой царского престола.

Екатерина этого периода больше всего на свете боится „французской заразы“, революционных течений.

По рассказам современников, книга Радищева привела Екатерину в такое негодование, что она даже расплакалась. Радищева немедленно посадили в Петропавловскую крепость. Дело его было передано знаменитому „кнутобойце“, начальнику тайной полиции Шешковскому. Что это был за человек, легко понять из того, что Радищев, когда узнал, что дело о нем попало в руки Шешковского,—упал в обморок.

„Путешествие из Петербурга в Москву“ было напечатано Радищевым в его домашней типографии в очень небольшом числе экземпляров. Большинство из них было сразу же конфисковано и сожжено.

Книга была воспрещена в России в течение 115 лет. Попытка издать книгу Радищева, сделанная в 1903 году, при Николае II, кончилась точь-в-точь таким же сожжением всех экземпляров, как и предыдущая попытка издать ее, предпринятая еще при Александре II. Только в краткие

Сожжение книги Радищева.

дни свободы после революции 1905-го года увидело свет это произведение, свыше столетия остававшееся запретным.

Но не оставалась мертвой книга Радищева. Принесли ростки богатые посевы идей, разбросанных на ее страницах. Во множестве списков разошлась книга Ради-

щева по всей России. В далеком изгнании, в глухом углу Сибири, в Кунгуре, в нескольких сотнях верст к северу от Иркутска, на склоне лет своих Радищев испытал радостное чувство, увидев один из таких списков, переходящих из рук в руки. Много таких списков обращалось в читательской среде. На книге Радищева учились ненавидеть крепостное право целые поколения. Массон, напр., в своих мемуарах о России рассказывает, как после ссылки Радищева, в Москве платили по 25 рублей за то, чтобы „на один час“ получить для чтения его книгу. У Радищева учился любви к свободе и ненависти к рабству и юный Пушкин.

* * *

Главным прокурором в деле Радищева выступает сама Екатерина. Она сама формулирует обвинение, лично следит за следствием. Дело было направлено раньше всего к Шешковскому в Тайную Экспедицию.

Приговор давно предрешен. Книга Радищева испещрена собственоручными примечаниями самой Екатерины. Все эти примечания сводятся к указанию на то, что Радищев является „первым подвизателем в России французской революции“. „Автор целит на французский развратный нынешний пример“,—возмущенно замечает императрица: „Намерение сей книги в каждом листе видно. Сочинитель оной ищет все возможное к умалению почтения к власти, к приведению народа к негодованию против начальников и начальства“.

Крепко держит арестованных Тайная Экспедиция. Для потомства так и осталось неведомым, что делал Шешковский с Радищевым. Стены Тайной Экспедиции умели молчать. „Шешковский пытал, мучил и тиранил“,—расска-

зывает об этом герое в своих „Записках“ А. М. Тургенев,—„но с тех, кто после наказания оставался в живых, он брал подписки в том, что они во всю жизнь никому и ни под каким предлогом не будут говорить о случившемся с ними. Наказанный был обязан подтвердить присягой и обещать, если проговорится, подвергнуть себя безответному вновь наказанию“.

Застенок сохранил свои тайны. Осталось неизвестным, каким образом добился палач Шешковский от Радищева выражения раскаяния. „Чувствует ли он важность преступления, им содеянного?“—таков один из основных пунктов допроса, предписанного Екатериной.

Шешковский сумел сделать, чтобы „важность содеянного преступления“ Радищев почувствовал полностью. Но одного только авторского признания и раскаяния ее величеству мало. Дело измученного, измочаленного Радищева переводят в палату уголовных дел. По новизне преступления отыскать в законах статью, предусматривающую дела печати, оказывается невозможно. К делу привлечены воинские законы Петра I-го, предусматривающие „сдачу крепостей неприятелю без достаточных к тому оснований“. Сюда же пришиты и статьи о „ворах, мыслящих на государево здоровье, и хотящих Московским государством завладеть и государем быти“.

Дело вовсе не в статьях закона. Приговор все равно предрешен. Впервые в летописях государства Российского идет тяжба, своеобразная словесная дуэль между одиноким, беспомощным, возлюбившим вольность писателем, у которого только и есть одно оружие, слово человеческое, оружие мысли, и—царским троном, за которым стоят все вооруженные силы империи, весь гигантский полицейский и судебный аппарат.

Приговор предрешен. Но прежде чем объявить этот приговор, смертную казнь,—надо проделать хотя бы комедию суда. Как же быть? И сама царица и все сановники—в ужасе. Неужели на суде огласят книгу Радищева? Из этого затруднения вышли с честью. Особым указом суду воспрещено во время чтения крамольных материалов впускать в присутствие канцелярских служителей. Книга слишком опасна. Рисковать немыслимо.

И правда. Что бы подумали бедные канцелярские служители, если бы хоть краем уха услышали содержание обвинений? В книге Радищева указано на всю гниль того строя, при котором „сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова“... „В России земледелатели не для себя работают“,—указывает Радищев, рисуя яркими чертами уцелевшее на целые века убожество, в котором живут крестьяне: „Кто между нами оковы носит, кто ощущает тяготу неволи? Земледелец. Тот, кто дает нам здравие, кто житие наше продолжает, не имея прав распоряжати ни тем, что обрабатывает, ни тем, что производит. Кто же к ниве ближайшее имеет право, буде не делатель ее?! Тот, кто естественно имеет к оному право, не токмо от того исключен совершенно, но, обрабатывая ниву чуждую, зрит пропитание свое, зависящее от власти другого“.

Как же живет этот „делатель земли, кто житие наше продолжает“, крестьянин? „Курная изба, с покрытою сажей и грязью стенами, в которой люди спят вместе с животными“,—вот их удел из рода в род, целые века.

Екатерина чудесно знает, что все то, что рассказывает в своей книге А. Н. Радищев, бесспорная и святая правда. Прочитав, напр., рассказ о некоем помещике, си-

стематически практикующем обесчещение крепостных девушек, императрица делает надпись: „Едва ли не гистория Александра Васильевича Салтыкова“. Но именно потому, что все, о чем рассказано в книге,—правда, Екатерина и пылает ненавистью против автора и местью.

Автор — подумать только! — красноречиво говорит в своей книге об ужасах царской власти, открыто приветствует цареубийство: При всей ненависти к Кромвелю, угнетавшему народ, он прославляет его за то, что он сумел добиться казни короля Карла:

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил.
Но научил ты в род и роды
Как могут мстить себя народы,
Ты Карла на суде казнил!

В угождение императрице палатой вынесен смертный приговор А. Н. Радищеву, но Екатерине этого не достаточно. Дело препровождено еще и в Сенат. Нужно, чтобы покорные сенаторы подтвердили прежний вердикт. Сенаторы со всей готовностью смертную казнь утверждают. Но Екатерине и этого мало. Дело передано в „Совет ее величества“, учреждение, созданное во время Турецкой войны специально для совещания по военным вопросам, и никакого отношения к судебным делам не имеющее.

„Совет ее величества“ снова одобряет смертный приговор, и только тогда Екатерина считает своевременным сделать жест благородства и заменить Радищеву смертную казнь ссылкой. В качестве места для ссылки выбран Илимский острог в Сибири.

* * *

Участь Радищева по новизне дела вызвала очень большое сочувствие. „Не только“—цитирует источники В. А. Мякотин:—„купцы на бирже плакали, узнав об его участи, но даже полицейский чиновник, объявлявший его семейству о состоявшемся над ним приговоре, исполнял это поручение со слезами“.

Долгие годы томится в глухом, отрезанном от мира, углу этот первый из русских писателей, отправленный в Сибирь самодержавной властью. Много последователей будет у Радищева на этом пути.

Знаю, народ—проторенной цепями
Эту дорогу зовет,—

—говорит об этом, воистину „великом“ сибирском пути Некрасов:

Пел бы я песню про эту дорогу
Пел бы, да ревмя ревел.

Крайне характерно, что уже и Радищев, этот первый политический ссыльный,—и по пути, и на месте поселения встречен общим уважением. Уже по дороге местное общество в Тобольске встречает изгнанника целым рядом обедов и празднеств в его честь.

С исключительным уважением относятся к Радищеву все окружающие его.

В далеком Илимске А. Н. Радищев является чуть не единственным образованным человеком. Ввиду полного отсутствия медицинской помощи в тех местах, он принужден был вспомнить о своих лейпцигских занятиях медициной, и сделался врачом, лечившим все население, причем выступать ему приходилось не только в роли врача-терапевта, но и в качестве хирурга. Сказалась его

энергия и в области умственной жизни: он умудрился исхлопотать доставку своей библиотеки, добился получения французских и немецких журналов и книг, напряженно работал над целым рядом экономических и философских тем.

Когда, после смерти Екатерины, на престол взошел Павел, и „на зло“ своей предшественнице стал возвращать из ссылки находившихся в опале подданных, и ссылать новых, бывших любимчиков и фаворитов Екатерины,—Радищев оказался в списке возвращенных. Но и теперь, он считается все же опасным. Пребывание его на свободе объявлено недопустимым и он остается в ссылке в Калужской губернии под строгим надзором полиции.

Только после убийства Павла I-го, когда была произведена своеобразная мобилизация всех наивных и доверчивых людей в России на предмет ликования по случаю наступления „дней Александровых прекрасного начала“,—А. Н. Радищев получил наконец свободу. Мало того. Этот опасный человек, патентованный крамольник, приглашен в комиссию по составлению законов. Этот многое переживший, выстрадавший свои убеждения человек с седой головой (в это время Радищеву было 52 года) пламенно относится к новым возможностям. Он берется за работу со всей энергией. Со всем жаром составляет он целый ряд законопроектов о свободе печати и свободе совести, об освобождении крестьян, о суде присяжных об уничтожении телесных наказаний, обо всем, что не только по тем временам являлось далекой мечтой, но оставалось манящей сказкой еще и впоследствии, для целого ряда поколений.

„Первый республиканец земли русской“, А. Н. Радищев, взялся за эту работу с пламенным воодушевлением.

Как юноша, он весь загорелся, весь отдался выработке проектов устроения новой России... Но в это время иллюзии успели развеяться. Отшумело, отцвело „дней Александровых прекрасное начало“. Серые будни заменили собой манящий праздник, горькая правда заняла место недавних иллюзий, и русская история все определеннее и очевиднее направилась по старому, рабскому, Романовскому пути. А. Н. Радищев не вынес новых разочарований. Самоубийством окончил свою жизнь первый республиканец русской земли. А. Н. Радищев принял стакан яду и в страшных мучениях покончил свои дни.

Итак, Радищева не стало!..
Мой друг, уже во гробе он—

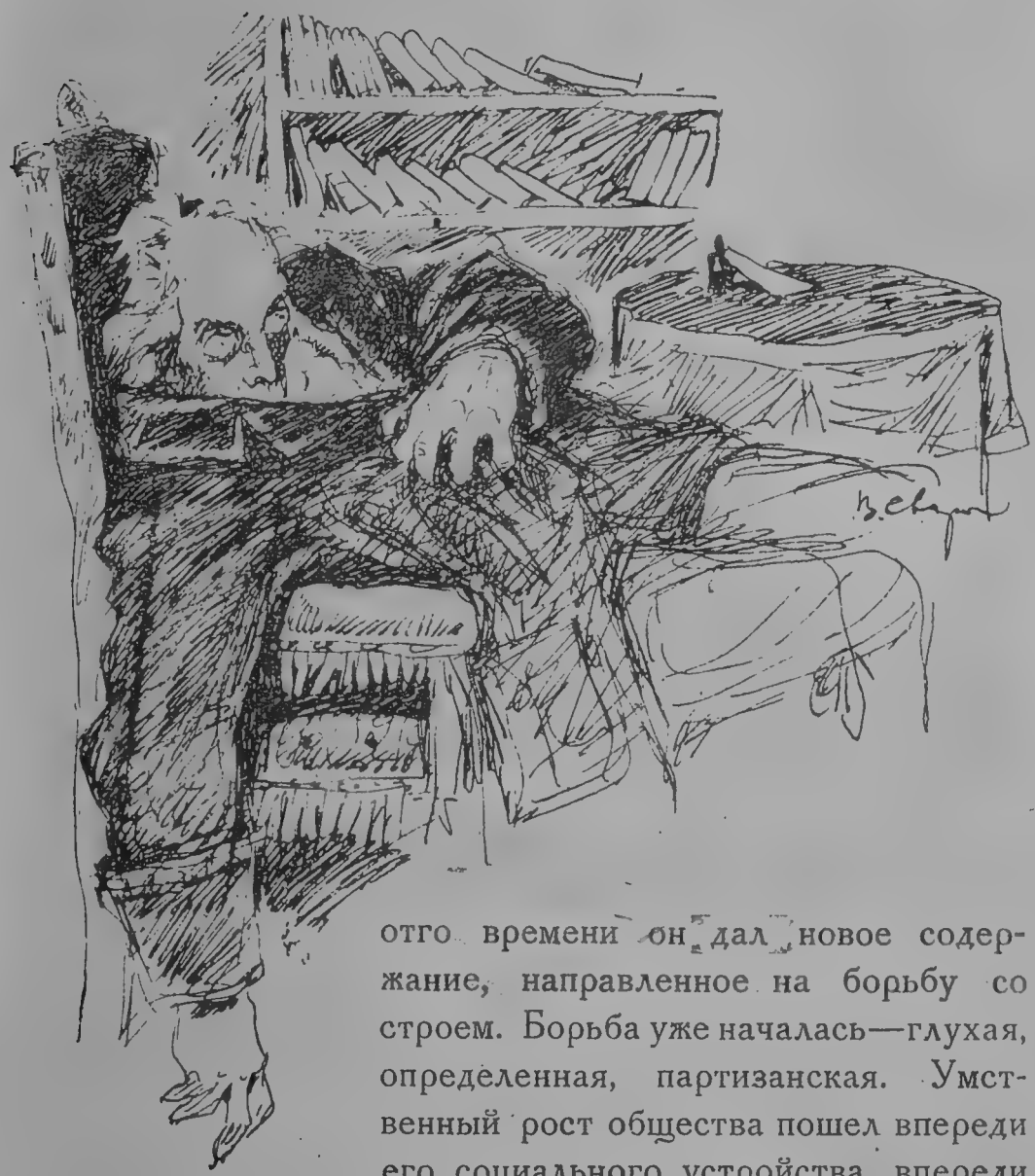
— начал свои, посвященные памяти Радищева, стихи его пламенный почитатель, поэт Пнин:

Уста, что истину вещали,
Увы, на веки замолчали
И пламенник ума погас.
Кто к счастью вел путем свободы,
Навек, навек оставил нас!

„Друзья, посвятим слезу сердечную памяти почившего“,—возглашает, в некрологе своем, современник Радищева, Борн:—Он любил истинную добродетель. Пламенное человеколюбие его жаждало озарить всех своих собратьев.

„Среди своих современников“, говорит В. А. Мякотин,—„Радищев явился наиболее энергичным и последовательным поборником европейских идей своей эпохи в их применении к русской действительности“.

„Радищев, как апостол новых идей“,—говорит Н. Ашешов,—„бросил вызов правительству. Общественным идеям



отго времени он дал новое содержание, направленное на борьбу со строем. Борьба уже началась—глухая, определенная, партизанская. Умственный рост общества пошел впереди его социального устройства, впереди социальных сил. Этот рост должен был продолжаться еще 70 лет для решения первой радищевской задачи, освобождения крестьян.

„Мечты и планы Радищева остались, во многом встали на очередь теперь, поставлены в задачу ближайшего будущего трудо-

выми массами. Его идеи горят теперь не только в пламенных головах, они получили мощь и силу, потому что прочно поддерживаются мыслью и силами труда, борющегося за свои политические права и экономическое переустройство общества.

„Радищеву снились пленительные сны. Эти сны сделались теперь научно-обоснованными и покоющимися на реальных отношениях требованиями“.

Сам о себе Радищев писал:

Под игом власти, сей рожденный,
Неся оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал.

Но он не только прорицал вольность,—напоминает его биограф: Он был одним из первых создателей той тяги к вольности, которая породила революционное движение в России.

— Он вышел рано, на самой заре нашей общественности. Тем святее его подвиг и тем выше его дело!

ГЛАВА IV.

Декабристы.

Есть красота строгая, чеканная, законченная. Красота мраморной статуи Венеры Милосской, бессмертная красота „Войны и Мира“, созданной гением Толстого. Но есть и иная красота, красота порыва, красота мгновения. Робкий подснежник, неожиданно улыбнувшийся из-под снегового покрова... На миг открывшаяся в глазах путника тропинка, ясная, как будто только что умывшаяся свежей росой, на минуту мелькнувшая и уже исчезнувшая в густой заросли угрюмого леса...

Упорная, устойчивая красота мраморной статуи естественно и просто остается в наследие векам. Как сохранить красоту мгновения, красоту порыва? Как увековечить ту красоту, какая освещает лицо охваченной первой любовью шестнадцатилетней девушки, независимо от того, являются ли классически правильными черты ее лица?

Красота героизма, какую оставили России в наследство декабристы, не была строгой, законченной, чеканной красотой. Это была несмелая, но тем более радостная, улыбка солнца на суровом севере. Это были робкие цветы, только на мгновенье распустившиеся в суровой тундре, в холодной, непроходимой тайге эпохи Николая I.

Блаженны величавые герои, умеющие всю жизнь свою, от начала и до конца, цельно и планомерно отдать

подвигу. Но блаженны и те рядовые обыватели, кто хоть раз в жизни из топких болот будней сумели подняться на снежные высоты героизма, хоть раз сумели полной грудью вздохнуть горным воздухом подвига.

„Как прекрасен был в этот вечер Рылеев!“—читаем мы в „Записках“ Михаила Бестужева, в описании кануна 14-го декабря:—„Как прекрасен был в этот вечер Рылеев! Он был нехорош собою, говорил негладко. Но, когда он попадал на свою любимую тему, на любовь к родине,—физиономия его оживлялась: черные, как смоль, глаза озарялись неземным светом, речь шла плавно, как огненная лава, и тогда, бывало, не устанешь любоваться им. В этот роковой вечер 13-го декабря, решавший туманный вопрос,—быть или не быть,—его лик, как луна бледный, был озарен каким-то сверхестественным светом. Я любовался им“.

К. Ф. Рылеев.

„Рылеев был не хорош собой“. Но... „как прекрасен был в этот вечер Рылеев!“. Отсутствие строгой классической красоты,—как ясно чувствуешь это, вчитываясь в документы эпохи!—не мешало декабристам быть обаятельно красивыми в важные, решительные минуты подъема.

„Заместители“,—так определяет роль декабристов Л. Троцкий в своей книге „Литература и Революция“: „По поводу восстания декабристов, граф Растопчин иронизировал, что вот-де во Франции чернь учинила

революцию, чтобы сравниться с аристократией, а у нас аристократы за чернью погнались.

„Этим парадоксом Растопчина,“—напоминает Л. Троцкий,—„пользуется Иванов-Разумник, чтобы подчеркнуть противосословный, чисто-идеалистический характер движения декабристов“.

О том же упоминает и Н. А. Некрасов в поэме „Русские женщины“:

В салонах Москвы повторялась тогда
Одна растопчинская шутка.
Едва огласилось решенье суда,—
Всем было неловко и жутко.
„В Европе—сапожник, чтоб барином стать,
Бунтует, понятное дело.
У нас революцию сделала знать...
— В сапожники, что-ль, захотела?“

Было ли и впрямь „противосословным и чисто-идеалистическим“ движение декабристов?

„В общем и целом“,—говорит Л. Троцкий,—„верно, что движение декабристов не было сословно-классовым. Почему? Да именно потому, что декабристы выступили, как не раз выступала русская интеллигенция после них, т.-е. пытаясь заменить собой отсутствующие зрелые классы. Декабристы заместительствовали буржуазный либерализм. Такое заместительство несуществующих или слаборазвитых классов, маскировавшее социальную слабость интеллигенции, становится ее идейной потребностью и вместе политической профессией. Сперва аристократическая интеллигенция замещает „чернь“, затем разночинец-народник замещает крестьянство, впоследствии интеллигент-марксист заместительствует пролетариат. Только постепенно дух становился плотью“.

Это „заместительство“ в позиции декабристов, при котором действующие лица говорят не то, что им подсказывает классовый инстинкт, их собственный классовый интерес, а лишь то, что идет от идеологии, от теоретических велений правды-истины и правды-справедливости,— не могло быть в полной мере последовательным, не могло быть даже и прочным. Мы увидим, как много срывов, как много падений и неожиданных отступлений знает история декабристского движения.

Но эти „заместительские“ падения и срывы не изменяют героической сущности движения. Как бы поверхностен ни оказался подлинный героизм в деле декабристов,—его проявления бесконечно ценны и важны уже потому, что он был небывалым исключением в те времена, тогда как срывы и падения являлись в то время нормой жизни, казались вполне нормальными и естественными.

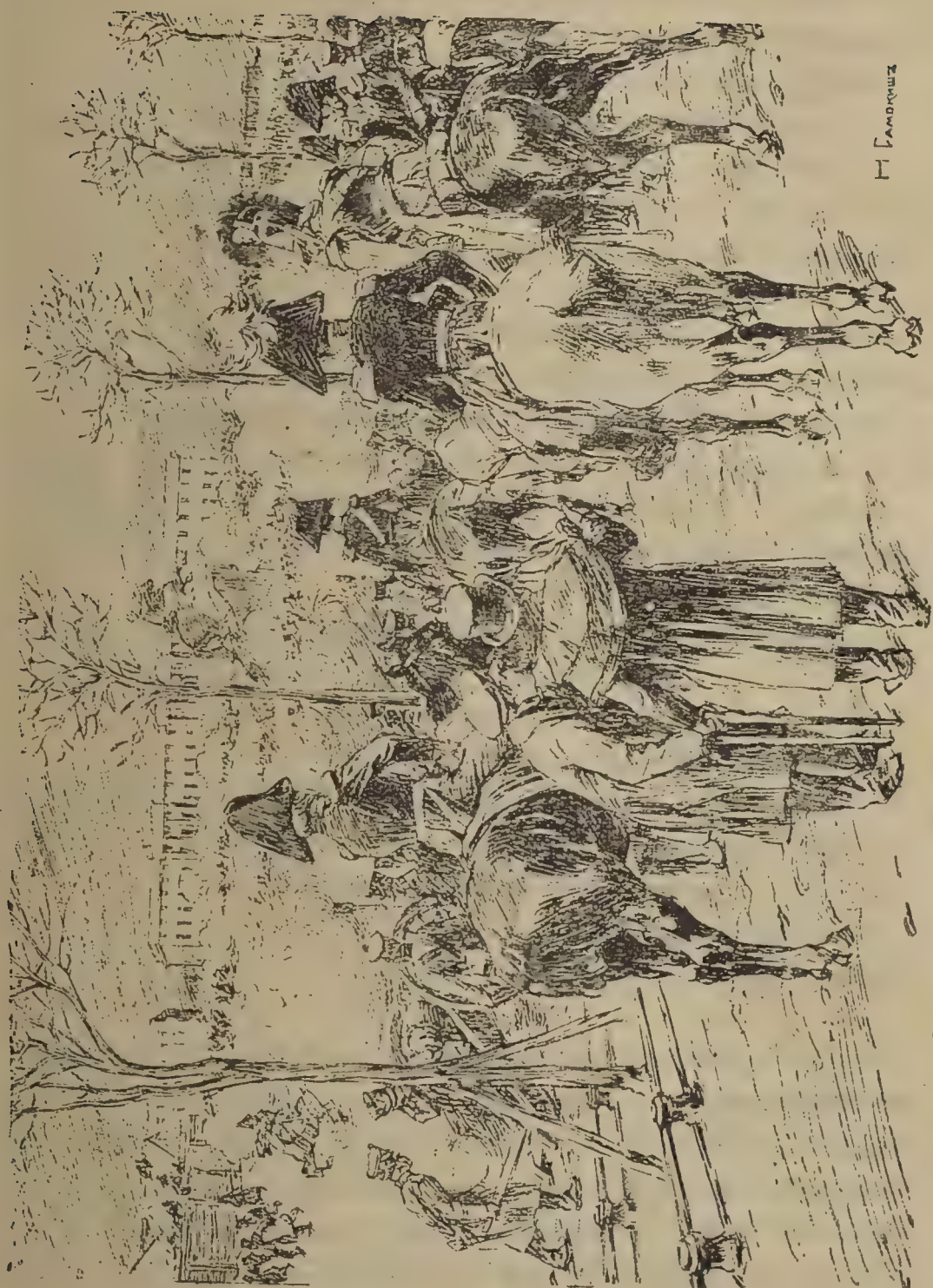
„Как прекрасен был в этот вечер Рылеев!“

* * *

Позиция декабристов четко проявляется уже за несколько лет до событий 14-го декабря. Последние годы царствования Александра I-го ознаменованы резким брожением в армии. По мемуарам и запискам современников, это брожение началось еще с 1814—15 г. г., когда, после изгнания Наполеона, русская армия по воле самолюбивого Александра отправилась на запад, в победоносное шествие к Парижу.

„Эти годы“,—говорил на допросе Пестель,—„ознакомили умы с революциями, возможностями и удобностями оные производить“.

„Не только офицеры“,—говорит в своих „Записках“ соратник Фаддея Булгарина, „директор полковых школ“,



Обстрел декабристов на Сенатской площади.

знаменитый Н. И. Греч,—„но и нижние чины гвардии набрались заморского духа“.

Но по возвращении на родину этот заморский дух оказался неудобен. Если навыки и потребности войск после похода в западную Европу очень повысились,—то бытовая обстановка жизни казармы с ее мордобоем и издевательской муштровкой осталась совершенно неизменной даже в деталях.

— Больше игры в носках! Прибавь чувства в икры!— требовало начальство, без счету раздавая шпицрутены.

Знаменитый актер М. С. Щепкин (удивить его чем-либо мудрено; он ведь и сам родом из крепостных) сообщал о следущей характерной сцене, свидетелем которой он, уже много позже эпохи декабристов, оказался в обществе нескольких офицеров:

„Один из них предложил другому пари на пятьсот рублей, что любой солдат его роты выдержит тысячу палок и не упадет.

„Послали за солдатом.

„Степанов!—сказал ему офицер:—Синенькую и штоф водки... Выдержишь 1000?

„Рад стараться, ваше благородие.

Щепкин кинулся к солдату.

„Как же ты согласился на это?

„Все равно ведь... Даром дадут!“

Щепкин попытался обратиться к полковому командиру, рассказал ему о готовящейся варварской потехе. У полковника сидели гости. Сообщение Щепкина было встречено хохотом, выражением одобрения по адресу шутников, затеявших такое интересное пари, а также и своеобразной гордости по поводу русского героизма.—Вот он каков, солдат русский. Герой!

Эта „святая серая скотина“, своим горбом одолевшая Наполеона, эти „серячки“, завалившие своими трупами весь путь от Москвы, сумевшие не только изгнать из России наполеоновские полчища, но и победоносно пройти всю Европу и торжественно при кликах толпы вступить через триумфальную арку на площади Парижа, это человеческое „быдло“, от невыразимого гнета крепостного права перешедшее к дикому казарменному гнету тех времен,—за время похода успело понять и почувствовать, что возможна на земле и иная, более свободная жизнь, иные, более человеческие порядки. Еще только что они своими глазами видели, как живут люди на западе. Еще только что их приветственно и почтительно встречали в качестве победителей, и вот теперь, с новыми требованиями к жизни, их отправили в прежние промозглые казармы с возведенным в систему издевательством и смертоубийственным кнутом.

„В то время“, — рассказывает М. И. Муравьев-Апостол,—„солдатская служба была не служба, а жестокое истязание. Часто случалось, что солдаты убивали первого встречного, чтобы переменить казармы на каторгу. Очень часто, не вынеся казармы, солдаты кончали самоубийством, бросались в Неву, осенив себя широким крестом“...

В наши дни не представить себе, чем являлась казарма той эпохи.

Солдатская сказка того времени описывает, напр., как „солдат продал душу чорту“, обязавшемуся вместо него выслужить его срок. Чорт с радостью взялся, но очень скоро от порядков казармы, ее палок, розог и кнутов пришел в такой ужас, что, не будучи в силах вынести, „отказался от солдатской души и кинулся на утек“.

* * *

Как начались те „беспорядки в Семеновском полку“, какие являются главным этапом, подготовившим восстание декабристов?

Если после похода в западную Европу изменились солдаты, то не могли не измениться также и офицеры. Среди них проявляется небывалый либерализм. Когда напр., в честь всесильного Аракчева устраивалась какая-то пирушка, офицеры Семеновского полка единодушно отказались участвовать в подписке на это. Этот отказ, естественно, не мог не вызвать сенсации. Офицеры Семеновского полка были, вообще, на плохом счету. Когда они составили было „артель“ человек в 15—20 (в состав артели вошли будущие участники тайных обществ и главные деятели декабрьского восстания) и затеяли совместные обеды, царь приказал артель эту немедленно закрыть.—За обедами участники артели играют в шахматы? Читают иностранные газеты? Это еще что за новости!

П. И. Пестель.

Когда вскоре после этого Александр I узнал, что Пестель, С. Муравьев, Трубецкой и другие гвардейские офицеры затеяли слушать у университетских профессоров частные курсы политических и экономических наук,—он немедленно велел произвести „строгое расследование“ по этому делу.—Странно это! Очень странно... Отчего они вздумали вдруг учиться?

Семеновский полк состоял, таким образом, на плохом счету еще задолго до „беспорядков“.

Не забудем, что главную роль в деле убийства Павла I и возведения на престол Александра сыграл именно этот, Семеновский, полк, у офицеров которого еще с тех пор не могло не появиться ощущения своей особой значительности в общем строе русской жизни.

Близость „беспорядков“ остро почувствовалась в полку после того, как вместо прежнего добродушного полкового командира, общего любимца, генерала Потемкина,—„чтобы подтянуть полк“ назначили нового, типичного аракчеевца, полковника Шварца.

На месте прежней службы своей этот полковник Шварц прославился „погостом своего имени“, т.-е. обширным кладбищем для замученных им во время учения солдат.

Получив назначение на новую должность, этот аккуратный немец старается полностью оправдать свою репутацию служаки. Больше всего возмущает нового полковника попытка, произведенная было офицерами-семеновцами, обойтись без телесных наказаний.

— Подумать только, до чего разврат дошел! Солдата, и вдруг не бить?!.

Этот, вновь назначенный в Семеновский полк, Шварц,—говорит об этом аракчеевском ставленнике в своих записках Вигель,—„был из числа тех немцев низкого состояния, которые, родившись внутри России, не знают даже природного языка своего. С черствыми чувствами немецкого происхождения своего соединял он всю грубость русской солдатчины. Палка была всегда единственным красноречивейшим его аргументом“. Шварц взялся за дело круто. Не довольствуясь палочными ударами, он,

„недовольный учениями, обращал, например, одну шеренгу лицом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу“. Он ничего не знал, кроме фронта, но зато перед фронтом являлся „в виде фанатика“: „На учениях он выходил из себя, бранился, ревел диким голосом. Нередко случалось ему ложиться на землю, чтобы лучше видеть, хорошо ли на марше солдаты вытягивают ноги, и проследить игру носков“.

Крайне любопытная черта: полковник Шварц, сумевший прославиться в качестве зверя и палача даже в те исключительно-жестокие времена,—в личной жизни оказывается очень милым, добродушным, весьма приятным человеком. Мемуары современников, знавших Шварца лишь в частной жизни, указывают, что Шварц „был очаровательный в общежитии господин, добрый, предупредительный, человек слова“.

До чего иным рисуют его все, знавшие его по службе!

— Не проходило—рассказывает ген. М. И. Богданович,—ни одного учения без палок. Не довольствуясь тем, Шварц бил солдат своеручно, дергал их за усы.

Усы в те времена считались обязательными, и „те солдаты, кои усов не имели, были обязаны наклеивать фальшивые“. Делалось это каким-то составом, от которого на лице делались болячки и чирьи. Строжайшие наказания полагались даже за кашель в строю. „Количество палок измерялось тысячами, и общее возмущение, нароставшее с каждым днем, не могло не прорваться“.

По показанию протоколов военно-судного дела, возмущение началось 16 февраля 1820 года со следующего случая: „Ротный командир, увидев приближающегося полковника, скомандовал „смирно“. При этом один из рядовых, Бойченко, стал во фронт, не успев застегнуть

мундир. Тогда полковник Шварц, подбежав к нему, плюнул ему в глаза, потом взял его за руку, и, проводя по фронту, приказал всем рядовым на него, Бойченку, плевать. Сверх того, некоторых из нижних чинов, имеющих знаки отличия военного ордена, он наказал тесаками".

В этой сцене не было ничего необычного. Но на этот раз она оказалась той каплей, которая переполнила чашу. Рота (это была первая рота первого батальона, так называемая „рота его величества"), возвратясь в казарму, решила на вечерней перекличке заявить общую жалобу.

Испуганный фельдфебель на свой риск отменил перекличку, надеясь предотвратить этим угрозу небывалого нарушения дисциплины. Но хитроумная мера делу не помогла. Солдаты и без переклички, по собственному почину, в девятом часу вечера построились в коридорах казармы и послали за своим ротным командиром, Н. И. Кашкаровым.

По началу, заявления солдат чрезвычайно скромны. Они просят только об отмене по воскресениям так называемого „десяточного смотра" („десяточным смотром" называлось введенное полк. Шварцем обыкновение ежедневно вызывать по десять человек для учения к себе на дом, где он особенно изводил их придирками и истязаниями).

Ротный командир Кашкаров долго убеждает солдат отказаться от действия скопом, но „ввиду их непреклонности", обещает доложить по начальству их просьбу. Фельдфебель роты, с своей стороны, счел долгом представить Кашкарову список 12 лиц из числа нижних чинов, которые, по его мнению, являлись „заводилами и зачинщиками". Кашкаров этот список нашел возможным по начальству не передавать. „Дорого поплатился Каш-

каров за эту доброту“—констатирует исследователь беспорядков в Семеновском полку С. Я. Штрайх.

Дело идет по инстанциям. Кашкаров отправляется к батальонному командиру, полк. Вадковскому, оттуда к Шварцу. Известие о коллективном выступлении солдат производит впечатление ошеломительное! Ген. Васильчиков немедленно поручил Бенкендорфу произвести строжайшее расследование. Делом с самого начала заинтересовался великий князь Михаил Павлович.

Высшее начальство немедленно является в казарму. Солдат первой роты выстраивают по взводам в разных коридорах, но солдаты настойчиво требуют, чтобы их не разъединяли, и их приходится выстроить всех вместе. Солдаты единодушны. Они заявляют, что полк. Шварц их „тиранит, требует много ненужной службы, нещадно бьет“.

— Молчать! Не рассуждать! — вопит разгневанное начальство.

Но начальству докладывают, что и остальные роты также „неспокойны“, и можно опасаться, что и они последуют примеру роты его величества.

Оставлять солдат в казарме становится небезопасно. Полковнику Вадковскому предписано привести роту в штаб корпуса. Здесь уже находятся в полном снаряжении две роты Павловского полка, на которых рассчитывают, как на конвойных, для препровождения преступной роты в Петропавловскую крепость. Но семеновцы заявляют, что для этого конвой не нужен. Они и без того „готовы итти, куда прикажут, без всякого сопротивления“. Они будут повиноваться, даже если к ним приставят одного только инвалида.

— Они, семеновцы, не бунтовщики какие-нибудь. Они

ведь требуют только, чтоб с ними по закону поступали. Сами они от закона никак не отступники.

Пламенных законников в полном составе немедленно отсылают в Петропавловку. В первый раз в истории империи российской целая рота оказывается в крепости в положении „политических“.

Арестованные остаются спокойны. Но когда один из рядовых второй роты, Павлов, вернувшись в полночь из отпуска, сообщил своему товарищу Чистякову об аресте первой роты,—это вызвало целый ряд осложнений. Чистяков выбежал в коридор и закричал: „Выходи на перекличку“. Люди стали собираться. Павлов кричал: „Нет государевой роты—погибает“. Явившемуся ротному командиру солдаты заявили, что арестованная рота погибает занапрасно, так как и остальные роты, в том числе

и заявляющая, вторая, думают так же точно, как и первая, и виноваты ничуть не меньше.

К взбунтовавшимся мятежникам присоединяется еще и третья рота. Испуганные офицеры умоляют солдат успокоиться, но солдаты единодушно заявляют, что пока первая рота не будет возвращена из-под ареста, они не могут ни становиться в строй, ни нести караульной службы. — Без первой, головной, роты — им „не к чему пристраиваться“.

Командир третьей роты, капитан С. И. Муравьев-Апостол, впоследствии главный деятель декабристского восстания на юге, успокаивает роту, просит ее не буйствовать, напоминает, что за четырехлетнее командование этой третьей ротой он успел заслужить любовь и доверие солдат. Солдаты стоят на своем.—Какая тут третья рота? Здесь нет третьей роты! Все солдаты одинаковы. Первая рота погибает, а третья рота пойдет спать, от своих братьев отстанет? Мы не разбойничать хотим, мы по закону!

Рота за ротой продолжают присоединяться к восставшим и когда им грозят предстоящим арестом, солдаты отвечают:

— Ежели хотят хватать, пусть всех вместе хватают, один конец.

По описанию К. Ф. Рылеева, восстание развивалось в следующем виде: „В одно время все роты на ногах. Весь полк нестройными, но единодушными толпами выбегает на площадь. Тут, удивленные и обрадованные неизвестною дотоле им свободою, они предаются вполне своему восхищению. Друг друга поздравляют, целуют“.

Солдаты с гордостью указывают на то, что никто из них не взял с собою оружия. Они думают, что это спа-

сает их от каких бы то ни было упреков в незаконности их действий. Но это отсутствие оружия не изменило положения.

Как ни мирно и лойяльно настроены солдаты, но очень уж наболело у них на душе, и оказавшись на площади полк, в первую же очередь, выбирает депутатов для убийства полковника Шварца. Желающих оказывается 130 человек. Все они в полном порядке, со всей серьезностью и уважением к взятой на себя миссии, отправляются на квартиру к Шварцу. Перепуганный полковник успевает заблаговременно спрятаться, и как будто для того, чтобы резче подчеркнуть позорную роль свою, прячется в навоз.

Озверевшие солдаты, встретив воспитанника Шварца, которого они считают его сыном, бросили было его в воду, но унтер-офицер вытащил его.—Мальчик ни в чем не виноват. Подождем,—вырастет и в отца будет,—тогда еще успеем сладить!

Солдаты подождать согласились. Ждали, как известно, довольно долго,—до самого 1917 года. А потом, когда оказалось невмоготу,—Леонид Андреев написал свое знаменитое „К тебе, солдат!“, и красноречиво доказал, что солдат—разнузданный хам, предающий и продающий свою родину.

Впоследствии, когда у Шварца на суде спрашивали объяснений его поведения в ту ночь, когда он спрятался в навоз,—полковник рассказал, что прятался он вовсе не из-за трусости, а только „в интересах порядка“. Дело в том, что его „считали главной причиной недовольства“. Если б волнения вызвал кто-нибудь другой, он считал бы долгом действовать лично, хотя бы и рискуя жизнью. Теперь же его присутствие не только не могло никого успокоить, но могло бы возбудить еще большее ожесточение

и буйство. „Я знал, что меня растерзают, и не желал подвергнуть полк неизбежной и суровой каре за мою смерть“.

Единственное, чем ознаменовали свою злобу 130 солдат, пришедшие в квартиру Шварца,—это тем, что найдя в квартире мундир полковника, они „оторвали от него воротник, говоря, что Шварц носить этот мундир не достоин“. Больше ничего в доме солдаты не тронули.

Такой же подчеркнутой выдержанностью отличаются и все остальные действия впервые вышедших на площадь солдат. Хотя некоторые и оказались пьяны, но никакого буйства и излишеств не было. „Солдаты сами останавливали товарищей и строго следили за порядком“.

К „бунтующим“ солдатам, собравшимся на площади, приезжают все новые и новые представители власти.

— Мне стыдно смотреть на вас,—говорит бунтовщикам, убеждая их вернуться в казармы, ген. Закревский.

— А нам,—отвечает, выступив вперед старый гренадер, получивший пятнадцать ран,—нам ни на кого смотреть не стыдно!

Общий соблазн продолжается. Солдаты, гурьбой собравшиеся на площади, и не думают расходиться. Они стоят на своем твердо, и во что бы то ни стало требуют освобождения их товарищей, засаженных в Петропавловскую крепость, пострадавших „ни за что, без закона“.

Весь петербургский гарнизон мобилизован на предмет усмирения мятежников.

Со всех сторон подвозится артиллерия, приводятся войска. Первыми пришли лейб-егери с пушками, но сразу же дали знать семеновцам, что они в них стрелять не будут.

— В городе волнение и тревога не переставали,—описывает эту ночь Рылеев:—Полки ходили беспрестанно,

пушки везли, снаряды готовили, адъютанты скакали, народ толпился...

Настроение остальных воинских частей также оказывается „приподнятое“, и командиры их не решаются поручиться за то, как они станут себя держать. „Преображенцы громко роптали и говорили, что гибель их братьев поведет к их собственной гибели“. Солдаты Московского полка, при встрече с семеновцами, обнимали их со слезами на глазах. Лейб-гренадеры громко заявляют: „Молодцы семеновцы!.. Со своим Шварцем расправились. Не худо бы и нам с нашим Стюрлером покончить“.

Флигель-адъютант Бутурлин в своем письме к царю, не скрывая, говорит, что „стоило кому-нибудь из гвардейских офицеров стать во главе солдат и побудить их взяться за оружие и все бы пошло бы к чорту“.

— У нас начинается революция!—заявляет адъютант петербургского губернатора Ф. Н. Глинка.

На рассвете придумали, наконец, способ успокоить солдат. Полковника Шварца отрешили от командования. Должность его передали популярному в солдатской среде ген. Бистрому. Солдаты в восторге.—Ура, наша взяла!

Явившись к собравшимся на Семеновском плацу семеновцам, начальство заявляет солдатам, что первая рота предана суду и без разрешения государя выпустить ее из крепости невозможно. Если остальные солдаты полка не желают разлучаться с арестованными товарищами,— они могут быть отправлены туда же.

На это солдаты согласны.—Только бы дружно, всем вместе... Все, как один, не разъединяться.

Странными мерами можно успокоить толпу в России!

— Налево, кругом, в Петропавловскую крепость, шагом марш!

Солдаты идут послушно.

В письме А. И. Тургенева к князю П. А. Вяземскому рассказано, как он на рассвете увидел полк, отправленный в крепость, на набережной Фонтанки. „Они шли спокойно и без оружия, в одних шинелях, мимо нашего дома“.

— Куда вы? — В крепость. — Зачем? — Под арест. — За что?—За Шварца. Он мучитель. Бьет, тиранит, вырывает с мясом усы, заставляет солдат друг другу в лицо плевать.

Ну, ребята, чур дружнее.
За товарищей стоять.
С злым начальством жить тошнее,
От него чем погибать,—

— говорит солдатская песня тех дней.

В дневнике Н. И. Тургенева настроение общества в те дни записано так: „В государственном совете говорили о происшествии Семеновского полка. Все с негодованием и ужасом отзываются о Шварце. В английском клубе только об этом и говорили. Весь полк в крепости. Все это кончится бедствием многих солдат. Солдаты показали необыкновенное благородство во время всего происшествия. Все удивляются, все о них сожалеют“.

Александр I в эти дни находился в Австрии. Ему посылались подробнейшие донесения, и из своего прекрасного далека царь решал судьбу семеновцев. Всех участвовавших в восстании велено предать суду. Самый полк, вместе с офицерами приказано раскассировать, распределить по разным армейским полкам и образовать новый Семеновский полк в новом составе.

Александр I был детально осведомлен о положении дел. В его письмах к Аракчееву сказано, что „если бы

с первою ротою поступлено было приличнее при самом начале, ничего важного не было бы". Царь не скрывает своего отношения к делу: „Надо признаться, что семеновцы, даже совершая преступление, вели себя отлично хорошо,"— говорит он. Но исправить положение он не старается; главная задача Александра—это сделать, чтобы в Европе никто не узнал о солдатских волнениях в русской столице, и, кроме того усовершенствовать шпионский аппарат в войсках, чтобы в будущем застраховать себя от бунтов.

Царь предписывает „чрез офицеров и нижних чинов стараться во всех полках через разговоры с раскассированными семеновцами выведывать от них о настоящем начале происшествия, бывшего в Семеновском полку, и о том, что подало повод к оному:—не были ли они к сему подучаемы и кем именно?" О результатах этого расследования повелено немедленно доносить.

Семеновцы держали себя на допросах с исключительным достоинством. Солдаты—все, как один, — отказываются называть зачинщиков, категорически отрицают вину офицеров, не без основания заподозренных начальством в грехе либерализма.

Их пробуют допрашивать по одиночке, грозят им всякими карами за запирательство, но весь арестованный полк держит себя единодушно. Велено допытаться чего-нибудь „через солдатских жен", но „сколько ни употребляли стараний, ничего не могли открыть и через них",— докладывает Закревский.

Приговор военно-судной комиссии решителен: 220 солдат приговорены к смертной казни. Всех остальных постановлено раскассировать, разославши под строжайший надзор в армейские полки.

* * *

Волнения в Семеновском полку были далеко не единственным симптомом.

Задолго до 14 декабря успевают создаться и укрепиться тайные общества, построенные на смутной мечте о вольности.

Уже за два года до 14-го декабря Пестель, пользовавшийся огромным влиянием, резко ставит в среде одного из таких тайных обществ вопрос о перевороте.

— Что делать с членами императорской фамилии, в случае успеха восстания?—спрашивает Пестель у своих товарищей.

Одни находили, что их надо послать в ссылку, другие требовали заточения в тюрьму, третьи высказывались за изгнание из России.

— Их надо уничтожить, — категорически заявляет Пестель.

— Как? Ведь это ужасно!

— Это я знаю,—отвечает Пестель.

Прирожденный вождь, головой выше всех окружающих, П. И. Пестель с неумолимой ясностью формулирует задачи момента:

„Полумеры тут не годятся“,—говорит он:—„сначала необходимо арестовать царя и его семейство, и покончить с ними. Потом завладеть сенатом и синодом, захватить членов этих учреждений и провозгласить новое правление. Как только это будет сделано, всех высших гражданских и военных чиновников объявить уволенными и заменить их членами революционного общества“,

Северное общество, создавшееся в Петербурге, еще нерешительно, но члены южного общества давным давно

решили вопрос об уничтожении монархии и необходимости провозглашения республики. К тому же убеждению под влиянием Пестеля приходят и северяне.

— Республика необходима,—это делается общим убеждением членов тайных обществ, мечтающих о свободе.

Через 93 года после этого, в дни отречения Николая II-го, А. И. Гучков и П. Н. Милюков будут цепко хвататься за основы монархического строя, без которого не может, будто бы, жить Россия, будут судорожно удерживать запуганного событиями „кандидата на царский престол“ Михаила Александровича.

То, что было ясно П. И. Пестелю сто лет тому назад,—окажется трудно усвояемым для П. Н. Милюкова.

Прозорливость П. И. Пестеля в те далекие дни не ограничивалась вопросом о республике.

Он глубоко и серьезно провидит грядущее, и в своих речах на собраниях декабристов заявляет:

— Вы провозгласите демократическую республику, но это будет лишь перемена в названии. Главным образом нужно решить вопрос о поземельной собственности. Необходимо отдать землю крестьянам, и только тогда цель революции будет достигнута.

Четко и ясно видел уже тогда Пестель очень многое из того, что и в наши дни казалось еще непонятно многим из внутренних и внешних эмигрантов.

* * *

В те дни, когда во дворце было получено сообщение о последовавшей в Таганроге смерти Александра I-го и набальзамированное тело царя было отправлено в Петербург, когда бурно проявилась созданная Александром путаница, при которой Николай присягал Константину,

а Константин приносил присягу Николаю, в те дни, когда „никто в России не знал, кто собственно является государем“, и сановники, убежденные, что царствовать будет Константин, были в ужасе от того, что они не знали, где собственно находится самодержец, то ли в Варшаве, то ли по дороге в Петербург, то ли на пути в Таганрог, и российского самодержца, по выражению Данилевского, „отыскивали при помощи полиции“,—в эти дни Николай уже знает о замыслах декабристов.

Сведения о том, как подготовлялось все, что произошло 14 декабря, у Николая собраны заблаговременно и исчерпывающе. Предателей среди подготовлявших переворот членов тайного общества оказалось—увы,—более чем достаточно. Предатели эти оказываются самого усовершенствованного, „азефовского“ образца. Их специальность — не только предательство, но еще и провокация. Отправляя государю подробнейшие донесения о деятельности заговорщиков, доносчики остаются в составе членов общества, и продолжают держать пылкие речи о борьбе за свободу, и нежно целуются с предаваемыми ими фанатиками дела освобождения.

Эти навыки и традиции очень пригодятся дальнейшим самодержцам, до Николая II последнего, при котором выдвинутся Гапон, Азеф и многие, многие еще.

Но уже и при Николае I русское самодержавие умеет ценить работу провокаторов. Так, доносчик по делу декабристов, предатель Шервуд, получает от Николая Павловича в вознаграждение за донос не только дворянское достоинство, но и особый титул: к его фамилии прибавляется „Верный“. Если Потемкин стал—Таврическим, Орлов—Чесменским, а Суворов—Рымникским, то

почему провокатору и доносчику Шервуду не сделаться Шервудом-Верным?

Другой предатель, Комаров, в воздаяние своих заслуг, назначен губернатором в Симбирск, куда благополучно и отбывает немедленно после того, как преданные им декабристы были повешены. „За богом молитва, а за царем служба не пропадают“.

Удивительнее всех в этой галлерее предателей оказывается Ростовцев. Это—шпион с возвышенной идеологией, с интеллигентской неврастенией и мелодраматическим пафосом. Написав свой классический донос Николаю Павловичу и аккуратно приложив к нему список заговорщиков, он отправляется на обед к своим сотоварищам по тайному обществу, и здесь вручает князю Оболенскому копию своего доноса.—Ах, он человек честный. Во имя любви к правде он не мог скрыть положения дел от его величества, но, как видите, он действует открыто и прямодушно. Он ничего не скрывает. Копия его письма государю,—вот она!

Только такие изумительные теоретики, бунтовщики слова, а не дела, безвольные, опьяненные собственным красноречием люди, как заговорщики 14-го декабря, могли продолжать терпеть в своей среде этого слезливого шпиона.

„Здесь мы дожны обратить внимание“,—пишет по этому поводу А. И. Герцен—„на одно историческое различие: незабвенный Иуда Искариот предал после вечерней трапезы. Ростовцев же сначала выдал друзей, и трапеза с ними состоялась лишь после этого. Различие, как мы видим, существенное“.

Как ни убийственно лиричен Ростовцев, но сентименты сентиментами, а дело—делом. Работа Ростовцева также

не осталась без соответствующего гонорара, как и работа Шервуда и Комарова. После того, как на Сенатской площади было отслужено „благодарственное господу богу молебствие“, предназначенное, по формуле Бенкендорфа, „как бы в очищение этого места от посрамивших его злодеяний бунтовщиков“,—Ростовцев благополучно получил чин генерал-адъютанта.

* * *

„День 14-го декабря 1825 года—не только первый день великой русской революции. Он в то же время начало великого пути страдания, который приняли все лучшие люди России, все борцы за свободу. Нет таких слов, которыми бы эти страдания, эта смертная мука, могли быть рассказаны. Великий долг лежит на счастливцах, доживших до победных дней русской революции. Они должны вечно помнить, что свобода не только их руками завоевана, но принята также из жертвенных рук погибших поколений, из рук всех задушенных, растрелянцах, задавленных и закованных, утопленных, умученных, зарытых в землю и снега, всех униженных, ошельмованных, сошедших с ума и погибших в последнем позоре и муках, начиная с 1825-го года. Наша юная свобода принадлежит и им, и нам равно“,—напоминает в своей, не задолго до эмиграции написанной, книге о декабристах Д. С. Мережковский. „Продолжателю дела декабристов, Александру Федоровичу Керенскому“, — посвятил эту книжку свою Д. Мережковский....

В хмурое, туманное, холодное, снежное утро 14-го декабря первыми пришли на Сенатскую площадь Александр Бестужев и князь Щепкин-Ростовский. Им удалось привести с собой лейб-гвардии московский полк. Но они

П. Г. Каховский в день 14 декабря стреляет в ген Милорадовича.

отнюдь не выглядят победителями. В их лицах растерянность, во всей фигуре смущение и даже грусть.

Движутся еще и новые отряды. Новые войска примыкают к восставшим. Идут лейб-гренадеры, приведенные батальонным адъютантом Паниным. Идут моряки гвардейского экипажа, с офицерами Кюхельбекером и Арбузовым. Кроме офицеров этого экипажа,—с ними же идет на площадь и непринадлежащий к экипажу капитан-лейтенант Бестужев. Он—чужой, но „в этот день рождения свободы“ он никак не может усидеть дома. Пусть с чужим экипажем, но его обязанность явиться!

Общее настроение войск тягостное, подавленное. Все растеряны, как будто явились не на „праздник рождения свободы“, а на ее похороны. Офицеры пытаются храбриться, громким голосом отдают команду. И вот войска уже выстроились; слева—гренадеры, посередине—московский полк, справа — моряки. Все размещены тылом к Сенату.

Что делать дальше? Все стоят смущенные и растерянные, наблюдая, как гибнет и выветривается на морозном воздухе тот первоначальный заряд энергии, который привел сюда солдат. В чем дело, солдаты не понимают. Они кричат „ура“, „да здравствует Конституция“, в полной уверенности, что „Конституция—это жена императора Константина“. Но на площади они не случайно: в глубине души солдаты чуют какую-то правду в восстании, знают, что надо что-то сделать, победить какого-то старого, исконного врага народного, от которого так трудно жить, так трудно дышать в империи Российской.

Бунтовщики стоят. Перешептываются между собою офицеры. Недовольно смотрят бравые фельдфебели. Растерянно озираются испуганные солдаты.

Вдали, на другом конце площади, среди своих приближенных, в распахнутой шинели с бобровым воротником, стоит новый царь, Николай Павлович. Он тоже ждет, он тоже не приступает к решительным действиям. Он еще не разобрался в положении.

К обширной площади бегут
Несметные толпы:
Чиновный люд, торговый люд,
Разносчики, попы,—

— рисует день 14-го декабря Н. А. Некрасов в поэме „Русские женщины“:

Пестреют шляпки, бархат, шелк,
Тулупы, армяки,
Стоял уж там какой-то полк,
Пришли еще полки.
Побольше тысячи солдат
Сошлось. Они ура кричат,
Они чего-то ждут.
Народ галдел, народ зевал,
Едва-ли сотый понимал,
Что делается тут.
Зато посмеивался в ус,
Лукаво щуря взор,
Знакомый с бурями француз,
Столичный куафер.

* * *

Как это началось? Уже в 1816 году начались, как мы знаем, попытки образования тайных обществ. Братья Муравьевы, Александр и Никита, князь Трубецкой и Павел Пестель организовали „Союз истинных и верных сынов отечества“, ставящий себе целью „изменение государственных учреждений“. Кроме этого „Союза спасе-

ния",—есть еще основанное Орловым „Общество русских рыцарей". Эти рыцари, правда, свою задачу определяют, как „пресечение злоупотреблений", но, по существу, их цель — освобождение. Кроме Петербурга, успели возникнуть тайные общества и в иных местах. И здесь главарями, как, например, в московском обществе, при масонской ложе, и в обществе соединенных славян, — являются молодые офицеры гвардейских полков.

Союз спасения (очень скоро переименованный в Союз благоденствия), разделен на две части. Первая, куда только и допускаюся новички, ставит себе лишь филантропические цели. Лишь вторая часть союза, в которую допускаются одни только „посвященные", знает действительную цель общества: ограничение самодержавия в России. Союз имеет разветвления, которые называются особыми „Думами". Кроме Дум в Петербурге и в Москве, есть такие же Думы в Смоленской губернии, и еще в Подольской губ., в Тульчине. Главная роль принадлежит тульчинскому отделу, который называется „Южным обществом" и где руководит всем Пестель, и еще — петербургскому, иначе называемому „Северным", обществу, где ко времени восстания декабристов — главным вождем явится Рылеев.

Когда в феврале 1821-го года в Москве состоялся съезд всех этих тайных обществ, было постановлено главное внимание обратить на войска. С того времени не прекращаются уже старания приготовить их „на всякий случай". Уже в 1823 году существовал план „захватить царя на смотру в Бобруйске, арестовать его и принудить ввести в России новый и либеральный строй". Ко времени смотра оказалось, однако, что количество сил недостаточно, и план был оставлен.

В апреле 1824 года Пестель и Бестужев-Рюмин снова решили было выступить: убить Александра I на смотру в Белой Церкви, возмутить войска и отправиться с ними походом на Киев и на Москву. По планам Пестеля, после истребления всей царской фамилии, должно было принудить сенат и синод признать „Союз Благоденствия“ — временным правительством, которое и водворит новый порядок. Но царский смотр в Белой церкви — увы! — был отменен, и этого оказалось достаточным, чтобы план республиканца Пестеля повис в воздухе.

В 1825-м году Рылеев предполагает, что начать восстание удастся только в мае 1826 года. Но события складываются так, что Союз благоденствия принужден взяться за оружие ранее намеченного им срока.—Хочешь, не хочешь, а бунтовать приходится теперь же, не откладывая. Гибель грозит все равно. Доносы со списками членов тайного общества все равно в руках царя.

На 14-е декабря назначена присяга царю Николаю, вместо Константина, присяга которому была принесена еще только что. В народе смятение. Слухи, один другого тревожнее, говорят о противозаконности, о невозможности, о греховности этой новой, второй присяги Николаю, пока жив Константин. Многие и многие уверяют, что они откажутся присягнуть, „ни в жисть не допустят“ такого издевательства.

Момент исключительно благоприятен для заговорщиков. Солдаты многих частей от принесения присяги отказались.

Решение вывести недовольные войска на площадь, попытаться завоевать власть, добиться какого-то иного нового порядка на Руси—восторженно принято на сходке, на квартире Рылеева, еще 11-го декабря.

Все участники сходки возбуждены. В записках И. Пущина читаем, что сразу же после принятия решения вести гвардейские полки на Сенатскую площадь — был подготовлен особый манифест, составленный заговорщиками. Сенат должен будет опубликовать его после восстания. Главная часть манифеста — посвящена созыву земской Думы из представителей всей земли русской.

Эта Дума не только должна созвать „лучших людей, доверием народным облеченных“, по выражению иного, составленного Витте и подписанного Николаем II манифеста, который вышел в свет с запозданием почти в сто лет, лишь в 1905 году.

Манифест декабристов был гораздо серьезнее. Земской думе предоставлялись учредительные права. Она должна была определить, какой порядок правления в действительности желает для себя Россия. По манифесту декабристов, на время выборов в земскую думу сенат должен назначить временных правителей. Их список — это характерно! — составлен заговорщиками из членов Государственного Совета, Сперанского, Мордвинова, Муравьева-Апостола. О том, чтобы взять власть в свои руки, эти, влюбленные в народ и в свою мечту, слабохарактерные интеллигенты даже и не мечтают. Во главе России должны остаться все те же члены Государственного Совета, правда, наиболее либеральные. Единственное требование, какое ставится даже в этот период наибольшего увлечения, — это присутствие в будущем правительстве одного члена из тайного общества, в роли как бы „заложника демократии“, который мог бы „неустанно и безослабно следить за действиями правительства“.

Верят ли в будущее заговорщики, даже в эти дни, когда они принимают окончательное решение выйти на

площадь, вывести войска и в открытую померяться силами с самодержавием? Увы, нет! Они только выполняют свой долг, к которому обязывает их народолюбие, они только уступают велениям своей программы. Когда вчитываешься в их дневники и записки, видишь, что они действовали против воли, что они уже заранее смущены, подавлены и не верят в себя. Главное, что движет ими — это сознание морального долга, „необходимость“ выступить.

„Нас по справедливости назвали бы подлецами, если бы мы пропустили нынешний единственный случай“, — писал Пущин в Москву к Семенову.

Они не верили ни себе, ни окружающим, и шли на Сенатскую площадь в день восстания с теми же чувствами, с какими очень скоро после этого одни из них всходили на эшафот, а другие отправлялись в мучительную каторгу и ссылку. Они не верили не только в себя и в свое движение, они не верили еще и в народ русский.

Всюду встречи безотрадные
Ищешь, суетный, людей...
А встречаешь — трупы хладные,
Иль бессмысленных детей, —

вздыхает Рылеев.

На примере Рылеева легче всего выяснить психологию всех декабристов, тот особый и грустный вид героизма, героизма обреченности, какой им был свойствен:

Известно мне: погибель ждет
Того, кто первый восстает
На угнетателей народа.
Судьба меня уж обрекла
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?

Погибну я за край родной,
Я это чувствую, я знаю,
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!

Это стихотворение Рылеева произвело очень большое впечатление на его товарищей.

— Знаешь ли ты, — взволнованно говорит, прочитав эти стихи, их автору Михаил Бестужев, — знаешь ли ты, какое предсказание написал ты самому себе и нам с тобою?

— Неужели ты думаешь, что я сомневался хоть на минуту в своем назначении, — отвечает Рылеев: — Верь мне, каждый день убеждает меня в необходимости моих действий: и в будущей гибели, которою мы должны купить первую попытку свободы для России, и вместе с тем в необходимости примера для пробуждения спящих.

Уже и на площади Рылеев держится той-же оценки положения. Он знает о безнадежности положения, но это его не страшит: „Он приветствовал меня первым целованием свободы, — рассказывает Николай Бестужев, — отвел меня в сторону и сказал: „Предсказание сбывается. Последние минуты наши близки... Но это — минуты нашей свободы. Мы дышали ею, и я охотно отдаю за них жизнь свою“.

Но, если на душе у каждого из декабристов тяжело, мучительно и одиноко, — то внешне они храбрятся, стараются явить вид мужественный и спокойно-решительный. На сходке 11-го декабря Рылеев заявляет, что если с ними будет только 50 человек повстанцев, он все-таки пойдет на площадь.

Перед нами не столько восстание, сколько демонстрация. Перед нами не политические деятели, а сознательно

жертвующие собой мученики, одинокие, обреченные, заблудившиеся в неоглядных снегах России, интеллигенты.

* * *

Сущность и значение восстания декабристов, конечно, не в той программе, какую они выдвигали, а лишь в том первом всенародно заявленном протесте, какой казался столь невозможным в те жуткие времена.

„Гром пушек на Сенатской площади разбудил целое поколение“ — указывал Герцен. Роли ко дню 14 декабря были расписаны заблаговременно. Во главе восстания, в качестве полновластного руководителя и диктатора поставлен князь Трубецкой. Со своей стороны, Каховский, с бледным лицом и горящими глазами, дает слово Рылееву „уничтожить Николая Павловича“. „Если только Николай выйдет, если он осмелится появиться перед войсками,— я нанесу ему удар“. Офицеры, Бестужев, Якубович и Панов, обязавшиеся вывести из казарм Московский полк, должны по пути на Сенатскую площадь зайти в артиллерийские казармы на Литейной, и, если не удастся убедить артиллеристов присоединиться то взять с собой пушки и картечь. Роли расписаны очень старательно и заботливо.

П. Г. Каховский.

Ранним утром 14 декабря, когда по всему Петербургу подымают солдат для приведения их к присяге, взволно-

ванные, во всем сомневающиеся офицеры-повстанцы приводят в исполнение первую часть своей программы. Войска их на площади. Эти войска в бездействии. Они ждут. Если бы не знать, что это солдаты, отказавшиеся присягать Николаю, что на площадь они пришли самовольно,—никак бы не догадаться, что это бунтовщики, а не мирные, ждущие смотра, полки. Дух войск падает с минуты на минуту в часы томительного, трагического, позорного бездействия. Чего ждут они? Шопотом передаются слухи, что от некоторых полков приходили будто бы посланные, и просили продержаться до вечера. Солдаты этих полков намереваются, будто бы, присоединиться к восставшим, но без офицеров не решаются.

— Главное—это продержаться.

До каких пор? Неужели до 1917 года?

На другой стороне площади, вокруг Николая, собрались генералы, которые и со своей стороны привели солдат. Николай ежится, нервничает, хмурит брови. Отрывистым голосом, скрывая волнение, он спрашивает у приближенных об их планах, спрашивает совета, но действовать — пока еще не решается.

Долгие часы на Сенатской площади стоят на морозе, друг против друга, старая, на миг растерявшаяся, Россия, и — представители России новой, еще себя не нашедшей.

Главный вождь, „предводитель и диктатор“ князь Трубецкой, не только не выполнил взятой им на себя задачи, но даже не явился на Сенатскую площадь. Твердо решивший убить Николая, Каховский тоже передумал. Его, оказывается, разубедил Александр Бестужев.

Сам Бестужев и Якубович привели своих солдат, но орудий они так и не захватили. Не решились.

Поручик Панов с частью лейб-гвардии гренадерского полка без малейшей помехи вошел во двор Зимнего Дворца и провел здесь много времени в бездействии. Кто знает, как повернулись бы события, если бы Панов со своим отрядом стал действовать по заветам Пестеля и занял Зимний? Но Панов не решился. Вместо этого, он отправляется на площадь. Без товарищей ему одиноко.

Панов вел своих солдат через Дворцовую площадь, где были собраны оружие и снаряды, никем в то время не защищавшиеся. Легче легкого было захватить их и привезти с собой, но Панов этого не сделал. Не решился. Не пришло в голову. Не подумал. Панов вел своих солдат еще и мимо Петропавловской крепости. Он мог, без выстрела, овладеть Петропавловкой, обеспечить базу для восставших войск. Но и этого Панов не сделал. Панов легко мог бы обеспечить победу восставших. Но он этого не сделал.

Диктатора князя Трубецкого заменить некем, и его напрасно искали целый день. Рылеев не решился взять на себя командование, потому что он был „в штатском платье", Бестужев — потому, что „как моряк, он не умеет командовать пехотой". Войска стояли и ждали неминуемой гибели.

Что это? Трусость? Нет, перед нами люди смелые, решительные. Многие из них докажут это и геройской смертью и геройским поведением на допросах. Тот же Каховский, у которого „не поднялась рука" на Николая, — когда счел нужным убить ген. Милорадовича, не колебался ни одной минуты.

Быть может перед нами незнание дела, непонимание обстоятельств? Нет, и это не верно. Перед нами умные, энергичные люди. Это не штатские, не имеющие понятия

о стратегии, а люди военные, прошедшие серьезную школу, лучшие офицеры той эпохи.

В чем же дело? Дело в том, что во главе восстания стоит все он же, прекраснодушный, безвольный интеллигент всероссийский.

Число восставших войск определяется в 2 тысячи человек, но количество народа, окружавшего восставших и разделившего с ними судьбу во время укрощения бунта и расстрела, доходило до 20 тысяч.

Восстание объявлено, но реального восстания на лицо нет. Заговорщики сумели привести с собой солдат, сумели построить их в правильное карре, но что делать дальше — они не знают. Шепчутся офицеры, хмурятся унтеры, переступают с ноги на ногу смущенные солдаты.

Общее сочувствие толпы на стороне декабристов. Помимо антипатии к Николаю I, помимо путаницы, связанной с отречением Константина,—общая оппозиционность русского общества резко выросла уже в последние годы царствования Александра I-го. „Управление никогда не действовало, так худо, как в это время, никогда не было такого ужасного развития неправды, лихоимства и казнокрадства, — описывает В. О. Ключевский. — К этому присоединялось расстройство государственного народного хозяйства. Курс ассигнаций падал стремительно, рубль терял до 75% своей стоимости, отсюда тягость дороговизны. К материальным испытаниям,—добавляет Ключевский—присоединялись нравственные. В обществе ходили толки о пренебрежении, с каким относился ко всему русскому император, громко заявлявший, что „всякий русский либо плут, либо дурак“.

Если уже Радищев предсказывал неизбежное восстание,—то ко дням Николая I-го ненависть к самодержав-

ному игу, бунтарские призывы к борьбе за свободу успели отразиться в произведениях поэтов гораздо ярче. Вся так наз. „мыслящая Россия“ во дни Николая I знала наизусть пушкинские строки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы.
Товарищ, верь, взойдет она,
Заря пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишет наши имена...

Наряду с этими, общими и мечтательными, словами, у Пушкина, как известно, есть строфы и гораздо более определенные.

Самовластительный злодей!
Тебя, твой род я ненавижу.
Твою погибель, смерть детей
Я с злобной радостью увижу...

* * *

С одной стороны площади — царь со своими генерарами, с другой — декабристы. И у царя, и у декабристов — солдаты, выбитые из колеи, не понимающие окружающего, растерянные.

Пылкий и пламенный Александр Бестужев (Марлинский) 14-го декабря, в самый разгар этого молчаливого и неподвижного бунта, — вскочил на подножие памятника Петра Великого и стал точить о гранит свою саблю. „Поступок столько же феерверочный, как и слог сочинений, которые он писал“, — говорят об этом мемуары одного из современников.

Но вот долго беседовавший с генералами Николай, наконец, решил открыть военные действия. Генералу Орлову приказано кинуться в атаку на развернутые в каррэ, молчаливо бунтующие декабристские полки.

Кавалерия под начальством генерала Орлова движется нехотя. Солдаты понимают, что что-то неладно, что воевать приходится со своими, с родными братьями, и атака идет вяло и безрезультатно.

Три раза повторяется атака, но не умеющие нападать декабристы умеют отбиваться и защищаться. Все три раза атаки были отбиты и остались безрезультатными. Его величество Николай I мрачнее тучи.

Снова стоят друг против друга войска декабристов и — войска царя. Идут долгие часы. Метет с неба хлопьями снег. Солдаты голодны, солдаты промерзли, солдаты злы. — Коли не умеете воевать, нечего было и начинать, нас с собой под кнуты звать!

Наконец, почти под вечер, Николай нашел себя. Он будто бы „не хотел“ до сих пор пролитием крови омрачать светлый день своего восшествия на престол. Но теперь он видит, что других путей нет. О, он сумеет показать себя, он разнесет на части, он раздавит всех непокорных. — Пушки вперед!

И вот генералу Сухозанету приказано принять решительные меры по очистке площади и картечью смести восставших. Генерал Сухозанет хриплым голосом отдает команду стрелять. Но что это? Пушки безмолвствуют.

— Ты что же не стреляешь?—спрашивает задыхающимся голосом побагровевший полковой командир у запальщика, солдата, который должен был прикладывать зажженный фитиль к пушке.—Ваше благородие, это свои,—отвечает растерянный запальщик.

— Дурак, разве твое дело рассуждать! — кричит офицер и, выхватив из рук солдата фитиль, сам прикладывает его к запалу.

Раздается первый выстрел картечью. Создается перелом в мучительном настроении выжидания, какое длилось столько часов. Всем становится ясно положение. Больше никто не спорит. Никто из рядов царских войск уже не вспоминает о том, что против них стоят „свои“, и даже солдаты декабристов как будто считают правильным все последующее. Дело попало на рельсы, все обстоит правильно, все нормально.

После первого выстрела — вопрос ясен до конца, до предела. Победил „порядок“. Громыхают пушки. Тучи картечи осыпают сгрудившихся молчаливых повстанцев и ни в чем неповинных зрителей. И вот мятежное каррэ уже дрогнуло и стало отступать. — Не можем же мы голыми руками бороться с пушками, — говорят со вздохом облегчения себе и друг другу руководители мятежников.

Положение определилось. Николай одержал победу по всему фронту. И, как ведомые на заклание, декабристы покорно и послушно подчиняются своей участи.

Ничего иного они и не ждали. Еще утром 13 декабря, когда на заседании Тайного Общества депутаты разных полков собрались у Оболенского, на его вопрос о том, сколько солдат может каждый из них вывести на Сенатскую площадь, они ответили — дословно! — что не могут поручиться ни за одного человека. Они считали своим долгом начать восстание только для того, чтобы этим „разбудить спящих россиян“. Но практических, реальных результатов добиваться они не умеют. — Мы умрем, но мы умрем со славой, — восторженно возглашал еще накануне восстания молодой князь Одоевский.

О, они вовсе не трусы! Они святые, эти люди! Жутко читать, как готовились, как будто к смерти, к восстанию декабристы. Когда утром 14-го декабря Рылеев уходит из дому, его жена, догадываясь об опасности, вся в слезах, умоляет его остаться дома. Но Рылеев тверд. Рылеев непоколебим.

— Настенька, — зовет жена Рылеева свою дочь, — проси отца за себя и за меня.

Девочка, рыдая, обнимает колени отца, мать падает без чувств. Но Рылеев оставляет нежно любимую им жену, укладывает ее бесчувственную на диван, целует в последний раз дочь и, бледный, решительными шагами отправляется на Сенатскую площадь.

Это святые люди! Но для того, — чтобы захватить пушки, занять Петропавловскую крепость, забрать Зимний дворец, перейти в наступление и повести за собой солдат, свалить самодержавие и построить иной, новый порядок на Руси, — для всего этого нужна вовсе не святость, а что-то иное: энергия, дерзость, решимость. Этого у героев 14-го декабря нет.

Историки движения единодушно указывают на то, что декабристы ни в малой мере не использовали имевшихся у них возможностей. — Вспомним, что Екатерина II свергла своего мужа с престола при содействии только одного полка. Елисавета заняла престол при помощи только одной роты солдат. Наконец, Павел I устранен был от царствования кружком заговорщиков всего в 50 человек. — Декабристы, — говорит Кир. Левин, — могли, с полной надеждой на успех, в ночь на 14 декабря пойти на то, чтобы захватить Зимний дворец с его обитателями и объявить временное правительство. Сил у них для этого было достаточно. Захват дворца и образование временного пра-

вительства они имели возможность произвести даже утром 14 декабря, когда еще у Николая не было достаточного количества войск.

„С военной точки зрения—действия восставших войск представляли собой совершенную нелепость,“—говорят исследователи.

Николай I победил. Начинается суровая, крутая, мучительная расправа. И здесь опять проявляет себя, оказывается на месте святость декабристов. Здесь декабристы снова величественны. Не даром же давным давно известно, что русские люди спокон веку умеют чудесно, красиво и геройски умирать. Как жаль, что они не умели также красиво и геройски жить.

Идет расправа. „Пушечный гром, раздавшийся на Сенатской площади, разбудил целое поколение“, — утешает себя Герцен:—„Эти люди знали, что они погибнут, но они хотели всенародно заявить мысль о русской свободе, зная, что раз всенародно заявленная, эта мысль уже никогда не погибнет“.

Бунт кончен.

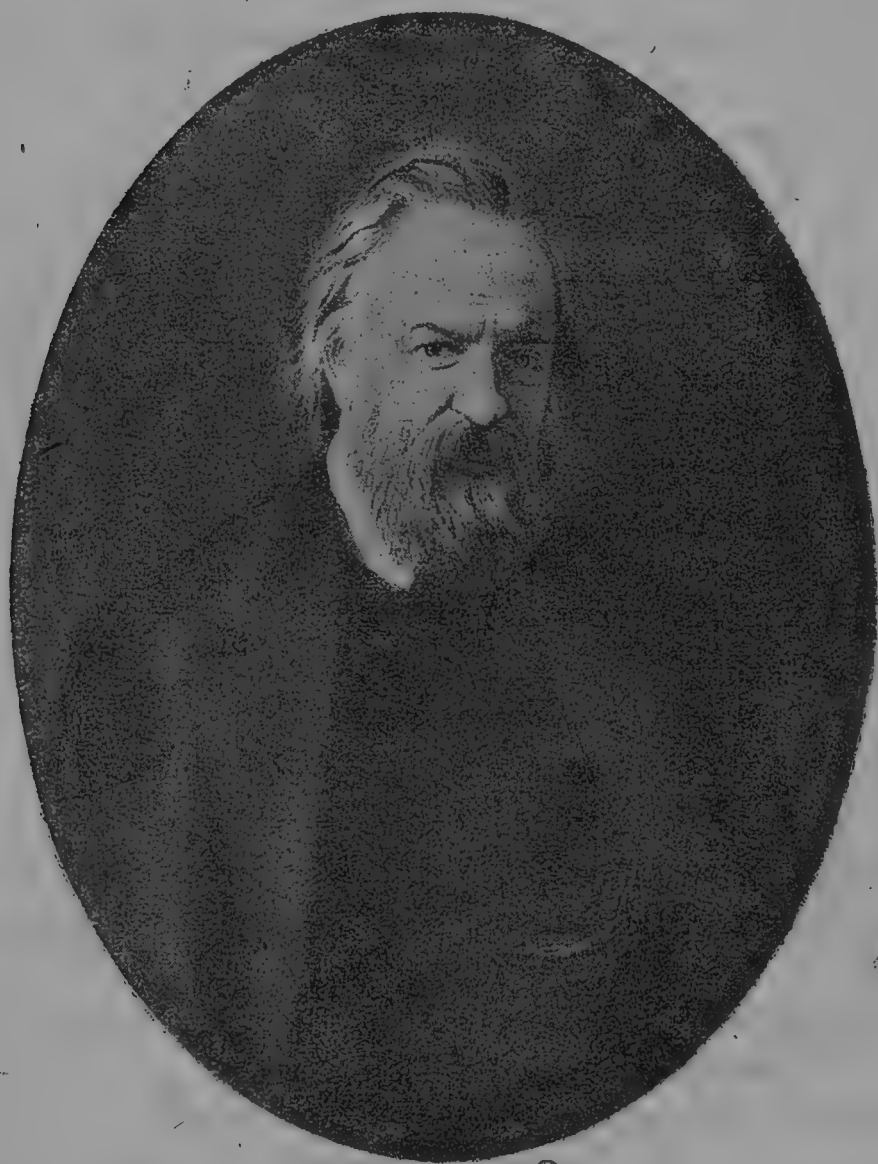
„Бунт русский — бессмысленный и беспощадный“,— говорил Пушкин. Пред нами—бунт интеллигентский, безвольный и безнадежный.

Декабристы рассуждали. Николай стал действовать. Нашелся „настоящий“, сильный человек. Валятся убитые, и сбрасываются в прорубь раненые, и засыпаются песком кровяные пятна на площади, и отвозятся сотни людей в крепость, и воздвигаются виселицы.

Николай Палкин действует. Декабристы умели только рассуждать. Действовать они не умеют и даже не пытаются.

Вот он во весь рост — интеллигент всероссийский!

Русская революция встречает ныне столетие со дня восстания декабристов во всеоружии полной и максимальной



А. И. Герцен.

победы. Как встречает день этого юбилея так четко запечатлевшая себя сто лет назад интеллигенция всероссийская?

* * *

Мы видели, как героически настроены декабристы. Но, во имя справедливости, нельзя не отметить и тех, на нынешнюю мерку резко отрицательных, черт, какие оказались неизбежны, и по условиям времени, и по классовому составу повстанцев.

Если даже оставить в стороне наивное деление фактов на „симпатичные“ и „не симпатичные“,— то и тогда, при изучении документов о декабристах, не может не поразить их крайняя национальная нетерпимость. Все народы, входящие в состав России, обязаны были забыть о какой бы то ни было самобытности. Пестель, напр., не соглашался не только на самостоятельность, но даже на простую автономию Финляндии. Ни один из декабристских проектов, не исключая и „Русской Правды“ Пестеля, не признавал равноправия евреев.

Особенно резко сказался национализм в самом крупном представителе декабристов, П. И. Пестеле:—Два миллиона евреев должны быть переселены в Палестину. Остальные инородцы, населяющие Россию, обязаны совершенно обрусеть. До тех пор они не могут пользоваться правами гражданства. На всем пространстве государства должен безраздельно господствовать один только русский язык.

Рядом с этими чертами крайнего национализма, глаз современника режут и типично буржуазные черты. Все принадлежащие декабристам проекты конституции одинаково выдвигают высокий избирательный ценз.

Даже „Русская Правда“ Пестеля устанавливает принцип, по которому освобождение крестьян от рабства „не должно лишать помещиков их доходов“. Крестьянин обязан пол-

ностью уплатить помещику выкуп за утраченные рабочие руки.

Крайнюю скупость проявляют декабристы и в определении норм крестьянского землевладения. Даже те нормы, какие устанавливая в своем проекте Аракчеев, оказались — как ни странно — щедрее, чем те, которые выработаны Сергеем Муравьевым.

Очень тяжелые условия общественной жизни диктуются почти всеми проектами декабристов одинаково.

По „Русской Правде“, какие бы то ни было частные общества „должны быть совершенно запрещены, как открытые, так и закрытые, потому что первые бесполезны, а вторые вредны“

Откуда у них, „первенцев русской свободы“, взгляды такого рода?

„Генералов и полковников—15, подполковников 12“,— подсчитывают историки, рассматривая социальный состав декабристских рядов и указывая, что, напр., прапорщиков оказывается в их числе всего только 6.

Еще важнее, что все эти генералы и полковники принадлежат к верхам аристократии, наиболее старинным и именитым родам русской аристократии, как князья Трубецкие, князья Волконские, князья Оболенские и т. д.

Классовый состав бунтовщиков не мог не сказаться, и много отдельных деталей кажутся противоречащими позиции декабристов.

Когда, указывая на необходимость железной власти, Пестель говорил о необходимости немедленно после переворота ввести диктатуру, окружающие были очень шокированы такой непопулярной, невыигрышной позицией.

— Конечно, это положение вещей, диктатура, продлится всего несколько месяцев? — спрашивали они.

Но Пестель со всей определенностью отвечает:

— Как? Вы считаете возможным изменить всю государственную машину, дать ей другое основание и приучить людей к новым порядкам в течение нескольких месяцев? Для этого потребуется по крайней мере лет десять!

Трудно пройти мимо странных иронических улыбок какие бороздят иной раз морщинистое лицо многое видевшей старухи-Истории. Не кто иной, как именно Сперанский, в свое время, — так недавно еще! — сам считавшийся волтерьянцем и чуть ли не революционером, этот „тайный советник из семинаристов", Сперанский, прославленный своими планами конституции, человек, которому грозила смертная казнь и который только по счастливой случайности отделался ссылкой, — именно он, этот крайний либерал Сперанский, попал впоследствии в комиссию, разбирающую дело декабристов. Не кто иной, как именно Сперанский, берет на себя роль могильщика у колыбели русской свободы. Через руки Сперанского должны пройти, отправляясь на виселицу, первенцы революции российской.

Но одним этим не ограничивается в данном случае мрачный юмор истории. Всматриваясь в документы, мы увидим и иные, еще более злобные гримасы судьбы.

В „Русской Правде" Пестеля, среди прочих пунктов, намечающих основы того строя, какой предполагалось создать после переворота,—были главы, посвященные необходимости организации тайной полиции. „Вышнее благочиние требует непроницаемой тьмы",—говорит „Русская Правда", указывая на необходимость, после низвержения царской власти, „кроме 50 тысяч явных жандармов" учредить еще и тайную организацию, „особую канцелярию, коей образование и состав в тайне содержаться

должен". Здесь подробно описаны такого рода „тайные розыски, коих вестники должны быть никому не известны и великое получать жалование".

„Русская Правда" Пестеля считает тайные розыски не только позволительным и законным, но и „надежнейшим и почти, можно сказать, единственным средством для достижения целей вышнего благочиния". Все дело лишь в том, чтобы для тайных розысков „были употреблены люди умные и хорошей нравственности".

Но, „дабы люди уважения достойные соглашались итти в шпионы, они не должны никогда, ни под каким видом или предлогом, народу таковыми быть известны. Они должны быть уверены, что их лица и добрые имена в совершенной находятся безопасности",—заявляет „Русская Правда".

Перед нами яркий пример теоретической путаницы, какой так много в позиции декабристов, людей деклассированных, оторвавшихся от помещичьей, дворянской семьи, той среды, к какой они принадлежали по происхождению, по воспитанию, по своим связам и интересам. Люди, оторвавшиеся от прежней почвы, но так и не нашедшие новой основы, и поэтому повисшие в воздухе, естественно, не могут быть последовательными.

Путаница перед нами в данном случае только теоретическая. Но какие же огромные, трагические, на долгие десятилетия затянувшиеся, практические результаты неожиданно принесла эта теоретическая путаница.

Бумаги декабристов, в том числе и „Русская Правда", со всеми соображениями о пользе и необходимости тайной полиции и шпионажа, попали в руки Бенкендорфа и Николая I-го. Оба они не могли не оценить восхвалений необходимости тайной канцелярии. Доводы Пестеля упали

на благодарную почву, и какие же пышные плоды дали эти семена!

Воистину необычайные гримасы появляются иной раз на морщинистом лице ехидной старухи-истории. Корпус жандармов и 3-е отделение устроены Николаем I и Бенкендорфом по заветам декабристов, по указке Пестеля и „Русской Правде“... До чего странно и парадоксально создавшееся положение! Это кажется шуткой, неудачной выдумкой, но именно эту картину рисуют документы.

М. Ольминский в своей работе „О происхождении жандармов“, в сборнике „Из Прошлого“, говорит:

„В конце 1825-го года декабристы были арестованы и „Русская Правда“ попала в руки правительства. А в июне 1826-го года, по докладу Бенкендорфа, успевшего ознакомиться с проектом тайной полиции, изложенным в „Русской Правде“, издан указ об основании жандармской полиции и 3 июля создано 3-ье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Получается такое впечатление, что третье отделение и отдельный корпус жандармов были учреждены с необычайной поспешностью, после того, как „Русская Правда“ стала известна правительству, т.-е. они учреждены отчасти именно благодаря идейному участию декабристов“.

Любопытно, что сам по себе Бенкендорф оказывается как бы гораздо „левее“ и либеральнее, чем составитель „Русской Правды“. Создание 3-го отделения кажется как бы уступкой Бенкендорфа требованиям декабристов.

В своем докладе Николаю I-му, воспроизведенном в книге Мих. Лемке о Николаевских жандармах, Бенкендорф решительно заявляет себя сторонником полиции явной, а не тайной: „Люди честные и способные часто брезгают ролью тайных шпионов“,—говорит здесь Бенкендорф.—

„Явная полиция внушает честным людям безопасность, тайная же, опирающаяся на доносы и интриги, пугает их и отвращает от престола". „Тайная полиция"—продолжает он,—„почти немыслима; честные люди боятся ее, а бездельники легко осваиваются с нею. Наконец, нужно помнить, что тайные агенты нередко служат шпионами и за, и против правительства".

Таким образом, судя по документам, даже Бенкендорф является ярым врагом тайной полиции, о которой командир гвардейского корпуса князь Васильчиков после волнений в Семеновском полку со всей определенностью писал: „Чтобы заставить хорошо служить этих мерзавцев, необходимо им хорошо платить".

Лично Бенкендорф всей душой против „этих мерзавцев". Именно „Русская Правда", будто бы, убедила его...—Раз они сами, декабристы, так смотрят, как же не послушаться. И вот, на помощь корпусу жандармов, который должен явно и публично „утирать слезы вдов и сирот", как бы специально по заветам декабристов, учреждается „престолу российскому на утешение, церкви и отечеству на пользу", еще и Третье отделение, орган высшей секретной полиции с ее тайными агентами, из которых должна создаться в будущем приснопамятная охранка.

* * *

Много новых и любопытных подробностей о дне 14 декабря содержит, хранящаяся в рукописном отделении Академии Наук, записка чиновника Третьего отделения, помощника Бенкендорфа и Дуббельта, М. М. Попова.

Записка эта, опубликованная в сборнике „О минувшем", рассказывает, что пушечная пальба по мятежникам, открытая под вечер 14-го по приказанию государя,—„произво-

дилась весьма усердно". Стреляли „на ура", по всем направлениям, и в Галерную улицу, и по Исаакиевскому мосту, и вдоль по набережным, и даже на Васильевский Остров, где одно ядро ударило, напр., в третий этаж Академии Художеств, и попав в квартиру учителя Калашникова, „прошибло стену и ранило кормилицу, которая держала на руках ребенка".

— При этой стрельбе,—говорит Попов,—не могло быть и не было никакого разбора. Не столько участники мятежа, сколько простые зрители ложились рядами. Нева, Набережная, улицы были покрыты трупами.

Количество жертв оказалось особенно велико еще и потому, что благополучные обыватели с своей стороны приняли свои меры: во всех домах „ворота и двери были заперты и не открывались ни на какие вопли. Всякий боялся отвечать за мятежников. В толпах от испуга и давки люди давили друг друга и гибли, догоняемые ядрами и картечью".

По прекращении стрельбы, Николай приказал оберполицеймейстеру Шульгину, чтобы трупы были к утру прибраны. Для скорости Шульгин придумал применить проруби, какие сделаны были повсюду на Неве. В эти проруби опустили „не только все трупы, но и раненых, которые не могли уйти от этой кровавой ловли".—Не меньше неприятно еще и то,—говорит чиновник Третьего отделения Попов,—„что полиция и помощники ее в ночь 14-го декабря пустились в грабеж. Не говоря уже, что с мертвых и раненых, которых опускали в проруби, снимали платья и обирали у них вещи, даже убегающих ловили и грабили".

Николай Палкин после восстания не теоретизирует, не философствует. Он действует. По всей России начинаются

аресты. В руках у Николая переданные „раскаявшимися“ членами Тайного Общества списки. Одного за другим хватают и увозят в Петропавловскую крепость. Николай сам становится во главе следствия.

Едва отгремели пушки, расстреливавшие Петербург, как сразу же, с вечера 14-го числа, начались аресты. Полицейские хватали, арестовывали целые толпы, и всех везли прямо во дворец, к Николаю. Целую ночь царь жадно принимал и лично допрашивал арестованных. „Из дворца сделали съезжую“,—как определяет один очевидец.

Следственная комиссия употребляла все усилия, чтобы как можно больше подсудимых „проявили раскаяние“. Чтобы успешнее компрометировать движение, раскаявшимися объявляли даже тех, кто никакого раскаяния не проявил. Так, например, было заявлено, что Якушкину смертная казнь заменена 20 годами каторжных работ, „в уважение совершенного раскаяния“.

Между тем Якушкин во время допроса заявлял, что он был сторонником цареубийства, что он ждет казни и ничего говорить не будет.—„Да знаешь ли ты, пред кем ты стоишь“?—пытается его оглушить громовым окриком Николай Павлович:—„Даже если я тебя помилую, бог тебя не простит. В будущей жизни мучиться будешь“.—„Я в будущую жизнь не верю!“—спокойно отвечает Якушкин.—„Вон отсюда этого мерзавца!“—кричит Николай, не расположенный к философским спорам, и, приказывая вновь отвести Якушкина в тюрьму, предписывает „кормить его только постным, дать ему катехизис, и ежедневно посылать к нему священника „для назидания“.

Деятели декабристского движения—люди большого нервного подъема, люди подлинного энтузиазма.

Уже в те дни, когда будущие декабристы устраивают

тайные общества, они на первый план выдвигают в „Союзе благоденствия“ суровые требования высокого морального уровня от всех сотоварищей. В союз принимались только „люди чистейшей нравственности и деятельной любви к человечеству“. „Все люди, преданные игре, вину и женщинам, исключались без вопроса. Член союза должен быть не запятнан ни одним подлым поступком. Он должен быть дознанного бескорыстия, твердого характера, если можно храбр и даже крепкого здоровья“...

Впоследствии Кюхельбекер на допросе заявил, что главной причиной его соучастия в восстании декабристов являлись грустные думы о распространяющейся в русском народе порче нравов, как следствии угнетения. „Взирая на блистательные качества, которыми одарил бог народ русский, первый в свете по славе и могуществу, по звучному и мощному языку, коему в Европе нет подобного, по радушию, мягкосердечию и остроумию, ему перед всеми свойственными, я — говорил Кюхельбекер, — скорблю душой, что все это подавляется, вянет и, быть может, скоро падет, не принесши никакого плода в нравственном мире“.

Этот идейный подход—очень типичен для декабристов.

Один из главных декабристов, Лунин, находился в Варшаве при великом князе Константине, который его очень уважал и ценил. Узнав, что Лунин принадлежит к Тайному Обществу, Константин захотел спасти его. Но когда Константин предложил ему бежать от ареста и суда и вручил ему для этого заграничный паспорт,— Лунин резко отказался.

— Я разделял с товарищами их убеждения, разделю и их наказание,—спокойно заявил он, и остался ждать ареста.

Во время допросов, декабристы держат себя непреклонно и с достоинством. „Сердца их недоступны ни раскаянию, ни чувству стыда“,—пишет царю Бенкендорф.—„Злодеи“ - прибавляет к этой характеристике Дибич,—„держали себя с той же низостью, какую мы видели с самого начала“.

Уже заточено в Петропавловку около 500 человек, уже действует тайная следственная комиссия. Арестованные держат себя мужественно и гордо. Когда Рылеева приводят в заседание следственной комиссии, он заявляет: „Я главный виновник события 14-го декабря. Я мог все остановить, но я, напротив, побуждал к действию. Если кто заслуживает смерти, то это, конечно, я“.

С. И. Муравьев.

Обвиняемых допрашивают не только следователи, но и сам Николай.

Особенно внимательно ведет он допросы Сергея Муравьева. Этот восторженный, фанатически настроенный бунтовщик стал говорить царю о бедственном положении России, и говорил так горячо, что, будто бы, тронул даже сердце царя. По сведениям, сообщаемым Л. Шишко, Николай даже „протянул Муравьеву руку и обещал ему помилование, если он даст обещание оставаться ему верным“. Сергей Муравьев от помилования наотрез отказался.

„Я восставал против царского произвола, и потому царской милости не приму“.

Те же черты высокого душевного подъема, исключительного благородства, свойственны и представителям Южного Общества.

В записках декабриста Горбачевского находим целый ряд ярких подробностей о деятельности южан. Пестель давно арестован, трагическая неудача 14-го декабря в Петербурге—уже известна, но южные декабристы, „славяне“, решают все же исполнить свой долг до конца. Ипполит Муравьев, приехавший из Петербурга, чтоб сообщить им грустную весть о разгроме восстания и предостеречь их от новых выступлений, увидев, как велик подъем повстанцев на юге, вместо того, чтобы отговаривать, разубеждать своего брата Сергея Муравьева, забывает и сам о велениях осторожности и примыкает к восстанию, поклявшись „победить или умереть“.

— Наше дело,—заявляет Сергей Муравьев, обращаясь к войскам,—наше дело так велико и так благородно, что не может быть запятнано никаким принуждением. Кто из вас, господа офицеры и солдаты, чувствует себя не способным к такому предприятию, тот пускай немедленно оставит ряды.

„Громкие восклицания заглушили последние слова“,—расказывает Горбачевский.—„Никто не оставил рядов, и каждый ожидал с нетерпением минуты лететь за славой или смертью“.

Ждать пришлось очень недолго.

Решительный день наступил для южан 31-го декабря 1825-го года. Революционеры взяли город Васильков. Местные власти обезоружены. „Волна свободы захватила людей“,—описывают современники. Жители по доброй

воле доставили все необходимые припасы, разместили солдат.

Силы революционеров состоят из 18 офицеров. С ними около 1.000 солдат. Против них — самодержавие, с его неисчислимыми войсками, самодержавие, упоенное только что одержанной победой над повстанцами в Петербурге. Разница сил и положений—потрясающая, но революционеры рвутся в бой.

М. А. Бестужев-Рюмин.

Недолго продолжается сражение. „Первые же выстрелы картечи решили судьбы революционных войск". „Действие картечи было убийственно. Люди падали и умирали рядами", — рассказывают мемуары. Одним из первых ранен Сергей Муравьев. Ипполит Муравьев застрелился. Застрелился и Кузьмин. Сергей Муравьев и Бестужев-Рюмин арестованы. Давиду так и не удалось победить Голиафа.

Члены Тайного Общества делают в эти дни новые попытки восстания. После ареста Сергея и Матвея Муравьевых, остальные офицеры, входившие в состав Тайного Общества, кидаются на конвойных, отбивают и освобождают арестованных. Сергей Муравьев бросается в свой Черниговский полк и ведет его в Белую Церковь, где надеется поднять другие войска.

3-го января 1826 года около Белой Церкви этот Черниговский полк повстанцев под командой Муравьева

встречается с высланным Николаем отрядом генерала Гейсмара. И здесь решающая роль принадлежит артиллерии. Муравьевы и Бестужев-Рюмин обсуждают планы атаки, но не успели еще они окончить обсуждения, как бравый царский посланец, Гейсмар, уже скомандовал зычным голосом открыть картечный огонь. С первых же выстрелов повстанцы в панике. Сергей Муравьев ранен картечью в голову. Его батальон рассеялся.

Арестованные Сергей Муравьев и Михаил Бестужев-Рюмин отвезены в Петербург, где будут повешены вместе с Рылеевым, Пестелем и Каховским. В Петербург идет донесение о том, что мятежники, волей его императорского величества, „приведены к покорности". Отныне никто более не потревожит его величество. Он может целиком отдаться кровавой мести и расправе.

Этому делу Николай отдается сладострастно.

Декабрист Булатов после допроса, произведенного лично Николаем, разбил себе голову о стену в равелине. „От раскаяния", — сказано об этом в официальных бумагах.

Рылеев и Каховский оказались чувствительны к той роли „попечительного отца", какую стал играть во время допросов Николай I, но Пестель до конца дней своих остался гордым и неподкупно благородным. Показания его исполнены глубокого сознания своей правоты и достоинства. Он ни в чем не раскаивается. Даже следователи, принимавшие все меры к тому, чтобы забросать грязью память декабристов, принуждены признать, что Пестель „отвечает с видимой гордостью и с каким-то самомнением". „Смерти я не боюсь и приму ее с радостью!"—пишет Пестель родителям незадолго перед казнью.

Среди подробностей, какие сообщает служивший в Третьем отделении М. Попов, любопытна деталь о том, как строго соблюдалась и в крепости привилегированность арестованных. „На стол отпускалось для генералов по 8, для штаб-офицеров по 6, для обер-офицеров по 4 рубля в сутки“. Только после объявления осужденным приговора, „всех одели в армяки и на пищу стали отпускать в сутки каждому по 28 копеек“.

Шесть месяцев продолжается следствие. Допросы производятся ночами. В записках декабристов читаем: „В полночь внезапно открывались двери темниц. На узника набрасывали покрывало, безмолвно вели его через коридоры, дворы и крепостные проходы. Когда снимали покрывало, он находился уже в зале присутствия, перед членами Комиссии. Члены предлагали вопросы на жизнь и смерть, прибегали к угрозам и поношениям, чтобы вынудить признание или показание на других. Тех, кто молчал, лишали света, изнуряли голодом, обременяли цепями“.

Когда Якушкин отказался выдать своих товарищей, допрашивавший его Левашев восклицает: „Так вас заставят назвать их. Я приступаю к обязанностям судьи и скажу вам, что в России есть пытка!“

Якушкину удалось отделаться кандалами. Судьба иных была несравненно тяжелее. Один из декабристов, видевший Пестеля перед казнью, говорит: „Он был, как после болезни, как испытавший всевозможные истязания и пытки времен первого христианства. Два кровавых рубца на голове были свидетелями этих пыток. Полагать должно, что железный обруч, крепко свинченный на голове с двумя вдавленными глубокими желобами, оставил на голове его свои глубокие кровавые рубцы“.

Суд производится в отсутствии обвиняемых. Только после вынесения приговора суд в полном составе отправился в Петропавловскую крепость для объявления приговора осужденным.

— Как, разве нас уже судили?—изумленно спрашивают приведенные подсудимые.

— Да, и уже осудили!—получили они в ответ.

Приговор был массовым. После шестимесячного следствия было объявлено общее количество осужденных—121 человек. Верховный уголовный суд со своей стороны полагал необходимым предать смерти всех обвиняемых: „Суд признал и единогласно определил, что преступники, в актах означенные, подлежат все без изъятия смертной казни“.

Приговор в окончательной форме с распределением кар составлен самим Николаем Павловичем.

Пестелю, К. Рылееву, С. Муравьеву, Бестужеву-Рюмину и Каховскому оставлена смертная казнь через повешение. 88 человек сосланы в каторжные работы. Остальные сосланы в Сибирь на поселение, или отданы в солдаты.

На пустыре Петропавловской крепости построены два эшафота, один—для шельмования, другой для вешания.

То обстоятельство, что количество казненных было сведено к пяти, предлагалось считать путями высочайшего милосердия.

К этим путям подошли вплотную тринадцатого июля 1826 г. Виселицы поставлены внутри крепости. Осужденные на смерть выведены во втором часу утра. Только Бестужев, еще молодой мальчик, потерял присутствие духа, и его к эшафоту вел под руку священник Мысловский, протоиерей Казанского собора.

Этот протоиерей считался крайним монархистом, и был прислан в Петропавловскую крепость по личному приказу Николая, чтобы убедить заключенных в необходимости выдавать всех виновных. Но не священник Мысловский перевоспитал декабристов, а, напротив, декабристы в длительных беседах успели добиться перерождения священника. Он всей душой с мятежниками и присутствует на их казни с таким ощущением, „как будто он и сам приговорен к смерти".

Когда толпу осужденных вывели из каземата,—приговоренные к смерти должны были долго ждать своей очереди. Ранее должна была совершиться долгая процедура шельмования и проведения под виселицей 96 каторжных.

Приговоренные, кроме Бестужева, идут к виселице бодро. Они обнимают друг друга, обмениваются последним поцелуем. Они знают, во имя чего умирают, они верят в то, что правда с ними, эта правда кажется им бессмертной и божественной. Даже Пестель, лютеранин, говорит священнику: „Хотя я и не православный, но прошу вас и меня благословить в дальний путь". Сергей Муравьев настроен исключительно религиозно. Его последние слова: „Боже, спаси Россию и царя". Он не считает себя вправе пропустить царское имя в этой предсмертной своей молитве. „Христос заповедал молиться и за врагов".

Приговоренные обмениваются последним рукопожатием. На них надели уже белые саваны с колпаками—особыми капюшонами, закрывающим все лицо. Им уже накрепко завязали руки, но Сергей Муравьев и Павел Пестель уже и после этого успели еще раз пожать руки друг другу. Священник Мысловский, потрясенный, сходит с эшафота.

„Мы могли хорошо видеть их лица",—говорит один из современников, оставивший записки о казни декабристов:—

„Они были совершенно спокойны, только серьезны, точно как обдумывали важное дело. Приготовлялись ведь к смерти... Взглянули они в последний раз на небо, и так взглянули, что у нас вся внутренность перевернулась. Ты вот не поймешь этого, что это такое было, а я рассказать—не могу... Ну, как я расскажу?“

Автор записок подробно рассказывает, как на осужденных надевали мешки, саваны, закрывавшие им лица (—Ну к чему это?—спросил Рылеев), как повисли и заметались тела казнимых, как „трое средних“ сорвались, когда лопнули веревки:

„Только на краях остались висеть Пестель и Каховский“.

Вся процедура как будто рассчитана на то, чтобы превратить ее в какой-то вид противоцарской агитации. Издевательство длилось от 7-ми часов вечера, когда к осужденным впервые пришли сообщить, что в эту ночь их повесят, — до утра.

Когда священник, сошедший с помоста, оглянулся, он с ужасом увидел, что на виселице качаются только два трупа. Остальные сорвались: веревки оказались гнилыми.

Пестель и Бестужев уже повешены. Трое других, из-под которых одновременно с двумя первыми были вышиблены табуреты, упали на помост. Сергей Муравьев переломил себе ногу. „Бедная Россия. И повесить-то не умеют!“ — проговорил он. Рылеев не произнес ни одного слова, Каховский крепко выругался.

„Ну, когда они упали, — в кровь разбились. Ведь упали-то с размаха“,—читаем мы в описании, оставленном современником очевидцем:—„У Рылеева мешок упал, и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом. Он сидел

скорчившись, потому что провалился внутрь эшафота. Сказал: „Какое несчастие“.

— Вешать его, скорее вешать! — кричит генерал Кутузов. Ругаться стал, кричать.

„Подняли опять помост, и опять накинули петли. В это время, когда помост был поднят, Пестель и Каховский достали до него ногами. Пестель был еще жив и, кажется, начал немного отдыхать. Тут некоторые стонали, должно быть от ушибов и боли. Их повесили опять.

„За рвом народ зашумел что-то. Кутузов на них закричал, а музыка еще громче стала играть. Музыка была Павловского полка, играла марши и разные штуки“.

Распорядитель казни, генерал Чернышев, приказал поднять трех упавших, принести новые веревки и повесить их во второй раз.

Когда приступили ко второму повешению, — сообщает в своих записках М. Попов, — Рылеев сказал: „Как тяжело умирать два раза“. А Бестужев-Рюмин сказал с насмешкой: „И петли-то не умели сделать“.

Проделав церемонию повешения во второй раз, палач „стал тянуть за ноги повешенных“, чтоб туже затянулась петля и скорее наступила смерть.

По сведениям Третьего отделения, переданным в записках М. Попова, трупы казненных брошены были на острове Голодае, непогребенные, в тех же самых мешках, в которых были повешены. Но молва о трупах начала распространяться по городу, родственники и женщины собирались на Голодай, плакали и целовали трупы. Где зарыты трупы, официально было неизвестно. По сведениям М. Попова, „их зарыли на Голодае в одну общую могилу. Частный пристав Васильевского острова Забудский, по

приказанию правительства, пустил туда своих коров и переряженные полицейские пасли их".

Процедура казни совершена благополучно. Николай Павлович может спокойно царствовать на страх врагам, церкви и отечеству на пользу. Победителей не судят, победители сами объявляют себя судьями.

Полное спокойствие и мужество, которое проявили на эшафоте эти дважды повешенные люди, не спасло их от посмертных оскорблений:

„Войско держало себя с достоинством, а злодеи держали себя так же подло, как и вначале", — заявляет Дибич в своем донесении Николаю.

„Благодарю бога", — гласит ответ Николая, — „что все окончилось благополучно. Я был уверен", — иронизирует его величество, — „что герои 14-го декабря не выкажут в этом случае более храбрости, чем нужно".

Пятеро повешены, остальные отосланы в каторгу и ссылку, размещены в казематах. В тяжелых кандалах, в крепостных казематах, в гробу тогдашней Сибири, искупала свою вину перед самодержцем эта „горсть извергов", эта сотня первых героев народных.

Отправка осужденных в Сибирь производилась партиями. Выводили их из крепости между рядами костров, на которых торжественно сжигались их мундиры, эполеты и другие „знаки их прежняго состояния".

„По пути арестантов, во всех городах, которые проезжали днем, декабристы всегда были окружаемы толпой любопытных", — указывают современники: — „Еще до прибытия осужденных появлялся слух, что их повезут, и все стремились их увидеть. На почтовых станциях где они останавливались, около дверей, всегда толпилось много народа".

„Широкую дорогу проторили они в каторгу“,—говорит о декабристах Д. С. Мережковский в своей уже вспомянутой нами, посвященной „Продолжателю дела декабристов, А. Ф. Керенскому“ книжке „Первенцы Свободы“:—„И потекли туда с тех пор рекой лучшие люди России, поколение за поколением, сыновья и внуки первенцев свободы“.

Арестанская партия в пути.
(Из собр. П. П. Белоконского).

„Пусть же не забывает сегодняшний свободный народ“,—писал здесь в 1917 г. этот, оказавшийся впоследствии белым эмигрантом, писатель,—„святых начинателей Великой Русской Революции. Кровь погибших за правду и волю нашей земли,—кровь красных знамен, широко развевающихся сегодня в России! Их несут сильные руки победителей.

Но все, стоявшие за правое дело революции, ныне победители. Слава первым, слава последним. Слава победителям!“

* * *

Особую главу, торжественную и величавую, представляет собой судьба жен декабристов, навсегда запечатленная в Некрасовской поэме „Русские женщины“. Н. А. Некрасов в содержании поэмы очень точно следует фактам. „Это художественное произведение“,—говорит исследователь П. Е. Щеголев, — „вопреки всяким толкам о преувеличениях, очень точно и правдиво в своих описаниях и до некоторой степени может заменить официальный документ“.

Трудно и теперь без волнения читать строки, посвященные Некрасовым первой встрече Волконского с пришедшей к нему в рудники женой.

Я только теперь, в руднике роковом,
Услышав ужасные звуки,
Увидев оковы на муже моем,
Вполне поняла его муки,
И силу его, и готовность страдать.
Невольно пред ним я склонила
Колени, и прежде, чем мужа обнять,
Оковы к губам приложила.

До чего непохож этот унылый каторжник в арестантском халате на того блестящего гвардейца, какой был ее мужем! Но любовь — сильнее каторги. И любовь побеждает, и даже звон оков кажется радостной песней любви.

И тихого ангела бог ниспослал
В подземные копи в мгновенье.
И говор, и грохот работ замолчал,

И замерло словно движенье.
Чужие, свои, со слезами в глазах
Взволнованны, бледны, суровы,
Стояли кругом. На недвижных ногах
Не издали звука оковы.
И в воздухе поднятый молот застыл,
Все тихо. Ни песни, ни речи.
Казалось, что здесь с нами каждый делил
И горечь, и счастие встречи.

Никогда не забудет этой минуты история русской Революции.

Святая, святая была тишина..
Какой-то высокой печали
Какой-то торжественной думы полна!

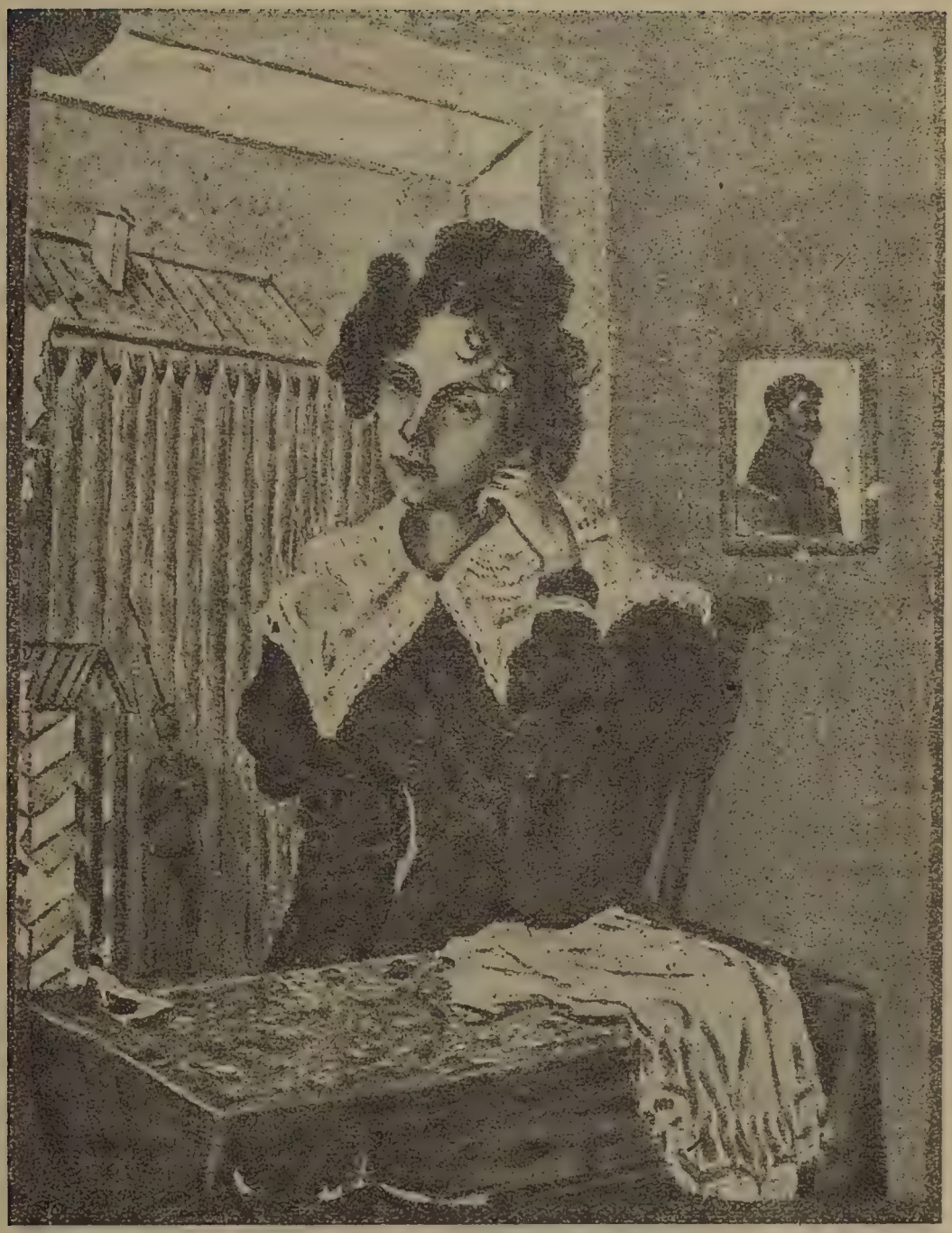
И пусть вослед этой святой тишине идут на смену реальные каторжные будни, — это не страшно. Уже гонят из подземной тюрьмы гостью: — Не полагается здесь посторонним! Волконской приходится уйти из рудника.

И словно из рая спустилась я в ад, —

— рассказывает она об этой минуте разлуки.

По-русски меня офицер обругал,
Внизу ожидавший в тревоге,
А сверху мне муж по-французски сказал
„Увидимся, Маша, в остроге“.

Н. А. Некрасов воспел только Трубецкую и Волконскую. Но рядом с этими двумя фигурами стоит целый ряд иных, чей подвиг не ниже, чьи образы не менее лучисты и обаятельны. Трудно выделить отдельные имена из этого списка. Кроме влюбленных в своих мужей и пожелавших разделить с ними все тяготы их судьбы „законных“ жен, документы эпохи рассказывают о той же



Волконская в Чите.

С акварели Н. А. Бестужева.

позиции, занятой и „незаконными“ женами. Так, дочь французского полковника Полина Поль подала Николаю I прошение с просьбой о разрешении отправиться в Сибирь для вступления в брак с отцом ее дочери, государственным преступником Анненковым. Надо помнить, что́ значила в те времена „незаконность“ мужа и ребенка, чтобы оценить то спокойное достоинство, с каким эта женщина отстаивает свое право разделить ссылку любимого человека:

„Я всецело жертвую собой человеку, без которого я не могу долее жить“,—говорит в своем прошении Полина Поль:—„Это самое пламенное мое желание!“. Пусть она не является законной супругой в глазах церкви и перед законом, но „мы соединились неразрывными узами. Для меня было достаточно его любви. Разрешите мне разделить его изгнание. Я откажусь от своего отечества, Франции, я готова всецело подчиниться вашим законам, но я молю, на коленях молю в виде особой милости дозволить мне разделить его изгнание“.

Пример Полины Поль не является единичным среди женщин, последовавших за декабристами в изгнание. Здесь, в Сибири оказалась, напр., и Ивашова. Она не была женой, не являлась даже невестой осужденного. Эта девушка, урожденная Ле-Дантю, любит государственного преступника Ивашова. До его ссылки в Сибирь она никогда не сказала ему ни одного слова о своей любви. Не говорит никому об этом она и после приговора. Целых четыре года после осуждения Ивашова эта девушка, „пораженная любовью“ по слову Гамсуна, мучается. Она заболевает. После того, как Ле-Дантю осиливает тяжкую болезнь, она живет уединенно, отказывает женихам, ищущим ее руки, от всех скрывает свою тайну. Но на

пятый год любовь оказывается сильнее ее усилий: в 1830 году она открыла свою тайну в официальном прошении и добилась - таки разрешения разделить судьбу „государственного преступника Ивашова“.

Здесь, среди жен декабристов, оказавшихся в гиблых местах Сибири, и Н. Д. Фонвизина, та обаятельная женщина, с кого, по свидетельству И. И. Пущина, написана пушкинская Татьяна. С детских лет „стремившаяся к подвигу“, она еще недавно пыталась было в мужской одежде бежать в монастырь. „Жизнь, какою все живут, весь житейский быт, является лишь смертью“,—объясняет она эту попытку. В следовании за сосланным мужем она увидела тот подвиг, о каком она мечтала всю жизнь. „Как птица, вырвавшаяся из клетки, полечу я к моему возлюбленному, делить с ним бедствия и всякие скорби. Соединиться с ним снова на жизнь и смерть...“—мечтает она, спеша в те гиблые места, о каких у Некрасова сказано:

Там гробовая тишина,
Там безрассветный мрак...
Зачем, проклятая страна,
Нашел тебя Ермак?

Эпопея жен декабристов, их величавая и героическая история имеет все права на пристальное и любовное внимание. „Нельзя не пожалеть,“—говорит в своих воспоминаниях д-р Н. А. Белоголовый, — „что такие высокие и цельные по своей нравственной силе типы русских женщин, какими были жены декабристов, не нашли до сих пор ни должной оценки, ни своего Плутарха. Если революционная деятельность декабристов мужей по условиям времени не допускает нас относиться к ним с историческим беспристрастием, то ни что не мешает признать

в их женах такие классические образцы самоотверженной любви, самопожертвования и необычайной энергии, какими вправе гордиться страна, выростившая их, и какие могут служить во многих отношениях идеальными примерами для будущих поколений".

Николай I, до самой смерти смотревший на декабристов, не только как на государственных преступников, но и как на своих личных врагов, всеми мерами мешал женам декабристов в их стремлении разделить участь мужей. В каждом отдельном случае разрешения „буквально вырывались", по выражению П. Е. Щеголева, у государя мольбами и слезами, просьбами и ходатайствами окружавших трон ближайших родственников осужденных.

В каждом отдельном случае Николай I, даже и дав разрешение, считает своим долгом создавать как можно больше препятствий. Декабрист И. Д. Якушкин взял со своей жены слово, что она не поедет за ним, если ей не дадут особого разрешения взять с собой и детей. Как известно, Николай I не ограничился предписанием „обратить в казенных крестьян" тех детей, какие могут родиться у декабристов в будущем, в ссылке. Кары распространяются и на тех детей, какие рождены до ссылки. По правилам, жены декабристов, отправляющиеся вслед за мужьями, брать с собой детей не в праве.

После бесконечного ряда прошений и мольб, Якушкиной удалось было добиться изъятия из общего правила. Увезти с собой детей ей разрешено. Но ко времени получения этого разрешения сын Якушкиной был болен. Сразу же выехать было невозможно. В это время другая из жен декабристов, А. В. Розен, ссылаясь на то, что разрешение Якушкиной выдано,—стала умолять разрешить и ей взять с собой в Сибирь детей. Дело разре-

шили просто: не только не дали разрешения новой просительнице, Розен, но и у прежней, Якушкиной, разрешение отобрали. Более того: Якушкиной не только объявили, что ранее выданное разрешение взять с собой детей отныне недействительно, но и вообще воспретили ей отъезд в Сибирь. Пришедшая в ужас от таких результатов своего ходатайства, А. В. Розен спрашивает у шефа жандармов Бенкендорфа:

— Но ведь если бы Якушкина уже успела вместе с детьми отправиться к мужу, это ведь не встретило бы препятствий?!

— Ну, конечно. В таком случае ее бы назад не вернули.

Только потому, что из-за болезни сына бедная женщина выехать не успела, особая бумага от шефа жандармов по всей форме извещает: „Так как Якушкина своевременно дозволением следовать за мужем не воспользовалась, и так как ее пребывание при детях более необходимо, чем пребывание с мужем, то государь император разрешить ей ехать в Сибирь не соизволил“.

О, государь император сумеет сделать все возможное, чтобы отравить жизнь своим „друзьям 14 декабря“.

По высочайшей воле, иркутскому гражданскому губернатору послано, как оказывается, особое тайное распоряжение. Он должен применить все меры, чтобы выехавшие к мужьям и следующие через Иркутск жены декабристов были „достаточно запуганы, дабы они вернулись назад“. На сей предмет тайное распоряжение предписывает не только отобрать у жен декабристов „денежные суммы и многоценные вещи“, но и „внушить и убедить их, что путь чрезвычайно опасен и невозможен“, а также „представить, хотя мнимо, недостаток транспортных средств, и прочие тому подобные отклонения“.

В случае упорства, „если окажутся в числе сих жен некоторые, непреклонные в своих намерениях“,—губернатору предписывается „в таком разе принять по отношению к ним строгий тон, как к женам ссыльно-каторжных“.

Сибирский этап.

(Из собр. И. П. Белоконского).

Но этими мерами так и не удалось запугать ни одной из жен декабристов, решивших следовать за мужьями. Они знают, что их ожидает:

Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор,
Нужда и вечный гнет.
А там балы, блестящий двор
Свобода и почет.

Их выбор сделан, и, как бы ни старались запугать их грядущими испытаниями,—своего решения они не изменят.

Декабристы были размещены за Нерчинском, в Чите, в Петропавловске, в Петровском остроге и других местах. Занимали их земляными работами, мельничными и т. п. Жены, последовавшие за мужьями из России, жили в домиках окрестных жителей, в версте-двух от острога. В назначенные часы им дозволялось подходить к частоколу для того, чтобы через ограду обменяться с мужьями несколькими словами при караульном офицере.

„Так вот ты какая!“—Сергей говорил...
Лицо его весело было.

С удивлением говорит жене своей эти слова Сергей Волконский, и с таким же восторженным и радостным удивлением „так вот ты какая!“,—отнеслась к женам декабристов вся мыслящая Россия тех дней.

Подвиг жен декабристов казался необычайным. Откуда они, эти сознательные и убежденные гражданки? Когда успели они, воспитанные при дворе, научиться сознательному отношению к „государственному преступлению“ своих мужей? „Училась я много,“—говорит о себе Волконская в поэме Некрасова.

Училась я много, на трех языках
Читала. Заметна была я
В парадных гостиных, на светских балах,
Искусно танцуя, играя,
Могла говорить я почти обо всем.
Я музыку знала, я пела,
Я даже отлично скакала верхом,
Но думать совсем не умела.

Когда жена Никиты Муравьева, урожденная графиня Чернышева, впервые увидела мужа и услышала звук кандалов при каждом его шаге,—она упала без чувств, и ее едва могли привести в себя. В другой раз, когда она

была беременна, ее напугал окрик караульного солдата. Она кинулась бежать, на пороге дома упала в беспамятстве, и родила мертвого младенца. Вскоре после этого и сама она умерла.

С именем Муравьевой связан отклик А. С. Пушкина на дело декабристов. Когда Муравьева уезжала к своему мужу в Сибирь, к ней в 1827-м году явился А. С. Пушкин и передал через нее свое знаменитое, посвященное декабристам послание „К узникам“:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпение.
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление.
Несчастью верная сестра,
Надежда,—в мрачном подземельи
Разбудит бодрость и веселье.
Придет желанная пора!
Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас...
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Воспримет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

В ответ на это стихотворное приветствие, декабрист А. И. Одоевский, как известно, с каторги ответил Пушкину радостным откликом:

Струн вещих пламенные звуки
До слуха нашего дошли,
К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели.
Но будь, спокоен, друг, цепями,
Своей судьбой, гордимся мы

И за затворами тюрьмы
В душе смеемся над царями.
Наш скорбный труд не пропадет.
Из искры возгорится пламя,
И просвещенный наш народ
Сберется под святое знамя.
Мечи скуем мы из цепей,
И пламя вновь зажжем свободы.
Она нагрянет на царей
И радостно вздохнут народы!

Николай I принимает все новые меры, чтобы помешать женам декабристов последовать за их мужьями, Когда выяснилось, что запугивания тяжкой участью. какая их ожидает,—на них не действуют, им поставили целый ряд исключительно тяжелых условий. Тут был и пункт, по которому жена, отправляющаяся к мужу, лишается звания, и заявление, что начальство отказывается защищать их от нападений уголовных каторжан. Был, наконец, в качестве крайней меры, выдвинут и такой пункт, по которому дети, родившиееся на каторге, зачисляются в заводские крестьяне. Но неустрашимые женщины заявили, что какие бы им условия ни ставили, они все равно подпишут их, не читая.

Их поведение на каторге доказало, что решение следовать за мужьями было принято ими сознательно и продуманно. Тяжкие лишения, унизительные обыски, мучительная голодовка, тяжелый, непривычный труд,—все это принималось ими с улыбкой, все это казалось дешевой ценой за право хоть изредка, хоть через решетку увидеть любимого, послать ему нежную ободрительную улыбку.

Попечительное начальство, следуя инструкциям из Петербурга, всеми мерами старалось отяготить положение жен декабристов. Долгое время, даже поселенцам воспре-

Домик в Чите, где жили Трубецкая и Волконская.

щали не только видеться с женами, но и „здороваться с ними при встрече на улице“. Притеснения были возведены в систему. Письма этих женщин к родным в Россию должны были передаваться начальству незапечатанными, и проделывать длинный путь: раньше к губернатору, оттуда к шефу жандармов, затем в Третье отделение и т. д.

В 1826 году коменданту при Нерчинских рудниках была дана инструкция, по которой жены декабристов, живущие отдельно, вне острога, могут получать свидания с мужьями „не чаще, чем через два дня“, а желающие жить в остроге „должны жить в стеснительных условиях“.

Жен декабристов, получивших разрешение проживать в казарме со своими мужьями, даже в том случае, если они с особого разрешения привезли с собою детей, предписано с детьми разлучить, и детей поселить отдельно.

Но все эти меры бессильны сломить этих женщин. Нельзя рассказать, какой огромный подъем, какую неизмеримую радость давали закованным в кандалы людям, обреченным на работы в подземельи, под тяжкой властью грубых тюремщиков, — редкие ласковые улыбки жен, долетавшие к ним через каторжную ограду.

Они с лазури низлетели
С отрадою к страдальцам той страны, —

— как об ангелах, говорит о них поэт А. И. Одоевский,

И узникам с улыбкой утешенья
Любовь и мир душевный принесли.

Пусть идут дни и недели, пусть тянутся месяцы и годы. Пока эти ангелы в образе женщин, пока они, любимые, здесь,—ничто не страшно отверженным каторжникам:

В затворниках печали все уснули,
И лишь они страшились одного

Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,
Не сбросили б покрова своего.

...Умерли в Сибири, не дождавшись амнистии, и Трубецкая, и Муравьева, и Ивашева. Счастливее оказались Волконская и Анненкова. Вместе с мужьями, через 30 лет, после амнистии, по манифесту Александра II от 1856 года, вернулись они назад в Россию.

Наиболее тяжелая судьба выпала на долю тех из жен декабристов, чьи мужья умерли в Сибири. Мужья Юшневской и Гентальцевой, не вынеся мучительных условий сибирской жизни, умерли уже в первой половине сороковых годов, но право вернуться на родину вдовам могло быть предоставлено лишь с высочайшего разрешения. Сколько раз ни возбуждают ходатайство об этом несчастные женщины, — их просьбы снова и снова встречают категорический отказ.

— По своей воле ведь в Сибирь-то поехали, вот и поживите там.

Свыше 20 лет протомилась каждая из них после смерти мужа в глухой Сибири, и только после смерти Николая I получили возможность вернуться на родину эти, загубившие свою жизнь, женщины.

Трудно и тяжко шла жизнь декабристов на каторге. Трудно и тяжко жили они и тогда, когда после окончания срока каторги их рассеяли, расселили по глухим углам, гиблым местам Сибири, с таким рассчетом, чтобы они не могли видеться друг с другом.

Попытки бегства были неудачны. Когда декабрист Сухинин и с ним еще несколько человек затеяли побег,— их поймали и через 24 часа по приказу Николая расстреляли. Сам Сухинин, „не желая доставлять удовольствия царским палачам“, успел повеситься, остальных — „рас-

стреливали из старых заржавленных ружей, расстреливали долго, неумело, мучительно".

Только через тридцать лет, когда Николай I успел умереть, Александр II, в путях монаршего милосердия, по случаю празднеств при вступлении на престол, почел за благо разрешить декабристам вернуться в Россию.

Поздно пришло разрешение! Большинство давно уже погибло, и давно в снегах тундры, в лесах тайги истлели их кости. Те, кто остались в живых, вернулись дряхлыми изможденными стариками. Как узнать в этих измученных непомерными лишениями, еле живых людях—тех блестящих молодых гвардейцев, тех огненных людей, которые давали друг другу „первое целование свободы" в памятный день 14 декабря, тех юношей, что пламенно говорили друг другу:

— Пускай мы умрем, но мы умрем со славой!

ГЛАВА V.

Петрашевцы.

— Мы празднуем сегодня грядущее искупление человечества! Наша задача—превратить жизнь мучений, бедствий и нищеты в роскошную стройную жизнь. Всю нищую землю покрыть дворцами и разукрасить цветами. Грядущее искупление человечества празднуем мы сегодня!

Откуда они, эти странные, торжественные и радостные слова? Откуда взялся этот тон в тягостные, рабские дни царствования Николая I-го? Тяжелый гнет, жуткая реакция проявляют себя с небывалой силой. „Есть отчего сойти с ума",—пишет Грановский в частном письме к А. И. Герцену:—„Благо Белинскому, умершему во-время. Много порядочных людей впали в отчаяние и с тупым спокойствием смотрят на происходящее. Слышен глухой общий ропот. Но где силы? Где противодействие? Тяжело, брат, а выхода живому нет!"

Откуда же взялись в этой тяжкой и гиблой общественной атмосфере гордые слова: „Мы празднуем сегодня грядущее искупление человечества".

Это петрашевцы устраивают празднество в честь своего учителя, Фурье.

Не только в России, но и в Западной Европе в эту эпоху социалистические учения строются еще не на

борьбе классов, а на мечте о соглашении борющихся классов, на общем для всех идеальном плане общественного устройства. Социалисты-утописты, Фурье, Сен-Симон, Кабэ, Луи Блан верят в общие основы разума и спра-

М. В. Буташевич-Петрашевский.

ведливости, которые должны быть присущи всем людям без исключения. Мысли Маркса и Энгельса о том, что справедливость у каждого класса особая—еще не добились признания. Путь к социализму рисуется в виде розовых мечтаний.

Страстный мечтатель, Фурье, всю жизнь верил в то, что его мечты спасут мир. Необходимо разбить человечество на особые „фаланги“. Каждая должна помещаться в особом „фаланстере“, громадном здании, где находились бы представители всех трех родов, на какие Фурье делил человечество: представители труда, капитала и, наконец, таланта.

Устроить такие фаланстеры,—это значит создать мир всеобщей гармонии, открыть новую эру в жизни человечества... Для начала этого дела, для осуществления плана, по подсчетам Фурье, нужен был один миллион франков, всего-на-всего, один жалкий миллион. И всю свою жизнь Фурье был твердо убежден в том, что явится, не может не явиться некий неведомый добродетельный капиталист и даст ему этот миллион, какой нужен для преобразования жизни на земле.

Всю жизнь Фурье строго соблюдал час, назначенный им для визита этого, вот-вот имеющего появиться, капиталиста с миллионом. Где бы он ни был, чем бы ни занимался, но ровно в 12 часов Фурье неизменно был у себя дома, и напряженно ждал стука в дверь, ждал визитера, который принесет столь необходимый миллион.

Казалось бы, предел фанатистики, рекорд мечтательности уже побит самим Фурье. Но не имеет границ наивность человеческая, нет пределов в царстве иллюзий.

Русские последователи Фурье, Петрашевский и его друзья пошли еще дальше в своих иллюзиях. О фаланстерах и фалангах, о молниеносном преображении человечества они умудрились мечтать во дни царствования Николая Палкина, в эпоху самого мрачного разгула крепостничества, в эпоху свиста шпицрутенов и всероссийского кнутобойства.

Даже наличность в России крепостного права—не кажется Петрашевскому препятствием для немедленного осуществления лучезарных теорий его учителя. Любой помещик, по его убеждению, не только может, но и должен устроить фаланстер, при чем Петрашевский настаивает на том, что для этого свободолюбивый помещик даже не должен „нисколько спрашивать никакого разрешения у правительства, в силу существующих законов до собственности и пользования ею относящихся“.

Надо отдать справедливость Петрашевскому. Он не только теоретически исповедывал эту веру, но и практически со всем пылом ринулся в дело ее осуществления. В. Р. Зотов, в своих „Воспоминаниях“ подробно рассказывает, как Петрашевский строил фаланстер в своем имении. Имение, принадлежащее Петрашевскому, очень невелико. Оно насчитывает всего около 40 душ крепостных, тогда как, по теории Фурье, настоящий фаланстер должен заключать в себе около 2.000 человек, для того, чтобы были обслужены все материальные и духовные потребности этого „мира в миниатюре“, этого живого рая на земле. Но и это обстоятельство, невозможность полностью осуществить заветы великого учителя, не останавливает пылкого последователя. Пусть данные для этого опыта недостаточны, но он все же его осуществит, проделает полностью, не останавливаясь ни перед какими препятствиями.

И вот—момент настал. У крестьян пришли в ветхость избы, и староста является просить у барина леса на новые постройки. Петрашевский осторожно и исподволь развертывает тщательно продуманный агитационный план.—Вместо того, чтобы строить отдельные избы для каждой крестьянской семьи в отдельности, разве не

лучше построить одно общее большое здание нового типа? Подумать только: радостный дворец, где каждая семья будет иметь свое отдельное помещение, и где будет общий зал, где можно совместно вести зимние работы, где можно обмениваться впечатлениями духовной жизни.

Пусть крестьяне как следует обдумают эту идею. Это важно, это очень важно. Один общий, большой дом, который объединил бы прежние ячейки семьи—в новые, типа фаланстеров,—вот путь вперед, к разумному и достойному человека существованию. Убеждая своих крестьян, Петрашевский предъявляет им тщательно разработанный план. Жизнь наладится по новому. В общем доме будут, раньше всего, общие кухни. Далее — общие амбары. Наконец общими—будут и запасы продуктов, и хозяйственные инструменты, и все домашнее хозяйство. Это ли не новый, подлинно усовершенствованный строй жизни?

Крестьяне не приходят в дикий восторг, но, так как всю постройку и обзаведение Петрашевский принимает на свой счет,—то спорить с ним они не решаются. „Староста слушал, низко кланяясь, и на все вопросы: „ведь так будет не в пример лучше и выгоднее?“ отвечал: „Воля ваша. Вам лучше знать, мы люди темные. Как прикажете, так и сделаем. Вы наши отцы, мы ваши дети“.

Добившись принципиального согласия добрых мужичков, Петрашевский с радостным ликованием, с бурной энергией берется за осуществление любовно выношенного плана. В лесу строится огромное помещение. Петрашевский тратит последние деньги, лишь бы добиться наилучшего, наиболее совершенного устройства.—Дело, которое он делает—святое дело. Здесь, в этом глухом лесу, закладывается один из первых устоев будущего

строя человечества. Пусть пройдут годы, пусть слабые ростки окрепнут и семена дадут плод и, почем знать, может быть сюда явятся учиться тому, как надо жить, не только представители со всех концов России. Быть может, и гордый Запад смиренно явится на поклон, чтобы посмотреть на те результаты, какие дает сознательное и беззаветное служение идее.

Работы ведутся со всей энергией. Минуты отдыха целиком тратятся на беседы и разъяснения добрым, но наивным мужикам о том, как именно должны они будут по хорошему и по настоящему жить в ныне воздвигаемом фаланстере. Мужики слушают пылкие речи не очень охотно, мотают головой, крякают, но с мудреным барином не спорят.

— Воля ваша. Мы люди темные. Вы наши отцы, мы ваши дети.

Ура! Здание готово. Вот он, важный, вот он, решающий день, какой занесет в свое время в свои анналы история человечества. Барин сам вводит крестьян в приготовленные для них помещения, знакомит их с планом и расположением комнат в общежитии, рассказывает о новых порядках, каких необходимо свято держаться, описывает все преимущества новой системы, восторгается общей залой, где должны быть и мастерские, и клуб, и настойчиво спрашивает стариков, довольны ли они. „Они“,—говорит историк,—„ходили за ним по постройке с видом приговоренных к тюремному заключению и бормотали угрюмо: „Много довольны. Как будет вашей милости угодно“.

— Мы люди темные. Вы наши отцы, мы ваши дети.

И вот торжественно назначен знаменательный день переселения всех крестьянских семейств в новое обще-

житие. Еще накануне взволнованный Петрашевский собирает всех крестьян и в последний раз обходит вместе с ними новое нарядное помещение. Он назначает каждой семье ее комнату, передает им всю закупленную для дома утварь, все инструменты, приказывает перевезти весь скарб и запасы в новые амбары общежития, и разместить скот и лошадей в новые хлева и конюшни, и произносит поздравительную речь, которую заканчивает растроганными словами: „Так переселяйтесь же, в час добрый! Начинайте новую жизнь...“.

Но, когда на следующее утро радостный и взволнованный Петрашевский приехал „на новоселье“, посмотреть, как устроились добрые мужички,—постройки он уже не застал: на месте нарядного, только что отстроенного „фаланстера“ дымились догоравшие бревна и головешки. Добрые крестьяне решили, что им не в моготу, и, придумав свое „средствие“, дружно и единодушно приняли срочные меры для борьбы с фурьеризмом.

— Воля ваша. Вам лучше знать. Как прикажете, так и сделаем. Мы люди темные, вы наши отцы, мы ваши дети...

Т. А. Богданович в своей биографии Петрашевского говорит, что этот поджог еще не испробованного фаланстера, хотя и был, конечно, „тяжелым ударом для Петрашевского, но нисколько не разочаровал его в самой идее. Он только убедился, что подходить к ее осуществлению надо несколько медленнее, и соглашался отсрочить возможность ее окончательного торжества на пять лет“.

* * *

Заговор петрашевцев — это в главной части своей выдумка шпионов, строивших на этом заговоре свою карьеру. На вечерах Петрашевского, по пятницам, встречалась

между собою молодежь, беседовавшая на общественные темы. Правда, впоследствии, когда петрашевцы организовались в группу, каждый из участников дал особую подписку о своем вступлении в общество, и о том, что он, новый поступивший, в случае, „если распорядительный комитет общества решит, что настало время бунта“, обязывается, „не щадя себя, принять полное и открытое участие в восстании“. Но подписка эта была создана на предмет испытания гражданского мужества вступающих сочленов и никакого практического значения не имела.

Петрашевцы ни в какой мере не были практическими деятелями. Пред нами пылкие идеалисты, вольнолюбивые мечтатели, и ничего больше.

В наше время трудно представить себе то значение, какое имели в культурной жизни столицы того времени пятницы Петрашевского. Самая идея собираться для собеседований казалась в те дни уже героизмом. Один из участников пятниц, Баласогло, в своих показаниях о деле говорит: „Когда по случаю западных происшествий (февральская революция) цензура всей своей массой обрушилась на русскую литературу и весь, так сказать, литературно-либеральный город прекратил по домам положенные дни, один Петрашевский ни мало не поколебался принимать у себя своих друзей и хороших знакомых. Это обстоятельство, признаюсь, привязало меня к нему навеки. Он, как и все его гости, очень хорошо знал, что правительство, внимая чьим бы то ни было ябедам, во всякую минуту могло схватить, так сказать, весь его вечер, и начать розыски,—и не смутился духом. Следовательно, он готов был дать отчет о всех своих действиях во всякую минуту. Следовательно, он веровал в то, что испо-

ведывал. Я был восхищен этим решительным признаком души благородной".

Состав участников пятниц Петрашевского весьма разнообразен. Много было здесь представителей литературного мира. Среди посетителей пятниц встречаем имена и Ф. М. Достоевского, и М. Е. Салтыкова, и А. Н. Плещеева, и А. Н. Майкова и др.

„Народ собирался молодой, образованный, читающий, мыслящий"—вспоминал впоследствии, на старости лет, свои впечатления от пятниц Петрашевского ген.-лейтенант П. А. Кузьмин:—„Впечатления принимались живо, всякая несправедливость, злоупотребления, самоуправство глубоко возмущали душу каждого".

Открытие „заговора" петрашевцев произвело большое впечатление. Барон Корф в своих „Записках" с ужасом говорит: „Среди революционного вихря, который охватил западную Европу—в Петербурге были поражены разнесшеюся, как молния, вестью об открытом и у нас заговоре. К России, покорной, преданной, тоже прикоснулась гидра нелепых и преступных мечтаний чуждого нам мира! Горсть дерзких злодеев и ослепленных юношей замыслила приобщить и нашу девственную нацию к сокрушительному действию революции, к ужасам и моральному растлению Запада!"

Мы знаем уже о том „празднестве искупления человечества", какое устроено петрашевцами.

Это празднество представляет собой всего только „обед в память Фурье".

— Мы празднуем сегодня грядущее искупление человечества,—возглашает на этом обеде один из петрашевцев, Д. Д. Ахшарумов.—Сегодня—первый обед фурьеристов в России, и они здесь все: десять человек, немногим

более... Наша задача превратить жизнь мучений, бедствий нищеты, стыда и срама в роскошную, стройную жизнь веселья, богатства, счастья. Всю нищую землю покрыть дворцами, плодами и разукрасить цветами, вот наша цель. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий!"

Способ для магического перерождения такого рода петрашевцы знают только один: просвещение, культура, литературные работы. О необходимости вооруженной борьбы нет еще и речи.

Практической деятельности, конкретной работы петрашевцы не знали. У них были только красивые слова и пьянящие мысли о счастьи всего человечества. Но и этого было более чем достаточно, чтобы повергнуть в ужас Николая I и его приближенных.

Тайное следствие идет полным ходом, захватывая все больше новых и новых, даже и чуждых петрашевцам людей.

Копошатся повсюду шпионы, и вот шеф жандармов уже доставил Николаю I обзор всего дела петрашевцев и, в качестве приложения к этому обзору, три тетради с именным списком всех участников.

Подлинные надписи Николая I на этом докладе шефа жандармов сохранились полностью:—„Я все прочел",—пишет Николай.—„Дело важно, ибо ежели было только одно вранье, то и оно в высшей степени преступно и нестерпимо".

И вот произведены уже массовые аресты. Тридцать четыре человека „сданы" в Петропавловскую крепость. „Приняты меры к дополнительным арестованиям".

Находясь в заключении, Петрашевский остается в убеждении, что он — жертва недоразумения, что его не только

безусловно освободят, но еще и выдадут ему вознаграждение „за безвинно понесенные им страдания“. Единственное, что его пугает, — это мысль, что, не вынеся условий заключения, он умрет раньше, чем недоразумение выяснится, и он спешит распорядиться, чтобы, в случае его смерти, суммы, какие будут причитаться ему после его оправдания, — были выплачены Вольному Экономическому Обществу, в качестве „дара имени Петрашевского“. Увы! Забота об этом оказывается излишней.

Произведены еще и новые обыски и выемки, и — о, ужас! — найден дневник поручика Момбелли. Поручик осмеливался кощунственно рассуждать о виденном им хлебе, которым питаются крестьяне Витебской губернии: „Мука вовсе не вошла в его состав. Он состоит из мякины, соломы и видом похож на высушенный конский навоз“.

Это еще не все. Поручик писал, оказывается, в своем дневнике и еще более ужасные вещи: „Хотя я противник всякого физического наказания, но желал бы чадолюбивого императора в продолжение нескольких недель посадить на пищу витебских крестьян. Как странно устроен свет: один мерзкий человек, и сколько зла он может сделать. И по какому праву?“

Николай в ужасе. — Вот до чего дошло! Третье отделение и корпус жандармов стараются превзойти самих себя. Создается и всемерно раздувается знаменитый „процесс петрашевцев“. Приговор известен уже заранее. Отправлены на каторгу все мечтатели, собиравшиеся на пятницах. На каторге оказывается и Ф. М. Достоевский.

— Ужас, ужас. Эти люди, как видно из отобранных у них документов, говорили о Фурье, и мечтали о всеобщем благоденствии, и критиковали существующие поряд-

ки, указывая, что „народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами“, что „русский крестьянин платит налогов более, чем английские фермеры“, что „целые губернии поражены голодом и вымирают без всякой помощи“. Какое крамольное, какое безбожное поколение!

В деле Петрашевского со всей четкостью проявляет себя нарождение нового усовершенствования самодержавного режима: здесь ярко демонстрируется первое появление агента-провокатора в его чистом, классическом, так сказать, виде.

Откуда взялся этот провокатор Антонелли?

Когда деятельность и личность Петрашевского обратили на себя внимание властей предержащих, некоему жандармскому превосходительству, д. с. с. Липранди, поручили принять меры по устройству внутреннего освещения кружка. Д. с. с. Липранди не только не погнушался поручением, но, напротив, почел его за честь. Впоследствии он даже счел долгом в своих мемуарах горделиво опубликовать все подробности своей деятельности, и этим дал возможность проследить появление провокатора в деле Петрашевского с полной и совершенной ясностью.

Делу придавалось очень большое значение и агента надо было отыскать первоклассного.

После долгих поисков д. с. с. Липранди остановился на некоем П. Д. Антонелли, студенте филологического факультета петербургского университета. Убежденный уговорами Липранди, студент Антонелли принимает на себя роль провокатора не только усердно, но и восторженно. Дело поставлено со всей серьезностью. Антонелли предложено отдать все свое внимание новой службе. Для начала он покидает университет.

Служение муз не терпит суеты
Прекрасное должно быть величаво.

Он должен быть свободен, чтобы все силы духа своего отдать на служение родине.

После того, как Антонелли оставил университет, его определяют на службу в тот же самый департамент, где служит и Петрашевский. Начальству предписано принять все меры, чтобы у Петрашевского и Антонелли оказались общие дела, как можно больше точек соприкосновения. И может ли притти в голову пылкому фурьеристу, пламенно убежденному в том, что его идеи спасут мир, М. В. Петрашевскому, что новый, переведенный в его отделение чиновник Антонелли, такой ласковый и приветливый, такой внимательный и чуткий,—представляет собой не что иное, как специально подсаженного жандармами шпиона?

В роли агента-провокатора Антонелли проявил способности недюжинные. Он принимает все меры к тому, чтобы подружиться с Петрашевским, вызвать в нем симпатию и доверчивость. Но Петрашевский сдержан. Тогда Антонелли пускает в ход крупный козырь. Он начинает демонстративно выказывать недоверие к Петрашевскому, дает ему понять, что именно его, Петрашевского, считают, будто бы в обществе провокатором.

План подействовал. М. В. Петрашевский в ужасе.—Как? Неужели?! Его, Петрашевского, в чем-то подозревают?

Взвинченный, потрясенный, он ведет с недоверчивым молодым человеком Антонелли целый ряд разговоров по душам.

— Вы, молодой человек, меня мало знаете. Дело в том, что...

Молодой человек слушает внимательно, требует все новых и новых деталей. Если Петрашевский действительно

хочет смыть с себя позорное подозрение, то он должен рассказать Антонелли все, все до конца. Петрашевский рассказывает все. Ведь Антонелли так любит свободу так страдает за бедную родину. Он, Антонелли, давно убежденный социалист. Откуда знать бедному Петрашевскому, что его собеседник аккуратно записывает каждую беседу с ним и регулярно передает свои рапорты через д. с. с. Липранди в 3-е отделение?

Петрашевский не только ничего не скрывает от Антонелли, но, усмотрев, что тот недостаточно подготовлен, горячо принимается за просвещение и воспитание своего юного друга. Он дает ему целый ряд книг, объясняет ему все непонятные места. Книги, вместе с объяснениями, конечно, немедленно же пересылаются по начальству.

Антонелли оказывается шпионом старательным. Начальство довольно.

По его докладам,—„Петрашевский думает не только о социальных преобразованиях, но и о необходимости изменения государственного строя". Получивший впоследствии такое обширное развитие, институт провокаторов строится серьезно: в задачи освещения и осведомления входят не только указания на то, что делает, но даже и на то, что думает подозреваемый.

В качестве шпиона исполнительного и деятельного, Антонелли, конечно, добился права присутствовать на пятницах, и обо всех появлявшихся здесь, и о том, что говорил каждый из них, он посылает регулярные доносы. Особенно подробно описывает он ту пятницу, на которой Ф. М. Достоевский прочел присутствующим знаменитое письмо Белинского Гоголю по поводу его „Переписки с друзьями". „Письмо это", — доносит Антонелли, — „вы-

звало общий восторг и все общество было как бы наэлектризовано".

В докладах начальству Антонелли с гордостью указывает, что Петрашевский считает его своим другом, что Петрашевский в интимных беседах исповедуется перед ним. Он говорил ему, напр., — о, ужас! — что „всякий народ должен управляться сам собой, быть сам властелином, а не подчинять себя власти деспотизма". Он говорил еще и о том, что „перемена правительства нужна, необходима", и что „переменить его нужно не вдруг, а действуя исподволь, чтобы идея о перемене правительства утвердилась бы в массах народа".

Все, что нужно, чтобы сгноить человека в каменном мешке, — налицо.

Чтобы еще больше запутать Петрашевского, Антонелли, встретившись с несколькими из знакомых ему черкесов, обещает взять на себя ведение среди них агитации и пропаганды. Материалы для этой пропаганды должен доставить Петрашевский.

Любопытно, что взявшись за выработку „проекта устройства будущего правления на Кавказе", Петрашевский сразу же выдвигает на первое место систему советов, слово, по тем временам совершенно небывалое: „Верховное правление народа должно быть предоставлено совету. Внутреннее управление каждого племени также должно состоять из советов", — читаем мы в проекте М. В. Петрашевского.

Обдумывая это новое понятие, Петрашевский уже в те времена (январь 1849 года) говорит следующие пророческие слова:

„Целость России поддерживается только военною силою. Все народы, составляющие Россию, разделятся на

отдельные племена, и тогда Россия будет собою представлять Соединенные Штаты".

Как будто прозревая в будущем нарождение СССР, Петрашевский уверенно говорит, что будущая революция неизбежно начнется именно в Петербурге: „Жители Москвы", — указывает он, — „придерживаются старинных поверий и обычаев. Москва не лишена важного значения, как сердцевина... Но лучшее место для всех предприятий — Петербург. Если здесь что-нибудь произойдет, то оно отзовется тотчас же сначала в Москве, а потом и во всех местностях России".

Чтобы оценить эту прозорливость Петрашевского, чтобы понять, в каком противоречии с окружающим миром была его душевная настроенность,— надо всмотреться в особенности эпохи, ярко сказавшейся в других „политических" процессах того времени.

Жуткая и тупая реакция, какой были насыщены все тридцать лет пребывания на троне самодержавного околоточного, „коронованного фельдфебеля", Николая I, оковала всю страну тугими обручами. Общее молчание, сплошное безмолвие на долгие годы,—таково наследство, оставшееся после декабристов. Казалось, каторга и ссылка похоронили все мыслящее, все смелое, что было в России в те времена. Задавлены были все малейшие проявления вольной мысли, и по всей России от Белого моря и до Черного

На всіх языках все мовчыть,
Бо благоденствуе.

От тайных обществ, породивших выступление декабристов, и до самого 1848-го года в России не было революционных организаций, — указывают историки.

Но декабрьские события 1825-го года не остались без очень большого влияния на умы. Если Герцен, которому ко дню 14-го декабря было всего 12 лет, тогда же, мальчиком еще, поклялся „отомстить правительству“, и всю жизнь оставался под впечатлением процесса декабристов, — то даже и далекие от какой бы то ни было политики обывательские массы восприняли очень многое от того порыва, какой руководил действиями декабристов.

Одной из наиболее ярких иллюстраций того влияния, какое оставил в обывательских кругах день 14 декабря, — является изумительное по своим деталям дело братьев Критских, относящееся к 1827 году.

Дело это, исследованное по документам архива Третьего отделения Мих. Лемке, замечательно раньше всего по той бытовой картине, какую оно рисует.

Некий юноша, окончивший Симбирскую гимназию, студент Лушников, вскоре после своего приезда в Москву, был изловлен на попытке заняться пропагандой. Зайдя на размещенный в Кремле караул Симбирского гренадерского полка, юноша не только „стал беседовать с солдатами“, но еще „отправился знакомиться“ к дежурным офицерам, прапорщику Ковалевскому и штабс-капитану Боцану. Затеяв с ними приятельский разговор, он с первых же слов объяснил, что он с товарищами устроили „тайное общество“, что „партия их довольно значительна“, и что они „собираются через одиннадцать дней, в день коронации, сделать революцию“, для чего даже „пишут теперь прокламации, которые собираются наклеить на памятник Минина и Пожарского“. В прокламации этой решено „рассказать, сколько было невинно повешенных и сосланных в Сибирь“.

По-дружески рассказав своим новым знакомым, дежурным офицерам караула, все эти подробности, — студент Лушников сразу же предложил им вступить в члены тайного общества и обещал им на этот случай свою протекцию.

Дежурные офицеры, с которыми так скоропалительно завел дружбу этот неведомый студент, оказались примерными служаками. Не показавши студенту Лушникову и вида, что его сообщения их удивили, они выслушали его внимательно, расспросили его об адресе (оказалось, что живет он здесь же, в Кремле, у своего дяди, экзекутора), и сразу же кинулись с доносом по начальству.

Донос в срочном порядке пошел по инстанциям.

От полкового командира — к бригадному генералу, оттуда — к Московскому военному коменданту, далее — к генерал-губернатору, князю Д. В. Голицыну... Понеслись, полетели срочные бумаги, донесения, эстафеты, фельдегери... Шутка сказать, „новый заговор". Тайное общество новое открыли! Это ли не событие?!

Старательность поспешивших с доносом караульных офицеров была оценена по достоинству. Московский комендант, генерал Веревкин немедленно приказал им „притворно согласиться и стараться всячески выведывать и узнавать всех сообщников" и действовать энергично, но „сколько возможно секретнее".

Очаровательная откровенность Лушникова, его наивная разговорчивость и трогательная готовность приглашать всех встречных в члены тайного общества, лишь бы увеличить силы партии, — очень облегчили задачу. От этой нитки вел прямой путь ко всему клубку. И вот уже отысканы руководители „тайного заговора", главные лидеры, братья Критские, и арестованы уже, строжайшему

допросу подвергнуты и Лушников, и Критские, и еще целый ряд прикосновенных к делу лиц. Всем им по 18 и 19 лет. Есть и 16-летние. При обысках ровно ничего не найдено, кроме одной записки, хотя и невинной по содержанию, но украшенной сделанной от руки „печатью“ с девизом: „Вольность и смерть тиранам!“

Делу придается значение совершенно исключительное. Под председательством генерал-губернатора, князя Голицына, создана особая следственная комиссия. К ближайшему участию в ней привлечены и начальник корпуса жандармов, генерал Волков, и московский обер-полицеймейстер Шульгин, и военный комендант, генерал Веревкин, и многие, многие еще. Дело поставлено серьезно, „по первому классу“.

Взятые на цугундер мальчики растерялись уже с первого момента и сразу же сказали все, что только возможно. Так, мол, и так. Мечтали о конституции! Даже хотели написать прокламацию, выражающую сочувствие декабристам, съ тем, чтобы эту прокламацию положить на памятник Минина и Пожарского.

Дело ясно от начала и до конца с первой же минуты. Но „особая следственная комиссия“ действует со всей энергией. Арестовывают все новых и новых „прикосновенных к делу“ лиц, устраивают все новые допросы и очные ставки. Язву заговора надлежит выжечь до основании.

Главным вождем „тайного общества“ признан один из братьев Критских—Петр.

Комиссии—о, ужас!—удалось выяснить, что эти юноши не только собирались сочинить прокламацию о желательности конституции, но даже обсуждали и вопрос о покушении на священную жизнь государя-императора. Правда, при обсуждении этого вопроса среди юношей победу

одержала та точка зрения, что покушение на царя „не может быть благом для отечества“, но ведь обсуждение вопроса все же происходило, и даже вынесено решение: „Отложить сие на десять лет, и избрать по жребию исполнителя из среды себя, с тем, чтобы этот исполнитель злодеяния сокрыл своих сообщников путем самоубийства“.

Совершенно ясно, что ни в чем, кроме легкомысленных и мальчишеских разговоров эти юноши не повинны, но дело ведется со всей серьезностью. Судьба этих государственных преступников безнадежна. Следствие выяснило, что Петр Критский „выхвалял конституции Англии и Гишпании“, что он „называл преступников 14-го декабря — великими“, и говорил, что они, декабристы, „желали блага своему отечеству“. Это еще не все. Следствие выяснило, что товарищи Критского, Лушников и Попов „произносили к портретам государя императора дерзкие и оскорбительные слова“, а Лушников даже „дерзнул на портрете почившего, блаженной памяти государя-императора, выколоть глаза“. Следствие выяснило, наконец, и те надежды, какие осмелились питать эти члены тайного общества. Замыслив написать прокламацию к московским гражданам, они высказывались в том смысле, что пора, мол, утвердить конституционное правление в Росии.

Впрочем, от выполнения плана написать прокламацию они были еще далеки.

Мысль эта казалась им трудно исполнимой, „ибо могут дознаться по почерку руки“. В виду этого мальчики решили было достать или самим сделать буквы для печатания, но, в виду трудности этого, остановились на том, чтобы написать прокламацию печатными буквами.

Изучены и исследованы все помышления заговорщиков. Членов своих это „тайное общество“ предполагало вербовать среди студенчества. Председателем предложено было избрать А. С. Пушкина, но в виду указаний, что „Пушкин ныне предался большому свету“ и „думает более о модах и остреньких стишках, нежели о благе отечества“, имелась в виду еще и другая кандидатура: генерала А. П. Ермолова. До юношей дошли слухи, что знаменитый генерал обижен Николаем I-м. Ясно, что, в качестве опального,—он, конечно, будет рад случаю возглавить собой „тайную организацию“.

Особая следственная комиссия, выяснив важность дела, работает со всей серьезностью. Количество арестованных все увеличивается. Производятся допросы, составляются протоколы, старательно определяется степень виновности каждого из государственных преступников. Но этого недостаточно: генералу Волкову поручено „исследовать отношение общественного мнения к тайному обществу братьев Критских“. Генерал блестяще выполнил задание и сообщает все, что ему удалось узнать:

„Одни говорят, что это остатки последствий 14-го декабря, другие приписывают оное к брожению умов, к ложным понятиям“,—сообщает ген. Волков в официальном докладе:

„В одном доме говорили: как-то и где будут этих бездельников наказывать?—Я думаю,—сказал некто,—что их повесят. Да и хорошо бы было! Это послужило бы примером нынешним ученым. Вот вам просвещение! Если бы кончили воспитание Критских русской грамотою и арифметикой, и пошли бы они по той же дороге, по которой шел отец их, кондитер,—то этого бы им в голову не пришло!—Нет,—сказал другой,—я бы не стал их ве-

шать. Это слишком коротко. А сколько есть в Москве перекрестков,—то на всяком давал бы им по несколько ударов розги или плетьми, чтоб подолее прожили и подолее промучились. А между тем, и всякий бы то увидел!—А что,—спросил один,—продолжает официальный доклад ген. Волков:—как вы думаете, когда допрашивают, их секут?—Я думаю, что не без этого,—отвечали. Ведь в Петербурге декабристов славно драли. Без того правды всей не узнать. Должно полагать, что их завелось целое гнездо, которое надобно вовсе разорить".

Эти подлинные документы эпохи чрезвычайно важны и значительны по обрисовке той общественной атмосферы, в какой приходилось выступать и первым республиканцам, первенцам русской свободы, декабристам, и первым социалистам, петрашевцам. Тупой, злобный обыватель во весь свой пугающий рост встает перед нами с пыльных, пожелтевших страниц исторических документов. Он, этот обыватель, ни в чем не сомневается, ничего не ждет, ничего не ищет. Он все знает, все решил, он „доволен сам собой, своим обедом и женой", доволен всем окружающим, и как мучительно трудно будет еще целым поколениям русских революционеров осиливать, преодолевать эту тупую, косную, неподвижную, обывательскую среду.

— О, достойные сограждане, о, филейные части человечества! — в отчаянии восклицал впоследствии талантливый, рано погибший Писарев.

„Вот вам просвещение! Пороть надо! На каждом перекрестке пороть".

В деле братьев Критских, к которому с такой энергией и вниманием отнесся и сам Николай, и его правительство,—бессмертный обыватель проявил себя не только

толками со стороны. Протоколы заседаний особой следственной комиссии, со всей серьезностью воспроизводящие преступление подсудимых, в конце концов и в их лице рисуют перед нами все тот же заколдованный образ, все того же типичнейшего обывателя всероссийского.

— Отчего государь сам не вздумает ограничить свою власть?—дерзновенно говорил оказывается один из подсудимых, Тюрин, Критскому.

— Вот прекрасно!—возразил Критский:—Да разве он захочет быть связанным. Да к тому же ему лестно, что глупый, бородатый народ почитает его почти богом, а тогда он не будет в таком уважении.

Протоколы комиссии особенно подробно передают разговоры о цареубийстве, „предположенном через десять лет“:

— Смерть государя устрашит прочих особ царской фамилии и заставит их удалиться в Германию,—убеждал своих товарищей Михаил Критский.

— Напротив того. Примут строгие меры, так что даже за одно неосторожное слово будут ссылать в Сибирь,—возражал Тюрин.

— Тем лучше,—поучал Критский:—потому что тогда народ ожесточится.

Все разговоры такого рода тщательно восстанавливаются и после долгих очных ставок записываются следственной комиссией со всеми деталями.

— Как ты думаешь,—спрашивал, оказывается, Лушникова Критский,—до корня, или с корнем? (То-есть, следует ли лишать жизни всю императорскую фамилию, или наследника оставить?).

— Если благополучие моего отечества и перемена правления требует сих жертв,—то я готов на все,—отве-

чал, будто бы, Лушников:—Но для чего губить царя младенца? Он не может нам быть вредным.

—К тому же,—прибавил присутствовавший при разговоре другой подсудимый, Попов,—за наследника вступится всякий немец, как за родную кровь свою!

Со священным ужасом доводя до сведения его императорского величества обо всех этих разговорах преступников, — комиссия трепетно указывает, что Критский однажды, показывая на портреты царя в календаре, сказал товарищу:

— Смотри на этих тиранов и напитывай душу свою кровавой местью.

В дело впутывают все новых и новых лиц. Достаточно Лушникову во время допроса упомянуть, что он беседовал с солдатом на темы о свободе и о лучшем будущем, как вот уже по приметам отыскан рядовой Астраханского полка Кушнирюк. Кушнирюка в срочном порядке проводят сквозь строй. Ему дано 4000 палок. Он сослан навсегда на работы в Бобруйскую крепость. Впутан в дело еще и какой-то Тимофеев. Его преступление состоит в том, что он когда-то позволил себе будто бы сказать: „Хорошо, если государь умнейший человек, например, как Петр Великий, а то какой-то бессмысленный вертит государством, как хочет“. Запутан в дело еще и какой-то Салтанов, который „полагал, что в России войско содержится строго“, и какой-то Николай Рогов, который повинен в том, что „рассуждал о Римской империи и о конституции Юстиниана“. И еще обвиняемые, и еще... Все следственное производство поступает на благоусмотрение его императорского величества.

И слепому ясно, что ни малейшего состава преступления нет, что никакого „тайного общества“ и в помине

не было. Судебного дела из этих разговоров между собой нескольких мальчиков никак не создать.

Николай I решает расправиться с мятежниками без суда, в порядке высочайшего повеления. И с какой же подлой жестокостью проделывается расправа над всеми этими юношами! Членов тайного общества размещают в Шлиссельбургскую и Кексгольмскую крепость. Им не разрешено не только попрощаться с родителями и родственниками, но даже дать кому бы то ни было знать о своей судьбе. Как в воду канули жертвы обвинения.

Лушников после 10 лет заключения в крепости был переведен в матросы. Три брата Критских так и гниют в Шлиссельбургском каземате. Двое из них уже умерли в темнице, но сколько ни подавала их мать прошений на высочайшее имя о помиловании ее сыновей, Николай I год за годом неизменно ставил резолюцию „отказать“.

Только через 17 лет просьба 84-летней старухи матери была услышана, и единственный оставшийся к тому времени в живых Критский был отпущен на свободу. Надо было подождать еще 14 лет, чтобы с него сняли ограничения в правах на жительство и разрешили ему приехать в Москву лечиться от угрожавшей ему слепоты. Так же точно лишь через 17 лет освобожден из каземата Тюрин, но и он должен после этого подождать еще 13 лет, пока его освободят от надзора.

Тридцать лет кары за детские разговоры о желательности свободы и о полезности конституции,—это считалось нормой, вполне естественной при Николае I. И через тридцать-то лет амнистия последовала только ввиду смерти Николая I, по случаю коронационных празднеств во дни Александра II.

„Дело Критских не нуждается в коментариях“, говорит исследовавший подлинные документы М. Лемке:—„Царствование Николая I-го тем и отличается, что каждый его документ брызжет кровью, потоки которой текли в тиши многочисленных застенков. Вникните в дело братьев Критских и попробуйте отдать себе отчет, за что погибло столько людей? За что было разбито столько молодых жизней? Только за разговоры в более или менее тесной компании, только за скрыто выраженное неудовольствие системой кнута и триадой православия, самодержавия и народности. Люди не только ничего не совершили преступного, но даже не предприняли тех шагов, без наличности которых, по здравому смыслу и основам права, их нельзя обвинять даже и в подготовке к преступлению“.

Кроме дела братьев Критских, уныло-жестокая эпоха Николая I знала немало еще и других таких же процессов. Одним из наиболее изумительных надо признать отысканное и исследованное П. Е. Щеголевым дело крестьянина Семена Олейничука.

Осенью 1849-го года полиция обратила внимание на неизвестного странника, поселившегося у Днепра, в Никольской Слободке, Черниговской губернии.

— Человек явно подозрительный. Все у себя дома сидит и что-то пишет. Из дому выходит редко. Если встретится с кем-нибудь, разговаривает о правде, о справедливости. Дело, очевидно, не чистое!

У подозрительной личности произведен обыск. По документам выясняется, что привлекший подозрение странник — бывший крепостной помещика Собещанского. Рукопись, над которой он просиживает целыми днями, составляет огромный труд. При обыске отобрано 158 листов рукописного сочинения, под заглавием „Исторический

рассказ природных жителей Малороссии про свое житье-бытье".

Дело, по всей видимости, серьезное. Очевидно, прозорливость властей помогла им отыскать важного преступника. Подумать только: крестьянин из крепостных, и вдруг исторические сочинения пишет. За это по головке не погладят!

Начинается строжайшее следствие. Раньше всего тщательно выясняется личность преступника. Арестованному — 51 год. Жизнь его, как оказывается, сложилась необычайно. В свое время, его отец, без ведома помещика, отдал мальчика в гимназию, и этот мужицкий сын, крепостной, успел получить совершенно „неподобающее образование", изучил языки, французский, латинский и польский, стал понимать окружающие его порядки и, раньше всего, самую сущность крепостного права, жертвой которого является он лично. С ужасом почувствовал и понял юноша, что он является вещью, принадлежащей помещику.

Эта одушевленная вещь очень скоро понадобилась хозяину. Помещик потребовал предъявления ему его собственности, и Семен Олейничук немедленно же был извлечен из стен гимназии и доставлен в Винницкий уезд, в имение своего помещика. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая жизнь этого крепостного гимназиста, если бы он оставался у своего владельца, но помещик очень скоро решил отдать его в рекруты, и напуганный юноша, умудрившись добыть подложный паспорт, успел убежать,— скрыться и от ужасов крепостного права, и от кошмара Николаевской казармы.

„Будучи из крепостного звания", — показывал на допросе Олейничук, — „имея родных в крестьянском быту и будучи, сколько для меня возможно, грамотным, — я не

мог переносить того положения, в каком находились вообще крестьяне".

Подложный паспорт на имя шляхтича Сорочинского дал Олейничуку возможность получить должность приходского учителя. Беспокойный, неугомонный, он меняет одну должность на другую, но тоска по родине гложет его, и притворяться поляком, шляхтичем, ему невмоготу. После долгих лет скитания, Олейничук решает вернуться к себе домой, на родину. — Будь, что будет, но носить личину, чувствовать себя навеки оторванным от родных мест, он не хочет и не может.

После 15 лет пребывания приходским учителем, после бесконечных скитаний с одной должности на другую, Семен Олейничук в 1839 году возвращается в свой родной Винницкий уезд. Он снова крестьянин, он снова крепостной мужик. Пусть всевластный барин, помещик, делает с ним, что угодно.

Барин не желает довольствоваться своим собственным судом и расправой. Нет, он отомстит серьезнее. Чтоб другим крепостным не повадно было о побегах думать, Олейничук передан полиции. Олейничук посажен в тюрьму, дело его передано в суд.

Четыре года просидел в тюрьме Семен Олейничук в ожидании суда. Среди документов об Олейничуке нет сведений о том, каким образом удалось ему умилостивить грозного помещика. То ли какие-нибудь средства удалось скопить Олейничуку во время его учительства и откупиться, то ли помещик сообразил, что никакой выгоды не получит он, если суд отправит в Сибирь принадлежащего ему крепостного. Так или иначе, но дело закончилось неожиданно благополучно. Суд признал подсудимого сумасшедшим, подверженным слабоумию, и осво-

бодил его, а помещик выдал Олейничуку формальную отпускную.

Но личное освобождение не успокоило Олейничука. Он свободен, но, пока существует крепостное право, он чувствует себя отравленным, неспособным жить нормальной человеческой жизнью. „Будучи преследуем по возвращении на родину“, — показал на допросе Олейничук, — „и подвергаясь тюремным заключениям, я еще более возненавидел крепостное свое звание, и, хотя получил от помещика своего отпускную, но это меня не успокоило. Насмотревшись, странствуя по России, на разные порядки, зная преследования крестьян, я решился заняться описанием оных“.

Олейничук решает бороться с неправдой пером. Свою литературную деятельность этот фанатик начинает с прошения на высочайшее имя, в котором описывает положение крестьян и злоупотребления помещиков.

Борьба с крепостным правом становится отныне не только главной, но и единственной задачей жизни этого человека. Он ходит пешком по всей России, изучает положение крепостных и „злоупотребления“ в одной губернии за другой, и все записывает. Он пишет лист за листом в твердой уверенности, что правда не может не сказаться. Он, Семен Олейничук, твердо убежден, что вся суть дела в том, что вопиющая, потрясающая правда жизни мужиков, положение крепостных, — просто неизвестна наверху, самому царю. Разве, если бы царь знал, он бы потерпел хоть одну минуту шкуродерство помещиков, эти ужасающие злоупотребления, возведенные в систему? Семен Олейничук не знает, что убийственная правда давным давно всем наверху известна, что царь сам является тем же помещиком, „первым дворянином“, и что вся дво-

рянско-самодержавная власть только о том и заботится, чтоб сохранить прежний шкуродерский порядок, чтобы не дать ни малейшего облегчения задавленным бесправием и нуждой крепостным.

Из одной губернии в другую, из Нежина в Новгород, из Чернигова в Москву, из Кролевца в Петербург, неустанно, год за годом, бродит по России этот борец с крепостным правом. Количество фактов и доказательств помещичьих злоупотреблений, собранных и записанных им, — угрожающе, подавляюще растет. Чтобы не привлекать на себя внимания и не попасть снова в тюрьму, Олейничук объясняет свои странствования тем, что он „ходит по святым местам", собираясь поступить в какой-нибудь монастырь.—Странника не тронут. Никто не помешает ему. И с лихорадочной энергией целые дни Олейничук собирает факты и документы, а по ночам, украдкой, он пишет свое сочинение.

— О, эта работа не будет заурядной праздной выдумкой досужего сочинителя. Нет! Это будет труд огромного значения. Воистину кровью сердца и соком нервов пишется это сочинение. Это будет книга, после выхода которой начнется новая эра в жизни человечества. Это будет книга о крепостных, написанная крепостным, в результате упорной, фанатической, неослабной работы. Это итог целой жизни.

Днем — собирание фактов, ночью — сочинение.

Но Олейничук неспокоен. „Как начали за мной", — показывает он на допросе,—„присматривать и подозревать, что я по ночам занимаюсь чем-то непозволительным, то я, боясь ответственности, забрав книги свои и разные черновые заметки, пустился опять странствовать. Пройдя из Подольской в Киевскую губернию, равно побывав

в Киеве, и опасаясь расположиться здесь со своими сочинениями, я высмотрел за Днепром, на Никольской Слободке, удобное место, укрытое от глаз любопытных и полиции, и там преднамеревался решительно заняться сочинением, окончить оное, посоветоваться с более грамотными, чем я, людьми, и пустить свое сочинение в ход".

Только бы, только бы окончить сочинение, „пустить его в ход", и сразу же всем станет ясно, какие неимоверные ужасы творятся вокруг, откроются глаза у людей и перестроится вся жизнь сверху донизу.

Только бы, только бы не помешали! Чтобы избежать подозрений, Семен Олейничук, как ему казалось, придумал наилучший способ, выбрал глухой угол, чтобы здесь, на покое писать это свое, необходимое для всего человечества, сочинение. Материалы все собраны.—Вон она, вся огромная груда записей, какую он, целые годы скитаясь в качестве странника из одного конца России в другой, таскал в большом мешке за спиной. У него, Олейничука, есть теперь даже и средства, деньги, какие необходимы, чтобы спокойно заняться необходимым сочинением. Непрерывно голодая, отказывая себе в корке хлеба, он из того, что ему подавали в качестве милостыни, успел, оказывается, скопить 301 рубль серебром. Планы его обеспечены безусловно!

Но чем серьезнее были предосторожности, принятые Олейничуком, тем подозрительнее кажется он всевидящей полиции и попечительному начальству. — Странник, говоришь?.. В углу своем сидит и все пишет? Архипенко, забери!

И вот уже арестован автор, и отобраны у него 301 рубль серебром, и отобраны 158 написанных листов,

и отобрано главное, драгоценнейшие „черновые записи о злоупотреблениях“, собранные по всей России.

Олейничука не печалит ни пребывание в тюрьме, ни предстоящий суд и расправа. Его не заботит его собственная судьба. Но его сочинение... „Сочинение не окончено! Отобрано оно у меня вчерне, и ныне не представляет из себя ничего целого и полного!“— в ужасе жалуется Олейничук на допросе.

Жалобы ни к чему не ведут. Правда, сочинение Олейничука не закончено, оно еще в черновике, но опытный полицейский глаз сразу учуял, что перед ним нечто крамольное и потрясающее основы.

Чиновник особых поручений при Киевском генерал-губернаторе, Савицкий, на которого возложено представление рапорта об арестованном преступнике, „его предосудительных проступках, а также связях с зловредными и подозрительными людьми“, справился со своей задачей блестяще: „Олейничук выражается“,—докладывает Савицкий,—„что дворяне торгуют крестьянами, и в этом случае у него прорывается много мыслей, противных настоящему порядку вещей и даже могущих вредно действовать на понятия народа“.

Олейничук выражается. Эти „выражения“ свои он держал про себя, еще не распространял их, не успел даже и покуситься на распространение. Состава преступления не имеется. Но борьба государственного аппарата с обнаруженным крамольником ведется со всей энергией. Киевский генерал-губернатор срочно посылает в Петербург донесение шефу жандармов. Так, мол, и так. Изловлен Семен Олейничук, человек, который „обнаруживает много мыслей, противных настоящему порядку вещей, могущих вредно действовать на умы простого народа“. „А посему“—

заявляет генерал-губернатор,—„было бы полезно выслать его навсегда в одну из отдаленных губерний и подвергнуть такому содержанию, чтобы он вовсе не имел никаких отношений с крестьянами“.

Шеф жандармов, ознакомившись с донесением и приложенными к нему выписками из крамольного сочинения Олейничука, с своей стороны полагает, что одной только ссылки, хотя бы и навсегда, — мало. В своем докладе его императорскому величеству он указывает на необходимость заключить Олейничука в Соловецкий монастырь, потому, что он „со своим образом мыслей и понятиями может быть везде вреден, преимущественно для низшего класса людей“.

Николай I почел за благо еще более усугубить кару. О, дело весьма серьезно! Правда, выписки из сочинения Олейничука как нельзя ярче доказывают, что арестованный — убежденный монархист. Он, Олейничук, искренно верит в добрые намерения самого царя. Наивный автор „сочинения“ полагает, что дело совсем не в том, чтобы бороться с царским строем, а в том только, чтоб объяснить царю правду. Не будучи в силах додумать до конца положение, Олейничук искренно верит в царя. Он твердо убежден, что „виноваты жиды, виноваты ляхи, виноваты отдельные помещики“, а сам царь ни в чем не виноват.

Но этот монархизм не спасает Олейничука от суровости Николая I. Вины за ним нет, но она могла быть в будущем. „Олейничука карали“,—говорит П. Е. Щеголев,— „не за то, что он сделал, а за то, что он мог бы сделать“. И, вместо ссылки в отдаленные местности, или заключения в монастырь, Николай I высочайше повелеть соизволил посадить Олейничука в Шлиссельбургскую крепость.

Здесь, в секретном замке, так и просидел до смерти ни в чем не повинный крестьянин Олейничук, фанатик, веривший в правду, всю жизнь отдавший идее борьбы с крепостной неволей.

* * *

Стоит вдуматься в то отражение эпохи, какое представляют собой такие дела, как братьев Критских или Семена Олейничука, чтобы понять, каким жутким и пугающим представлялся в те дни „заговор“ петрашевцев.

Свыше года занимается жандармерия внутренним освещением кружка петрашевцев, каждого их шага и слова. Еще в марте 1848-го года д. с. с. Липранди командировал Антонелли в качестве своего агента, но только в апреле 49-го года освещение считается законченным. 13 долгих месяцев все действия петрашевцев совершаются, как под стеклянным колпаком, под зорким глазом жандармов. 13 месяцев агент-провокатор Антонелли, в качестве ближайшего друга и единомышленника, следит за каждым их шагом, каждым словом. И вот, наконец, окончательный доклад представлен Николаю I и, с благословения самодержца, начато арестование преступников.

В списки членов преступного сообщества включено 40 имен. „За дело, с богом!“ — говорит Николай I.

Тревожно следя за начатым делом, Николай I, когда получил доклад, что и самого Петрашевского и всех членов его группы по списку арестовали, „перекрестился широким крестом и воскликнул: „Слава богу, Россия спасена“.

Для расследования дела петрашевцев назначена особая следственная комиссия. В ее состав вошел и знаменитый начальник штаба корпуса жандармов ген.-лейтенант

Л. В. Дуббельт, и ген.-адъютант В. А. Долгоруков, и князь П. П. Гагарин. Вошел, кроме того, в эту комиссию и начальник штаба военно-учебных заведений ген.-адъютант Я. И. Ростовцев, тот самый Ростовцев, что сделал пышную карьеру свою, зарекомендовавшись в качестве шпиона еще с тех пор, как он еще юношей прославил свое имя доносом Николаю I на своих товарищей, декабристов.

Нет никакой возможности говорить о петрашевцах не только как о заговорщиках, но и вообще, как о чем-то однородном.

До чего разные люди объединены под этим понятием режимом Николая I. Здесь и неумеренные мечтатели, фурьеристы, здесь и умереннейшие конституционалисты, здесь же, наконец, и люди вообще, еще не успевшие разобраться, чего они, собственно, хотят, — люди, оказавшиеся связанными друг с другом только во имя „приятного знакомства". Но Николай Павлович во всех усмотрел один и тот же опаснейший признак: у них, — страшно вымолвить! — у них в голове есть идеи.

„Заговор идей" — к такой именно формуле сводят всю сущность дела петрашевцев даже и особые две комиссии, созданные по повелению Николая. Даже они принуждены признать, что дело Петрашевского не имеет „ни той важности, ни того развития", какие ему приписывались. Но это официальное признание, конечно, вовсе не мешает генерал-аудитору добиться признания петрашевцев безусловно виновными в государственных преступлениях. И вот уже 21 человек приговорены к смертной казни, и только „неисповедимые пути монаршего милосердия" заменяют смертную казнь каторжными работами, арестантскими ротами и ссылкой.

Петрашевский ведет себя во время процесса с исключительным достоинством. Его тон независим. Первое время он и вовсе отказывается от дачи показаний, и только, когда ему представлены письменные доказательства того, что положение дела уже известно, благодаря выдаче товарищей Спешневым и другими, — Петрашевский соглашается отвечать на вопросы. В своих показаниях он запальчиво спорит с судьями, пылко защищает идеологию Фурье от нападок видавших виды, думающих только о карьере, представителей военно-судной комиссии.

Петрашевский заботливо делает все возможное, чтоб выгородить товарищей по заключению. В письмах из крепости к следователям он настойчиво хлопочет за товарищей, требует дозволить им чтение книг, прогулки и проч. Особенно заботится он о Достоевском, обращая внимание следователей на то, что „Достоевский еще прежде страдал нервическими раздражениями. Считаю долгом предупредить вас, господа следователи, чтоб под вашими руками не совершилось убийство нравственное. Не забудьте, что большие таланты есть собственность общественная, достояние народное".

Повышенная требовательность к себе, мучительные мысли о предательстве, из-за которого возникло дело, и о том, не повинен ли он и сам в предательстве уже потому, что отступил от первоначального решения не давать никаких показаний,—все это, в связи с тяжелыми условиями заточения, повлекло за собой у Петрашевского целый ряд галлюцинаций, привело его к душевному заболеванию. Когда Петрашевского в числе прочих, приговоренных к растрелу, вывели на эшафот, — под дулами ружей стоял человек больной, ненормальный.

Показания Петрашевского необычно резки по тону. Следующим, например, образом объясняет он следователям, „как сочинилось обвинение и составился донос“:

„Кому-то, разумеется господину обвинителю, понадобились деньги, а пожалуй, и заслуга, виновный или вина. Выгоднее двух ворон одним камнем убить. Задумав это, господин обвинитель так сам с собой рассуждал: „Не помню хорошо, что значит либерализм, но помню, что некогда либералов преследовали. Ныне на социалистов криво глядят. Значит, социализм и либерализм одно и то же. Говорят, что всякий образованный человек есть либерал. Всего лучше запустить руку в круг, не чуждый литературы. Писатель есть либерал действующий. Как живой человек, он не может не желать лучшего. Желает лучшего, значит противник существующего. Литератор — это клад. У всякого есть статьи нецензурованные и нецензурные. Всякая недозволенная цензурой статья есть уже нечто преступное. Всякое слово, неосторожно сказанное, недосказанное, есть выражение злого умысла, всякая неловкая фраза есть писанное покушение. Как вы видите, у обвинителя не худой был план в смысле стратегическом. В городе давно известно, что я социалист-фурьерист. Человек я не пронырливый, следовательно, беззащитен. Совершенно не имею за себя ни одной сильной руки, которая могла бы меня, в случае несчастья, поддержать, к тому же горд и немножко самонадеян. Это и заставило господина обвинителя избрать меня в примадонны этой комедии или драмы. Обвинитель не рассчитал только, что он встретит обвиняемого, который, не отпираясь ни от одного из дел своих, ссылками на статьи закона докажет, что все его действия не только законны, но и похвальны. Чем бы ни кончилось это дело, но, как на челе Каина бог начертал

печать отвержения по убийстве им Авеля, так и я на челе моего обвинителя самыми словами его же обвинения напишу слова: злодей и невежда. Убеждение в этом проникнет в сердца всех, кто будет разглядывать это дело. Слова моего осуждения прильнут к обвинителю, прожгут череп его до мозга, стоустая молва разнесет их, и правда в сем деле откроется".

Вера Петрашевского во всепобеждающую силу идей Фурье была так велика, что во все дни после ареста, во время следствия, он не упускает случая пропагандировать эти идеи. Он старается обратить в последователей Фурье даже опытных специалистов из жандармского ведомства, кому поручено следствие по делу петрашевцев.

Петрашевский сознательно относился к грозящей ему опасности, сознательно обрекал себя на жертву, ради пропаганды своих идей. В своей записке следственной комиссии он указывает: „Не раз говорил я моим знакомым, что тайная полиция давно уж на меня пристально смотрит, что, правый или виноватый, я должен ждать первый от нее захвата, и что их всех может постигнуть та же участь. Но потребность в разумной беседе была так сильна, что заставляла пренебрегать этим, и они теперь делят со мною неприятное заключение. Вот торжество духа над материей",—говорит, вдумываясь в положение, арестованный.

Как рисуют личность Петрашевского документы и показания современников?

Даже в доносах Антонелли имеются указания, что сам по себе Петрашевский „вовсе не старается быть героем какого-нибудь переворота, напротив, он готов пожертвовать собою, чтобы только укоренились его идеи".

Самая наружность М. В. Петрашевского, по свидетельству Герцена, обращала на себя внимание необычностью и значительностью: „Он был широкоплеч, с нервными руками... Его темно-серые глаза всегда сверкали умом. Его походка и все его движения были порывисты“. Даже предавший Петрашевского провокатор Антонелли в своих рапортах по начальству не может не засвидетельствовать, что Петрашевский „говорит с жаром, с убеждением. Во время речи выражение его лица было действительно прекрасным и, признаюся, я невольно им любовался“.

Заставить любоваться собой даже провокатора, увлечь своими речами специалиста, присланного жандармским отделением,—для этого действительно нужно было иметь много обаяния, много подлинной и глубокой влюбленности в свои мысли.

Сам о себе Петрашевский в записке, написанной в ответ на вопросы следственной комиссии, рассказав о печальных условиях своего детства, о нелюбви к нему матери, сообщает: „В 20 лет судьба заставила меня иметь равнодушие к жизни, свойственное старости. Не находя никого достойным своей привязанности, ни из женщин, ни из мужчин, я обрек себя на служение человечеству и стремление к общему благу заменило во мне эгоизм и чувство самосохранения“.

Следствие по делу петрашевцев ведется ускоренным темпом. Уже через два месяца оно оказывается закончено. Но и этого короткого времени вполне достаточно, чтоб довести Петрашевского до душевного заболевания. Больше всего потрясла его наличность в деле предательства и провокации.

„Вся история провокации“,—пишет он в своей последней записке следственной комиссии,—„если нужно,

будет ото всех тайной глубокой. Всем дорогим сердцу клянусь сохранить ее, но не губите невинных. Если мне не суждено быть полезным человеку, то да будет мое самопожертвование, вольное самозаклание, полезно для отечества. Пусть меня одного постигнет кара закона. Пусть не будет стыдно земле русской, что у нас стали являться агенты-провокаторы".

Герцен в своей статье о петрашевцах сообщает, что ожидали „в худшем случае" ссылки обвиненных на поселение и что, собственно, таков и был первоначальный приговор комиссии военного суда. Но император разгневался и будто бы сказал: „Знают ли судьи, что подобное милосердие с их стороны является присвоением себе привилегий монарха?"

Николай I дал понять членам комиссии, что „суд обязан постановить приговор по всей строгости закона". После такого внушения приговор, конечно, был изменен и 21 смертный приговор вынесен по делу петрашевцев.

До какой степени неожиданными являлись эти смертные приговоры, видно из того, что даже человек с настолько жандармской психологией, как знаменитый генерал Дуббельт,—и тот считал нужным даже не помещать петрашевцев в крепость, не ссылать их в Сибирь, а только выслать их заграницу. „А то крепость и Сибирь, сколько ни употребляют эти средства, все никого не исправляют. Только станут на этих людей смотреть, как на жертв, станут сожалеть об них, а от сожаления и до подражания недалеко",—записал Дуббельт в своем дневнике.

Подвергнуть петрашевцев смертной казни не рискнул даже такой механический, из олова и жести сделанный,

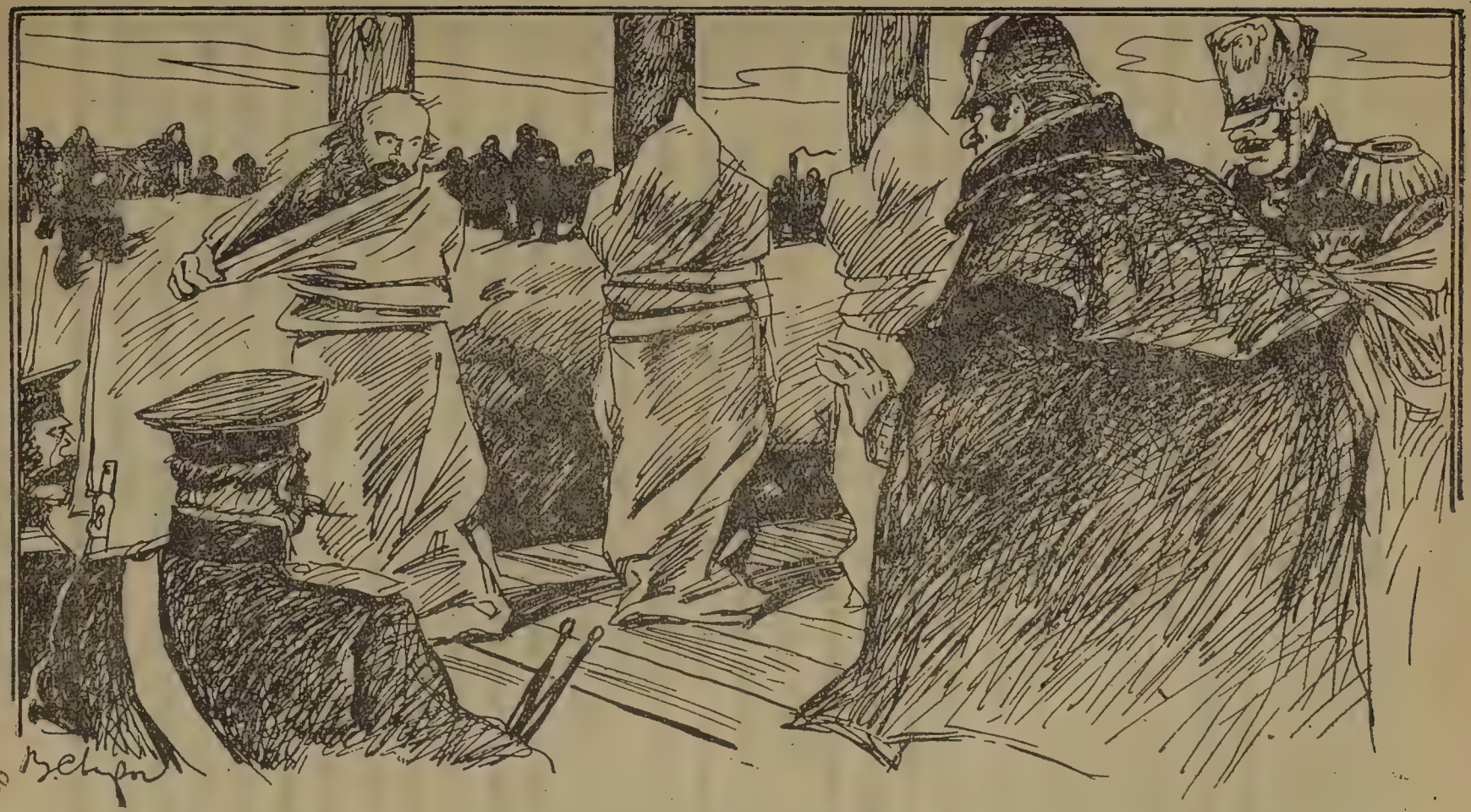
человек, как Николай I. Слишком уж ясно было всем и каждому, что никакой действительной вины, никаких преступлений за этими людьми нет. Но и отказавшись от смертной казни, Николай держит это решение в строжайшем секрете: поиздеваться до конца, до предела, заставить осужденных перенести все предсмертные муки полностью, — от этого Николай I отказаться никаким образом не желает.

В записках барона Корфа находим подробное описание того издевательства, какое было произведено над приговоренными к смертной казни петрашевцами.

„В 8 часов утра 22-го декабря преступников вывезли из крепости. Все они были рассажены порознь в извозчичьих возках. В каждом сидело по рядовому внутренней стражи, а по обе стороны возков и впереди поезда ехали жандармы верхами. На Семеновском плацу, перед самым валом, возвышалась нарочно устроенная платформа, на ней три столба. С трех сторон ее размещены войска — батальоны лейб-гвардии Московского, Егерского и Конно-Гренадерского полков, т.-е. тех, к которым принадлежали заговорщики военного звания. Вокруг них многотысячная толпа“.

Сделано все, чтоб казнь выглядела „шикарно“, чтоб зрелищу был обеспечен полный сбор. Не забыта ни одна деталь, какая может обеспечить успех зрелища у невзыскательной публики.

„Преступников“, — описывает барон Корф, — „высадили из возков, провели вдоль всего фронта, и поставили на платформу, после чего всем прочитан был смертный приговор. Священник, выйдя вперед, произнес осужденным последнее увещание. Начались обряды, предшествующие расстрелянию. Палач стал ломать над головами их шпаги. Всех



Петрашевцы на эшафоте.

приговоренных к смерти одели в особые белые рубашки с капюшонами. Комендант повел первых трех стоявших с правого фланга—Петрашевского, Момбелли и Спешнева—к столбам, к которым их и привязали. Петрашевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза. Начальствующий войсками скомандовал „к заряду“ и они приступили к исполнению команды“.

В „записке о деле“, составленной в III отделении, сказано: „Петрашевский был более всех дерзок. Он принимал позы, несвойственные его положению, помогал приковывать к ногам своим цепи. Когда надели на преступников саваны, сказал: „Господи, как мы должны быть смешны в этих костюмах“...

...Уже взведены ружья, уже черные дула глядят в глаза осужденным, уже произнесены „раз, два, три... клац“ (команда „клац“ заменяла в те дни обычное „пли“). Уже осужденные перенесли все, что только можно пережить в эти предсмертные минуты, и только тогда выясняется, что вся эта жалкая комедия придумана его величеством. Только в это время по расписанию должен появиться фельд-егерь с царской бумагой.

Постановка спектакля блестящая. У режиссера есть выдумка. Это видно.

В неизреченной благости своей, его императорское величество соизволил изменить меру наказания: Петрашевскому назначено лишение всех прав состояния и каторжные работы без срока, Момбелли—15 лет каторги, Львову—12 лет, Спешневу—10 лет. Ф. М. Достоевскому было назначено 4 года каторги с отдачей потом в рядовые.

Новая процедура. Петрашевскому надевают кандалы, и, так как палач оказывается неопытен, и Петрашевскому

это надоело, то он сам берет в руки молоток и клещи и, проявляя неожиданные дарования кузнеца, „сам заковывает себя“. От эпохи Радищева, от времени декабристов, пред ними первое, может быть, единственное, практическое дело, до конца осуществленное революционно настроенным интеллигентом российским.

Но вот уже поданы кибитки, время ехать. Осужденных надо рассортировать, кого на каторгу, в далекую Сибирь, кого по тюрьмам и этапам. „Я еще не окончил своих дел“,—уверенно заявляет Петрашевский, и так спокойно и убежденно звучит его голос, что жандармы так и не решаются мешать.

Петрашевский обходит всех осужденных, каждого целует, спокойно и торжественно прощается со всеми. Смущенные жандармы ждут. Только закончив обход всех арестантов, торжественно распрощавшись с каждым, Петрашевский, с трудом передвигая закованные в кандалы ноги, спускается с эшафота и садится в кибитку. Взобрался на козлы жандарм с саблей и револьвером, сел рядом с осужденным фельд-егерь, раздалось грозное „Поберегись“ и понеслась, скрылась из глаз тройка, увозящая в далекую Сибирь на неизбывные каторжные муки очередных преступников, граждан России, умеющих любить свободу.

К сообщенным Корфом подробностям ссылки много дополнений находим в воспоминаниях Ахшарумова. После появления флигель-адъютанта от государя, встреченного барабанным боем, всех обвиненных одели здесь же в арестантские шапки и грязные тулупы. Всех их оставили босиком, а „сапоги велено было держать в руках“.

— Чтение приговора,—сообщает Д. Д. Ахшарумов,—продолжалось добрых полчаса. Мы все страшно зябли. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась

словами: „Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни расстреляниєм, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: „Быть посему“.

„Момент был поистине ужасен: видеть людей, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них почти в упор ружейные стволы и ожидать, вот-вот прольется кровь и они упадут мертвые, — было ужасно, отвратительно, страшно. Сердце замирало в ожидании. Барабанный бой. И вслед затем увидел я, что ружья, прицеленные, все вдруг были подняты стволами верх. В привезенной флигель-адъютантом бумаге возвещалось нам „дарование жизней и взамен смертной казни каждому по виновности особое наказание“.

Петрашевского повезли в Тобольск, в тамошний приказ о ссыльных, а оттуда — на каторгу, в заводы Нерчинского округа. Когда Петрашевского повезли, кто-то из толпы, стоявшей позади войск, — свидетельствует А. И. Герцен, — снял с себя шубу и подбитую мехом шапку и бросил их в сани Петрашевскому.

Путь петрашевцев в Сибирь описан в целом ряде мемуаров. Одиннадцатидневный путь в Тобольск совершается без перерыва. „Не дай бог терпеть лихому татарину, что потерпел я проездом, не отдыхая ни часу, в течение одиннадцатидневного пути в Тобольск“,— говорит Петрашевский в письме к матери.

К этому времени в Сибири успели уже сложиться традиции быта политических.

В Тобольске заключенных в пересыльную тюрьму петрашевцев взяли под свое покровительство представительницы прежнего поколения, жены декабристов — Муравьева, Анненкова, Фонвизина. Они — сообщают источ-

Привал арестантов.

(С картины худ. В. И. Якоби).

ники, — заботились о вновь прибывших, как о родных, присылали им пищу, одежду, утешали, ободряли их.

Отсюда петрашевцев погнали пешком „по назначению“, в заводы Нерчинские, Александровские, Шилкинские и др.

Петрашевский в это время сильно нуждался. Никто из родных не посылал ему ни гроша. Особенную жестокость проявила его мать, очень богатая женщина, которая за долгие годы так и не пожелала послать ни одной копейки остро-нуждавшемуся сыну.

Условия жизни очень тяжелы, но Петрашевский не теряет жизненной энергии. Вместе с товарищами он умудряется устроить на Александровском заводе школу, которая стала пользоваться большой популярностью в тех глухих местах.

Совершенно исключительную энергию проявляет сосланный на каторгу Петрашевский и в деле борьбы за свои права. Он считает своей обязанностью всемерно „протестовать против неправосудия“, сказавшегося в его процессе. Он засыпает все присутственные места целым рядом прошений, в которых убедительно перечисляет все примеры несоблюдения законов, сказавшиеся в его процессе. Нерчинское горное правление не желает отсылать его прошений в сенат и, оставляя их без последствий, возвращает Петрашевскому обратно. Возвращено первое прошение и второе. Он отсылает третье. На этот раз бумага попадает в главное управление восточной Сибири и приносит кое-какие результаты. Начато целое следствие, но не по существу просьбы Петрашевского, а лишь о том, на каком основании Нерчинское горное управление позволило себе принимать жалобы от государственного преступника, приговор над которым получил высочайшую конфирмацию? Петрашевский снова по-

сылает — четвертое — прошение. На этот раз в ответ приходит лишь запрос: „В каком положени здоровья находится Петрашевский по умственным своим способностям?“.

„Очевидно“,—говорит В. И. Семевский,—„с бюрократической точки зрения казалось, что так настойчиво отстаивать свои человеческие права может только „человек не вполне нормальный“.

Только при Александре II измученный Петрашевский был, наконец, „освобожден от каторжных работ с переводом на поселение“. Он приписан к ближайшей к Иркутску Кудинской волости и живет в Иркутске. Генерал-губернатор восточной Сибири Н. Н. Муравьев, игравший в те годы в либерализм, принимает у себя и Петрашевского, и его товарищей по процессу, Спешнева и Львова.

В это время у Петрашевского была полная возможность, с помощью Муравьевской протекции, добиться высочайшего помилования и даже восстановить себя в чинах и звании, но от этого он сознательно отказался.

„Не лучше ли“,—заявляет он,—„умереть в глуши, пусть без куска хлеба, но с непреклонно-гордым челом, чем с гибкой спиной? Из почетного сословия русских политических ссыльных — перейти в постыдные ряды русской бюрократии и даже, пожалуй, дослужиться до пенсии от тех, с кем боролся, и которых ни любить, ни уважать никогда не мог?“

Нет, этого он не хочет, этого никогда не будет.

Вместо того, чтобы дорожить вниманием всесильного сатрапа Муравьева, Петрашевский остается верен себе. Он считает своим долгом говорить генерал-губернатору горькую правду со всей откровенностью. И вот уже

Петрашевский, в срочном порядке, ночью, выслан из Иркутска. Полицейские, увозившие его, не сказали ему даже, куда его везли.

На этот раз Петрашевского сослали в Минусинский округ Енисейской губернии, в село Шушинское.

Сосланный начинает снова бороться с несправедливостью, систематически посылает все новые и новые прошения. Говорит он в них не только о себе, но и обо всех несправедливостях, какие встретил на свом пути, но Муравьев все его прошения задерживает и никакого хода им не дает.

Родные и знакомые Петрашевского засыпают его добрыми советами покориться и не осложнять своей судьбы дон-кихотской борьбой за правду. Но Петрашевский непоколебим. „Если бы я был сослан"—читаем мы в одном из его ответных писем,—„за воровство, мошенничество, измену отечеству, а не за то, что нравственные требования общего блага понимал яснее других, и говорил, когда все молчали,—тогда отмалчивание и даже нахваливание явно-бесчестных действий всякой власти могло быть мне по сердцу. Но если я смело однажды выступил на борьбу со всяким насилием, со всякой неправдою, то теперь мне уж не сойти с этой дороги, ради приобретения мелочных выгод и удобств в жизни. Мне теперь уже поздно обучать себя выгодному подличанию!"

От частного к общему, В. Петрашевский в этих своих разногласиях с благоразумными советчиками видит доказательство общей пришибленности русских людей того времени: „Все мы, русские, существа какие-то пришибленные",—пишет Петрашевский:—„В нас всех ощутителен недостаток самостоятельности личной в смысле гражданском. Все мы трусы. В столкновениях с властью мы до

того трусливы, что даже и в дружеском кругу боимся нашу мысль высказать вполне. Нам все мерещится за спиной квартальный. Мы все еще одурены до некоторой степени перешедшим к нам по наследству разрушающим бодрость духа благоговением ко всякой власти. На всякую административную тлю, особенно в генеральском чине, мы смотрим как на богов-громовержцев".

„Административные тли в генеральском чине" сумели доставить Петрашевскому еще много тяжелых испытаний. Высланный в село Шушинское Минусинского округа, Петрашевский и здесь сразу же проявил себя пламенным защитником своих односельчан и начал борьбу с местными властями против разных утеснений и неправд. Его снова высылают в новое, еще более глухое место, отсюда снова, все в новые и новые места, пока не переводят в глухую деревушку Верхний Кебеж за Минусинском. Предписание начальства, указывая на то, что Петрашевский „продолжает вредно влиять" на окружающих, предписывает выслать его в такую местность Минусинского или Енисейского округа, где бы он не мог войти ни в какие отношения с политическими.

Трудно найти такое место, где бы заботами начальства не оказалось ни одного политического. И Верхний Кебеж не оказался последним этапом в жизни скитальца.

Какова была жизнь Петрашевского в этой дыре, видно из следующих деталей, сохранившихся в рассказах местных жителей: „Квартира, из которой Петрашевский не должен был отлучаться, состояла из отдельной избушки, которая, к несчастью, не была заблаговременно проморожена". Что значит „не проморожена" — это требует особого объяснения: „Одну из египетских казней составляют здесь

тараканы. Крестьяне, чтобы избавиться от них, хотя на время, — в самые жестокие морозы, градусов в 40, выселяются из своих изб, выставляют окна, отворяют двери и наваливают на пол груду снега. Это и называется вымораживанием. Без этого тараканы размножаются в ужасающем количестве. В невымороженной избе не только ничего съестного держать нельзя (все будет съедено тараканами в несколько часов), но и вообще жить нельзя. О заползании под белье, в нос, в глаза, в уши и в рот и об укусах говорить нечего".

Но и здесь, в этой обстановке, Петрашевский попрежнему продолжает свою борьбу за правду, свою защиту односельчан. Он вмешивается в дело об убийстве некоего Чернышева, пишет целый ряд заявлений, вплоть до жалоб на высочайшее имя и т. д. и т. д. Неугомонного ссыльного снова высылают. На этот раз место ссылки, выбранное начальством, — село Бельское Енисейской губернии, затерянное в глухой тайге, на сотни и тысячи верст, гиблое место, где „ни одной книги ближе Енисейска нельзя было достать".

Но и здесь — по-прежнему верен себе Петрашевский. В. Арефьев, впоследствии на месте собиравший подробные сведения о его судьбе, рассказывает, что крестьяне смотрели на Петрашевского, как на очень важное лицо, потому что он „очень независимо держал себя по отношению к местным властям и постоянно враждовал с ними. Ходили к нему только бедные крестьяне, он писал им разные прошения и жалобы, помогал советами и лечил их. С начальством Петрашевский был в большой вражде, выводил, по рассказам старожилов, на свежую воду все их грехи, писал на них жалобы, и этим навлек на себя их общую ненависть".

Начальство снова принимает меры к тому, чтобы сослать Петрашевского в новое место, дабы „воспрепятствовать ему заводить знакомства и непозволительные связи“. Но смерть-избавительница разрушает новые планы благопопечительного начальства.

Умер Петрашевский скоропостижно. Когда его нашли в постели мертвым, народная молва приписала его смерть отравлению, которое, будто бы, произведено „по подкупу начальства“, ненавидевшего покойного. В селе сохранилась целая легенда об этом отравлении.

После смерти Петрашевского остались целые вороха исписанных бумаг, но куда они девались, добиться оказалось невозможным. Местные жители отвечали: „Куда-то увезены“...

...„Его можно было-сломить, но согнуть никому не удалось“. До последних дней сохранил Петрашевский не только внутреннюю бодрость, но и полную веру и в свои идеалы, и даже в ближайшее будущее. Когда, напр., в Красноярск прибыл сосланный в каторгу писатель М. И. Михайлов, Петрашевский, после встречи прощаясь с ним, воскликнул: „До свидания в парламенте!“

По оффициальным сведениям, „политический преступник М. В. Буташевич-Петрашевский умер скоропостижно 7 декабря 1866 года и погребен 12 февраля 1867 г.“. Больше двух месяцев труп ждал получения разрешения на погребение. Как человек, умерший без покаяния, он зарыт вне кладбища.

Много лет могила Петрашевского стояла совершенно одинокой, всеми забытой, не отмеченной даже простым камнем.

Ко дню 50-летия со дня смерти Петрашевского, в 1916-м году историк В. И. Семевский получил от поли-

тического ссыльного Крыгина из села Бельского письмо, в котором тот сообщает, что „мечты ссыльных о постановке цементного памятника на могиле Петрашевского не могут быть осуществлены, так как их рассеяли по разным местам, а денег в фонде Петрашевского только 8 р. 20 к.“.

Известно только, — говорит родственник Петрашевского Владимир Демор, автор биографии покойного, — что могила первого, социалиста России, М. В. Петрашевского заброшена.

...Как подсчитать, как оценить идейное наследство, оставленное Петрашевским?

„Постоянные указания Петрашевского, что необходимая России революция требует подготовки путем народной пропаганды—были восприняты в период так называемого „хождения в народ“,—указывают историки. Не пропали даром заветы Петрашевского и о том, что „достаточно заронить в народе идею социализма, а там она сама расцветет, созреет“.

„Эта чистота души, полное бескорыстие, эта вечная до гроба борьба с неправдой, эта вера в идеалы, стремление к социальному строю, впервые им в России провозглашенному, дают Петрашевскому,—говорит биограф, — право стать в ряды тех людей, которых благодарное потомство должно высоко чтить, как учителей своих, поборников вечной истины и красоты духовной“.

ГЛАВА VI.

Каракозов, Стефанович, Нечаев.

До чего разными, непохожими друг на друга представляются образы русских революционеров! Среди отдельных фигур, какие встают перед глазами, когда внимательно всматриваешься в туманную даль нашего прошлого, — раньше всего не может не кинуться в глаза резкое различие между „одиночками“ и „массовиками“, двумя различными типами, разными психологиями революционеров.

Революционеры-„массовики“ — не только разумом, но и инстинктом, всем нутром, чувствуют свою связь с массами, с коллективом, с великой, по внешнему, пока безликой и глухо молчащей, но мощной и всесильной толщей народа.

Революционеры - „одиночки“ — это люди яркой индивидуальности, беззаветного народолюбия и подвижничества. Но не массы народные, не целый класс, а только самих себя, со своими личными увлечениями и порывами представляют и представительствуют эти революционеры-индивидуалисты.

Если в старые времена человек типа Стеньки Разина был силен и являлся вождем лишь в той мере, в какой он олицетворял желания и волю окружавшей его воль-

ницы, то и теперь, в эти переломные годы жизни России — тем-то и значительны такие люди, как ткач Петр Алексеев или рабочий Степан Халтурин, что, как мы увидим, они в каждом шаге своем, в каждом поступке—выражают те массы, с какими непосредственно слиты всей жизнью.

Совершенно иное и по иному проявляется в действиях таких людей, как А. Н. Радищев, Пестель или Петрашевский и т. п. „одиночки", отдельные герои революционного движения. Стоит сравнить между собой эти два психологических типа и сразу же окажется, что полностью оправдываются веские слова:

Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь, и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

Подлинное революционное движение — по самому существу своему, в самой основе,—явление массовое. Главный герой его — это всегда толпа, класс, массы. Отдельные личности, единичные герои, как ни исключительны те вершины, каких достигают они в те моменты, когда идут на подвиг,—сильны только своей связью с массами.

Чем меньше эта основная и решающая связь „героев" и „толпы",—тем беспомощнее герои, тем неизбежнее срывы, следующие за подъемами, провалы, сменяющие взлет.

Примеров таких провалов и срывов много во все эпохи.

Величавы и трогательны декабристы, пока они сознательно жертвуют собой, чтобы разбудить Россию, застывшую в летаргическом сне, изнывающую под властью венценосца. Но вот прошел период подъема, и как горько видеть, что, напр., Рылеев, благородный, вдохновенный Рылеев,

еще только что являвший собой пример подлинного героизма,—в предсмертном своем письме пишет жене:—„Воспитай дочку нашу в любви к нашему государю". Зачем, почему и для чего губит все дело своей жизни этот человек? Неужели он, идя на виселицу, в последние минуты не желал сохранить в чистоте свою душу, те освободительные идеалы, во имя которых он жил? Его все равно повесят. Он знает это, и вовсе не мечтает, что запоздалая любовь к царю спасет его жизнь. Почему же не позаботился он о том, чтобы свято сберечь те убеждения свои, в жертву которым он отдал свою жизнь?

Рылеев—не исключение среди декабристов. Даже Каховский, злобный, непримиримый Каховский, ярче всех горевший ненавистью, убивший в день 14-го декабря Милорадовича и собиравшийся убить и Николая I-го, и он, Каховский, в своем дневнике в дни ожидания приговора записывает: — „Сегодня я возлюбил моего государя".

Откуда эти странные, самоубийственные в устах этого человека, слова?

Николай I-й—это был человек ограниченный и недалекий, но хитрый и хорошо знающий окружающих его людей. Николай I хорошо знал, что делал, когда распорядился послать жене Рылеева, оставшейся без средств после ареста ее мужа и нуждавшейся, две тысячи рублей. Николай I знал, что делал и тогда, когда он догадался сказать Каховскому несколько ласковых слов во время его допроса.

— Ты, Каховский, — гражданин России, и я — гражданин России. Неужели же мы не найдем с тобой общего языка, Каховский? Неужели не сумеем искренне объясниться друг с другом о судьбах нашего дорогого отечества?

Грош цена всем этим жестам и словам хитрого и злобного Николая I-го. Эти жесты и слова ни к чему не обязывают жандарма на троне, они ничего ровно не меняют, и в свой час Рылеев и Каховский вместе с своими товарищами будут благополучно повешены. Ласковые слова венценосца по их адресу—это не движение души человеческой, а сознательная хитрость, ловко рассчитанный шахматный ход. Но и этого жеста оказывается достаточно, чтобы „сдали“ и Рылеев, и Каховский, и многие, многие еще. Не нужно и притворной ласковости, чтобы „диктатор“ восстания 14 декабря, князь Трубецкой кинулся на колени перед самодержцем.

— Ты — князь Трубецкой, Рюрикович, среди этой сволочи?! — гневно грохочет Николай. И униженно и коленопреклоненно лобызает царскую руку князь Трубецкой, моля его величество о прощении, о сохранении жизни.

Трубецкой представляет собой сплошное ничтожество. Но Рылеев, но Каховский?!

„Воспитай нашу дочку в любви к нашему государю“, „Сегодня я возлюбил нашего государя“,—как в их устах понять все эти слова?

Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.

* * *

Примеры срывов, уклонов и падений, какие мы видели в среде декабристов—увы!—вовсе не исключительны. Психология революционера-одиночки не может быть устойчивой. Та или иная „легкая кавалерия“ во время военных действий значительна лишь в той мере, в какой „пехота движется за нею, и тяжкой твердостью своею ее стремления

крепит". Лишь в той мере, в какой они связаны с массами, значительны героические личности.

Примеров, иллюстрирующих это положение, не оберешься на любой странице истории революции. Чего стоит, напр., один А. Н. Радищев. Этот человек написал чудесную, исключительную для своего времени книгу, исполненную настоящего вольнолюбия и подлинной смелости. В те дни написать и издать „Путешествие из Петербурга в Москву" и оду „Вольность", — это ли не подлинный и бесспорный героизм? Но вот узнавшая об этом героизме разгневанная Екатерина предписала арестовать Радищева, направила его дело к Шешковскому, и Радищев падает в обморок, как только узнает о предстоящем ему допросе, и сразу же, с первых слов своих показаний, начинает раскаиваться и приносить повинную. Он, Радищев, и сам не понимает, как он мог допустить столь кощунственную перед ее величеством дерзость. Он, Радищев, только и мечтает искупить свой тяжкий грех, свое преступление у подножия престола...

Пусть временный срыв снова заменится подъемом, но непрочен и безнадежен героизм индивидуальный, героизм одиночки, оторванного от толщи, от массы, от толпы.

Если даже такие люди, как М. Бакунин, срываясь со свойственных им высот, падали так низко, как это сказалось в ошеломительной „Исповеди", написанной Бакуниным, то удивляться ли, что в действиях целого ряда таких революционеров, как С. Нечаев, Я. Стефанович, Каракозов и др., мы, наряду с подлинным и величавым героизмом, видим много неизбежных уклонов и падений.

Высоким горам свойственны белоснежные вершины. Это правда. Но высокие горы не встречаются в природе изолировано, одиночками. Монблан и Эверест возможны

только среди горных кряжей, рядом с иными горными массивами, хотя бы и меньшими по размеру. Вне горного кряжа, в отдельности от него, не бывает высоких гор на земле.

На равнине, в низменности или на болоте искать гору со снеговой вершиной — не значит ли это уподобляться тому мальчику, который наивно спрашивал:

— Мама, а почему города не строят в деревне?

* * *

Как резко сказалось положение революционера-одиночки во всей судьбе, всей жизни Д. В. Каракозова! Лишенный непосредственной связи с массами народными, оторвавшийся от них, принужденный действовать, хотя и „для народа", но не „через народ", Д. Каракозов не мог, наряду с подлинным величием революционера, какого так много в его жизни, не проявлять еще и иных, недостойных, неожиданно мелких, „человеческих, слишком человеческих" черточек.

Такого же рода совмещение героического с обывательским, великого с плоским, ярко проявляется во многих из подсудимых по делу Ишутинцев, из среды которых вышел Д. В. Каракозов, кто своим выстрелом в Александра II 4-го апреля 1866-го года впервые открыл новую эпоху, грустную и неизбежную эпоху террора.

Сам по себе Д. В. Каракозов безусловно способен на подвиг. „Если бы у меня", — заявляет Д. В. Каракозов в своих показаниях после ареста в ожидании неминуемой виселицы: —„если бы у меня было сто жизней, а не одна, и если бы народ потребовал, чтобы я все эти сто жизней принес в жертву народному благу,—клянусь всем, что

только есть святого, что я ни минуты не поколебался бы принести такую жертву".

Это не пустые слова. Д. Каракозов доказал свое право на такое заявление.

Но революционер-одиночка Каракозов—человек мгновения, человек порыва. Еще только что в письме своем на имя Александра II он пишет уверенно и смело, что покушение 4-го апреля, совершенное им—это только начало:

Д. В. Каракозов.

„Скоро придет время, когда никакие в мире законы, ни государи, не будут в состоянии удержать порывы народного гнева, и горя, и злобы, вследствие накопившихся в душе народа бед и горя, вследствие сознания несправедливости такого порядка вещей, при котором у рабочего человека отымается заработанный им лишний кусок хлеба, который идет в пользу лиц, не принимавших никакого участия в труде для увеличения народного богатства и благосостояния. Где бы ни вспыхнуло рабочее движение,—в Англии, Франции или Германии, или наконец у нас в России",—убежденно пророчествует Каракозов—„оно, как пламя, охватит всю Россию пожаром".

Он понимает, четко и ясно понимает положение этот человек. Не только одну свою жизнь, но „если бы у него было сто жизней, а не одна, он и тогда ни минуты не колебался бы принести такую жертву".

Но вот надвинулся день казни. Приговор объявлен в окончательной форме, и Каракозов сразу же решает подать на высочайшее имя прошение о помиловании.

„Преступление мое выше всякой меры!“— неожиданно заявляет здесь Каракозов:—„Преступление мое так ужасно, что я, государь, не смею и думать о малейшем хотя бы смягчении заслуженного мною наказания. Но клянусь, государь, в последние минуты,—что, если бы не это ужасное болезненное состояние, в котором я находился со времени моей тяжелой нервной болезни, я не совершил бы этого ужасного преступления. А теперь, государь, прошу у вас прощения, как христианин у христианина, как человек у человека“.

Прошение подано 1-го сентября. На завтра, 2-го сентября, председатель суда, князь Гагарин, вызвал Каракозова для сообщения высочайшей резолюции, последовавшей в результате его ходатайства.

«Каракозов, — читаем мы в воспоминаниях одного из должностных лиц, служивших при Гагарине, — „вошел с таким светлым лицом, что, очевидно, он ожидал услышать весть о своем помиловании.

„— Каракозов,—сказал князь Гагарин:—государь император повелел мне объявить вам, что его величество прощает вас, как христианин, но как государь—простить не может.

«Вдруг, как молния весь свет с лица несчастного исчез. Оно внезапно потемнело, и приняло суровое, мрачное выражение.

„— Вы должны готовиться к смерти, — продолжает князь Гагарин, исполняя высочайшее поручение: — Подумайте о душе своей, покайтесь“.

На другой день, 3 сентября 1866 года, в 7 часов утра Каракозова повесили. Прошение на высочайшее имя, катастрофическая сдача всех душевных позиций—практических результатов так и не принесла. Но тяжкие моральные последствия остались. Вместо гордой смерти революционера, умирающего не только со спокойной улыбкой на устах, но и со счастливым чувством глубокого уважения к своему делу и самому себе, Каракозов умер унылой, панической, бесславной, обывательской смертью.

Горькие и тяжкие падения неразлучны с судьбою революционера-одиночки, не связанного с толщей народной, не чувствующего, как бьется сердце трудовых масс.

* * *

Революционер-одиночка—это понятие, не имеющее в виду одиночества физического. Яков Стефанович, в отличие от Д. В. Каракозова, все планы свои строит именно на народных массах. Но связь его с массой не органическая, и он остается все тем же, обреченным на срывы и падения, зависящим от собственных настроений и выдумок, одиночкой.

Главная деятельность Стефановича разыгрывается на юге России.

Среда представителей революционного движения на севере и на юге не одинакова. Четко и ясно видны огромные психологические отличия юга от севера. Если уже во времена декабристов „южные дружины“ отличались активностью и темпераментностью от тех безвольных, книжных людей, которые в день 14 декабря, как будто против своей воли, вывели войска на Сенатскую площадь, если уже тогда южные революционеры своей действен-

ностью и решительностью заметно отличаются от северных,—то в эпоху зарождения террора, в царствование Александра II-го, это различие делается еще более ярким.

Террор, окрасивший собой эпоху, родился на юге. Бурно прорвавшееся, как пар из перегретого котла, террористи-

М. Фроленко.

ческое движение, явившееся единственным в те годы ответом на многолетний гнет и издевательства и самых Романовых, и всего аппарата власти, пришло на север с юга.

М. Фроленко, Яков Стефанович, Валерьян Осинский, и пр., и пр., — все эти имена пионеров русского воору-

женного бунтарства, первых деятелей русской революции, перешедших от слов к делу и, вместо прокламаций, взявшихся за оружие, — все они непосредственно связаны с жизнью южной России.

Как в свое время на юге восставали непохожие на застывший в покорности север ватаги Стеньки Разина, так же точно юг России породил и выносил идею вооруженного отпора Романовскому гнету, идею террора.

Стоит всмотреться в то, как шло знаменитое в летописи русской революции „Чигиринское“ дело, чтобы увидеть в нем отсветы тех костров, какие пылали на Украине еще во дни Богдана Хмельницкого, отзвуки тех возгласов, какие оглашали украинские степи во времена запорожцев.

Даже внешние черты Чигиринского дела напоминают детали стародавних народных волнений на Украине. Еще во дни Екатерины были здесь в ходу „Золотые грамоты“, якобы от имени императрицы, призывающие Украину к восстанию. Именно этот же прием „поддельного манифеста“ применяет в Чигиринском деле Яков Стефанович. „Он задумал“—говорит С. М. Степняк-Кравчинский,—„план, поразительный по соединению смелости с бесстыдством, грандиозности и практичности—с полной беспринципностью. Стефанович сочинил тайный царский манифест, призывающий народ ко всеобщему восстанию, в виду бессилия самого царя, его полного порабощения дворянством и чиновниками. Это была старая самозванщина, облеченная в новую, канцелярскую форму“.

Само по себе чигиринское дело является исключением. „Принцип стефановичевского плана, обман народа, хотя бы для его же блага, поддержание царской легенды, хотя бы и с революционными целями, был безусловно отверг-

нут партией, и не имел ни одного подражателя",—указывает Степняк-Кравчинский. Но исключительность этого эпизода не уменьшает его яркости и показательности.

Главным центром подготовляемого вооруженного восстания является Чигиринский уезд. Власти давно уже чувствуют, что вокруг них неблагополучно, что что-то готовится. В Чигиринский уезд приезжает „сам" губернатор. Во множестве командированы сюда жандармы. Сбились с ног становые и исправники. Но доискаться нитей начальству не удается.

Слухи о близости предстоящего вооруженного восстания ростут и крепнут, но дознаться, где помещается штаб заговорщиков, кто стоит во главе, невозможно.

Жандармерия пытается обратиться к старому способу. Священикам поручено разузнать, где находится главные пружины заговора. Но крестьяне, узнав, что „попы выдают" перестали ходить на исповедь.

Полиция обращается к другому испытанному средству. Агенты рассылаются по кабакам. Им даны средства, чтобы они могли угостить в шинках, кого потребуется, и подпоивши мужиков, заставить их развязать языки. Но и этот способ остается безрезультатным. Серьезно готовясь к предстоящему вооруженному восстанию, крестьяне, как оказывается, бросили пить. В целом ряде деревень вынесены сельские приговоры о закрытии кабаков.

Власти приступают к массовым арестам без всякого плана. Надо только захватить побольше народу, а найти средства сделать арестованных разговорчивыми—в участках сумеют.

Свистят розги, свирепствует зубодробительный полицейский кулак. Но мужики, закусив губы, молчат. Много терпели, еще потерпят. Но про тайный „царский мани-

фест“, призывающий крестьян по сигналу подняться против полиции и помещиков, они не скажут ни слова.

Уже число заговорщиков, успевших „присягнуть“ новой организации, в одном Чигиринском уезде дошло до трех тысяч человек. Заговор распространился уже на несколько губерний. Со дня на день Стефанович должен дать сигнал к началу восстания. Он ждет только наиболее удобного дня, намеченного в один из ближайших праздников. Но в это время к Чигиринскому исправнику является некий содержатель кабака, Конограй. Этот кабатчик явился с сенсационным сообщением. Один из крестьян, некий Приходько, выпив в кабаке Конограя лишний стакан водки, говорил о том, что он, Приходько, своими глазами будто бы, видел „царскую бумагу“. Он, Приходько, уже присягал. Вот-вот „начнется“,—и вся жизнь будет перестроена по новому. Кабатчик Конограй хотел было и сам „записаться“ в бунтовщики, с тем, чтобы передать всю правду его высокоблагородию, господину исправнику, но, так как для этого требуется особая присяга, то он, Конограй, „засосомневался“, и вот пришел к начальнику за благословением.

Исправник в восторге. Благословение на революционную присягу дано Конограю обеими руками. Пусть только узнает главные адреса, а за благодарностью дело не станет. И денег дадут, и земли выхлопочут.—Помещиком будешь, только старайся!

Конограй постарался. Уже добыт „устав тайной организации“, уже арестован разоткровенничавшийся в кабаке Приходько, и через него, шаг за шагом, полиция и жандармы разыскивают все нити, распутывают все узлы. Уже найдена „высочайшая тайная грамота“, составленная Стефановичем:

„Верные Наши крестьяне! Во всех концах государства Нашего слышим мы жалобы дорогого Нам крестьянства на тяжкие угнетения искони враждебных ему дворян“— так начинается этот „Тайный Манифест“, подписанный именем „Его Императорского Величества Александра II“ и скрепленный огромной и внушительной печатью.—„Вопреки желанию дворянства“,—продолжает „высочайший манифест“: — „19 февраля 1861-го года Мы освободили вас от крепостной зависимости и даровали вам всю землю, без всякого за нее платежа. Но дворяне хитростью и обманом удержали за собой большую и лучшую часть земли, наложили на вас черезмерные выкупные платежи, дабы держать вас, как скотов, в темноте и нищете. Повелеваем всем крестьянам и мещанам соединиться в Тайные Дружины для восстания против дворян и чиновников и всех высших сословий. Всякий, кто готов положить жизнь свою за великое дело, обязан дать присягу на верность Тайной Дружине. Когда священная борьба ваша с дворянами увенчается победой,—вся земля станет достоянием вашим, не будет ненавистного вам дворянского начальства, и воцарятся тогда свобода и благоденствие“.

Я. В. Стефанович.

„Итак“,—заканчивалась эта „золотая грамота“,—„осени себя крестным знамением, православный народ, и призови благословение божие на святое дело“.

Раскрытие чигиринского заговора произвело огромное впечатление. Из Петербурга прислано строжайшее предписание уничтожить крамолу с корнем. Идут повальные обыски. Ниточки, доставленные Конограем, помогли. Количество арестованных, замешанных в деле, перешло уже за тысячу. Захвачены главные вожаки: Стефанович, вместе с Дейчем и Бохановским, уже препровождены в Киевскую тюрьму, где содержатся „с величайшими предосторожностями“.

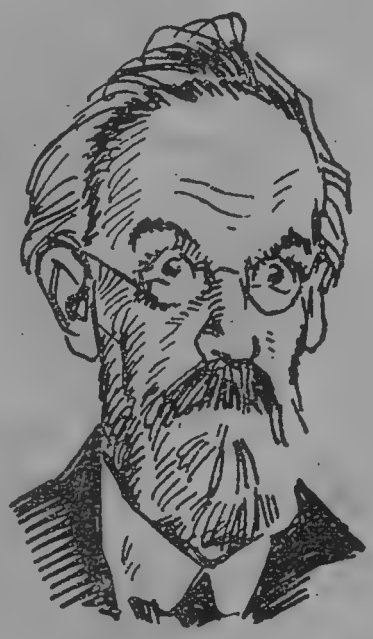
Но недаром в действиях революционеров на юге так ярко чувствуются отзвуки былой жизни вольного казачества. Товарищи арестованных решают во что бы ни стало освободить заключенных. План кажется безумным, но М. Фроленко и Валерьяну Осинскому это безумие удается осуществить.

Добыв подложный паспорт, Фроленко умудряется поступить на службу в Киевскую тюрьму. В короткое время этот новый надзиратель выслуживается настолько, что начальство верит ему безусловно. Революционер оказывается в роли надзирателя в отделении для политических.

В назначенный час Валерьян Осинский дежурит ночью у Днепра. Он добыл лодку, на которой сидящие в тюрьме Стефанович и Дейч должны скрыться из Киева. М. Фроленко, добыв военную форму, должен к этому времени переодеть революционеров и, превратив их в часовых, открыто и уверенно вывести их из тюрьмы, четко отбивая шаг по команде.

— Ать-два. Ать-два. Левой. Левой.

План задуман и выполняется блестяще. Но, как всегда, неожиданностей оказывается очень много, и для завершения дела нужны совершенно исключительные хладнокровие и находчивость. Пока арестованные в темноте переодеваются в принесенные им костюмы, и по коридорам тюрьмы пробираются к главному выходу, где они должны выстроиться, чтобы в качестве „караула“ двинуться к выходу,—кто-то из них в одном из закоулков оступился и, падая, ухватился за висевшую рядом веревку. Эта веревка,—сигнальная, соединенная с целой системой, проведенной по всему тюремному замку. Вся система сигнализации приведена в движение. Поднята тревога по всем этажам тюрьмы и караульным помещениям. Совсем уже налаженное дело освобождения товарищей очевидно провалилось, рухнуло окончательно и бесповоротно.



Л. Г. Дейч.

Но Фроленко не растерялся.

— Оставайтесь здесь, продолжайте переодеваться, никуда не отлучайтесь,—командует он, обращаясь к Стефановичу и Дейчу: — не теряйте ни минуты. Я устрою.

Продолжая играть прежнюю роль бравого тюремного надзирателя, выслуживающегося перед начальством, Фроленко, вместо того, чтоб скрываться от опасности, сам идет ей навстречу.

— Так что, ваше благородие,—рапортует Фроленко начальнику тюрьмы,—мой грех. По корридору шел, и ве-

ревку задел, сигнальная которая. Прощения просим, беспокойство всему корпусу задаром причинил.

Тревога потушена. Караул, уже сорвавшийся было с мест, чтобы кинуться по тревоге на звон сигнального колокола, успокаивается. Бравый надзиратель Фроленко добился милостивого прощения начальства. — Как же ты это, братец? Ты в другой раз того... Поосторожнее надо.

Фроленко, как ни в чем не бывало, возвращается в тот закоулок тюремного здания, где его ждут товарищи, только что еще бывшие заключенными по важнейшему делу о государственном преступлении, а теперь в новой форме превратившиеся в караульных солдат.

— Ать-два. Ать-два. Левой. Левой.

Заключенные спокойно выходят из ворот тюрьмы и спешат к Днепру. Здесь ждет их Валерьян Осинский. Лодка добыта. Все благополучно. Нет времени на разговоры. Тянет кинуться в объятия так чудесно встретившихся старых товарищей по революционной работе. Но... Нельзя тратить ни одной минуты. За дело. На весла.

На этой вот лодченке надо добраться от Киева до Кременчуга, надо суметь не обратить на себя по пути внимания, надо успеть оказаться как можно дальше к тому моменту, когда через несколько часов ринется во все стороны полицейская и жандармская погоня.—Скорей за дело, за весла.

— Ать-два. Ать-два. Левой. Левой.

* * *

М. Фроленко, Л. Дейч, Валерьян Осинский... Первые два имени принадлежат людям, кому судьба к счастью послала долголетие, и их имена мы еще встретим на страницах книги. Революционер Осинский умер молодым.

Как ни суровы были всегда расправы царского правительства с революционерами, но судьба Валерьяна Осинского и на этом фоне кажется особенно жестокой.

Обвинительный акт по делу Осинского кажется скромным. Его обвиняют только в пропагандистской деятельности. Иных улик против него нет, но жандармы знают, что в их руках один из самых крупных революционеров, один из самых влиятельных террористов, и Осинскому „за пропаганду" выносится смертный приговор. В качестве причины удалось использовать „сопротивление при аресте". Осинский не успел даже расстегнуть кобуры своего револьвера. Но это все равно. При нем был револьвер, и 14 мая 1879 г. Валерьян Осинский, вместе со своими товарищами, Антоновым и Бранднером, должны быть „лишены всех прав и повешены".

В. А. Осинский.

Казнь происходит в Киеве.

И на суде, выслушивая смертный приговор, и все дни от суда до казни Валерьян Осинский остается спокоен. Перед тем, как его ведут на эшафот, он успевает закончить свое „политическое завещание", спокойное деловое письмо к товарищам по партии. Для „лирики", каких бы то ни было сожалений или тоски, нет места в этом пред-

смертном документе. Революционер должен уметь умереть гордо и спокойно.

Когда Валерьян Осинский перед казнью прощается с выхлопотавшими последнее свидание матерью и сестрой, он успокаивает их. Заведомо зная, что приговор уже утвержден, он старается убедить мать в несомненной, будто бы, отмене смертной казни, и тут же шепотом просит сестренку позаботиться о матери в те часы, когда она узнает, что все кончено.

У виселицы осужденных выстраивают в очередь. Валерьяну Осинскому приходится смотреть на процедуру, как надевают намыленную веревку на шею одного из его товарищей. Потом другого... Антонов и Бранднер уже повисли в воздухе, но Валерьян Осинский по-прежнему спокоен. Он категорически отказывается от услуг священника с распятием.—Нет, этого не надо. Еще здесь, на эшафоте, его спрашивают, не желает ли он подписать прошение на высочайшее имя? Казнь будет отложена и, надо думать, и вовсе отменена.—Нет, этого он не хочет. Он предпочитает смерть.

Революционер должен уметь умереть гордо и спокойно. Валерьяна Осинского не пугает намыленная петля. Но зрелище казни товарищей не прошло бесследно. За эти несколько минут, пока палач удавливал Бранднера и Антонова, Валерьян Осинский поседел. Голова этого молодого революционера, юноши исключительной красоты, с нежными чертами лица и огромными голубыми глазами,—стала белой, как лунь.

От услуг священника осужденный отказался. Подписать прошение он не желает. Пусть палач делает свое дело!

В те минуты, как палач вешает седого юношу, военный оркестр, дежурящий здесь для заглушения последних слов

казнимых, по распоряжению жандармского полковника громко играет „Камаринского“.

Жандармы ведут дело руссификации Украины. Не малороссийского „Гопака“, или „Казачка“, но именно великороссийского „Камаринского“ приказано исполнять здесь, в Киеве, в эти минуты, пока палач удавливает революционеров.

* * *

Если ярко и поучительно сказались колебания революционера-одиночки в судьбе Д. В. Каракозова и Якова Стефановича,—то еще ярче и очевиднее сказываются эти черты в судьбе Нечаева.

С. Г. Нечаев — фигура крупная и яркая. Пред нами революционер от головы до пят, подлинный и несомненный.

Вокруг имени Нечаева создалось много легенд. Одна из них, наиболее типичная для него, повторяется очень многими источниками. Сущность рассказа такова:

Когда С. Г. Нечаев изнывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, Исполнительный Комитет Народной Воли решил пойти на большие жертвы, но во что бы то ни стало Нечаева из Петропавловки освободить.

Сил и средств у Исполнительного Комитета немного. Или взяться всерьез за казнь Александра II, готовиться к тому взрыву, какой был осуществлен 1-го марта, или бросить все силы на дело освобождения С. Г. Нечаева. Осуществить и то и другое вместе, — невозможно. Чему отдать предпочтение? Какой из двух планов важнее и значительнее в интересах революции?

А. И. Желябов настаивает на необходимости раньше всего сосредоточить силы на освобождении Нечаева. Пусть

только Нечаев очутится на свободе, и при его помощи дело казни Александра II будет значительно облегчено.

К решению вопроса о том, что важнее в интересах революции, привлекли, будто бы, и самого Нечаева. Находясь в заточении, этот изумительный человек так распропагандировал, так подчинил себе тюремщиков Алексеевского равелина, что они исполняют его приказания. Исполнительный Комитет систематически сносится через них с Нечаевым, а отдельные источники уверяли даже что А. И. Желябов, будто бы, еще и лично побывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, куда явился „с воли“ специально для совещания с заточенным Нечаевым.

Доходила ли так далеко связь Исполнительного Комитета с Нечаевым во время его заточения, но связь существует, налаженная, прочная и длительная, и привлечь самого Нечаева к разрешению вопроса о его судьбе оказалось, будто бы, возможно.

Узнав о создавшемся положении, С. Г. Нечаев не колеблется ни одной минуты. Превыше всего интересы революции! Если план его освобождения из Петропавловки мешает, или хотя бы только замедляет дело цареубийства,—то он, Нечаев, от своего, уже подготовленного, освобождения категорически отказывается.

Нечаев томится в Алексеевском равелине уже 11-й год. Нечаев четко сознает, что отказаться от заготовленного плана побега,—это значит до смерти остаться в мрачном каземате, так и сгнить в недрах равелина. Но слово Нечаева твердо, и решение его неизменно.—Делайте свое дело, товарищи! Осуществляйте вашу задачу уничтожения тирана, а обо мне забудьте. Превыше всего—революция и ее интересы. Да здравствует революция!

Таково содержание этой легенды о Нечаеве. Дожившие до наших дней могикане, члены Исполнит. Ком. Народной Воли опровергли этот рассказ. Но весь тон его вполне гармонирует с личностью Нечаева, сумевшего и в долгие годы крепости сохранить фанатическую влюбленность в дело революции.

Но рядом с теми вершинами духа, до каких достигал С. Нечаев, какие глубокие ямы, какие катастрофические падения!

С. Г. Нечаев.

Имя С. Г. Нечаева, одно из наиболее ярких и красочных в истории русской революции,— является в то же время именем одного из людей, горько и во многом несправедливо обиженного в памяти потомства. Много ошибок, срывов и падений знает жизненный путь Нечаева. Но и при всех этих уклонах и падениях,—какая это все же огромная, цельная и яркая фигура. Какой подлинный революционер с ног до головы, какой железный бунтарский характер сказывается во всей судьбе, во всей личности С. Г. Нечаева!

Уже первые шаги Нечаева в кружке каракозовцев определили всю жизнь этого человека.

В 1868 г., С. Г. Нечаев (в это время он был преподавателем закона божьего в сергиевском приходском училище в Петербурге), поступает вольнослушателем в Петербургский университет. Пылкий, впечатлительный Нечаев с первых шагов успевает обратить на себя внимание своей видной

ролью в студенческих делах того времени. Сами по себе, эти университетские дела масштаба весьма скромного. Ограничиваются они, главным образом, устройством землячеств и касс взаимопомощи. Но с тех пор, как новый министр народного просвещения, знаменитый граф Д. А. Толстой стал тяжелым прессом душить самодеятельность юношества,— сжатый свыше предельной возможности пар по законам природы должен произвести взрыв, и студенческие волнения приобретают все более яркую бунтарскую окраску.

В университете вводятся все новые и новые правила: вся жизнь студенчества подчинена отныне инспекции, которая обязана не только внутри университета следить за студентами, но и вне его стен. Инспекции предписано „осведомлять полицию, а равно и наводить у нее справки о всех действиях, касающихся нравственной и политической благонадежности". Студентам воспрещено устройство даже невиннейших концертов и вечеринок. Денежные суммы, всяческие денежные пожертвования в пользу студенчества, по новым правилам передаются в распоряжение учебного начальства.

Студенчество взволновано, аудитории бурлят.

По началу студенческие прокламации этого периода отличаются крайней скромностью позиции: „Мы хотим, чтобы нам предоставлено было право иметь кассу, т. е. помогать нашим бедным товарищам. Мы хотим, чтобы нам предоставлено было право совещаться о наших общих делах в зданиях учебных заведений"... — таковы скромные требования студенческих прокламаций этого времени. На этом фоне слова и убеждения С. Г. Нечаева не могли не казаться откровением, новым словом и новым заветом: „Нынешние науки — это лишь путь неизбежной экспло-

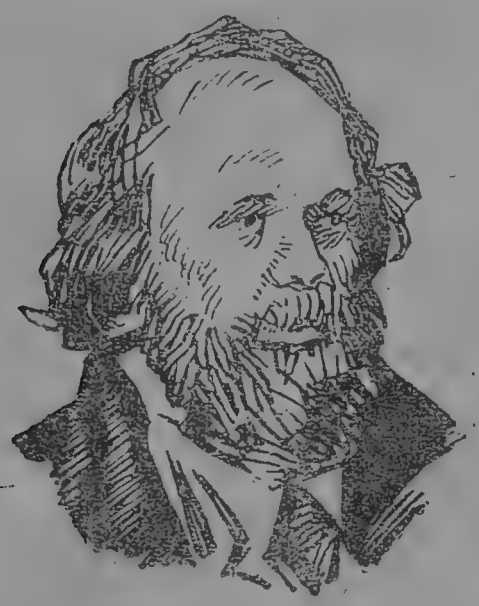
атации развитыми людьми — неразвитых",— неустанно проповедует С. Г. Нечаев: — Наука не дает исхода из тупика. Единственным исходом является неизбежная революция. Как ни важна борьба за права студенчества, но неизмеримо важнее пропаганда в среде голытьбы, образование из этой голытьбы мощной организации, — указывает Нечаев:—„Не в столицах, а в губернских и уездных городах должна подготовляться революция! Помните о разночинцах, помните о семинаристах, не забывайте провинциальной голытьбы",—взывает Нечаев, мечтая о том, что уже ближайшим летом на Волге и на Днепре удастся поднять знамя восстания.

Эти позиции Нечаева очень скоро укрепил своим веским словом М. Бакунин в своей, написанной после встречи с Нечаевым, прокламации „К студенчеству". М. Бакунин говорил о том, что в существе своем студенческие волнения являются лишь частью общенародных волнений: „Волнуется вся крестьянская, вся чернорабочая Русь, ожидающая настоящей воли, идущая путем, указанным Стенькой Разиным. Готовится кровавая встреча, бой на жизнь и смерть между Русью народной и Россией казенной".

Дело вовсе не в кассах взаимопомощи и не в студенческих сходках: „Русская грамотная молодежь хочет не своего, а народного торжества", — говорит обращаясь „к молодым друзьям" М. А. Бакунин: — „Идет Стенька Разин, на этот раз не одинокий, а коллективный, и тем самым непобедимый. Бросайте же, молодые друзья, скорее бросайте этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, в которых стремились всегда разъединить вас с народом. Ступайте в народ! Там ваше поприще, ваша жизнь, ваша наука. Научитесь у народа, как служить народу. Не хлопочите о науке, во имя которой

хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель. Наука же новая и живая народится потом, после народной победы, из освобожденной жизни народов. Рабочий мир зовет вас, русскую бессословную молодежь, вас, работников революции, на крепкий союз!“

Эти возгласы Бакунина, захватившие русское студенчество, только повторяли проповедь, какую стал вести пылкий и пламенный Нечаев. Нечаевская пропаганда не могла не вызвать широкого отклика в среде тогдашнего студенчества.



М. А. Бакунин.

Студенческая молодежь этих дней горячо занята вопросом „о науке и труде“: — „Главным вопросом,“—говорит историк студенческого движения С. В. Сватиков,— „был вопрос о том, имеет ли право молодежь пользоваться благами цивилизации, и раньше всего привилегией высшего образования, или же она должна разделить с народом его труды, его жизнь, работая в равном положении с трудящимися, ведя такой же образ жизни, как и народ, и пытаясь поднять материальное и духовное благосостояние народных масс“.

С. Г. Нечаев первый из русских революционеров взялся за практическую работу, первый занялся организацией революционного движения, разработкой принципов и деталей постановки дела. Быть может, именно поэтому на

общем фоне мечтателей и идеалистов практическая, упрямая, деловая фигура Нечаева, желавшего обеими ногами стоять на земле, всемерно избегавшего революционной фразы и какого бы то ни было пафоса, — казалась чуждой

С. Г. Нечаев, мещанин города Шуи, прошел тяжелую жизненную школу, и его привлекает только практическая, активная деятельность. Принципиальные споры, идеологические искания его не интересуют. Верит он только в роль активной личности. Раньше всего он желает быть влиятельным. Авантюризм, присущий его характеру, заставляет его ни пред чем не останавливаться, только бы обеспечить за собой право на первую скрипку, право властвовать и управлять.

Для этого нужен авторитет, нужно всеобщее признание? Ну что ж! Это дело наживное. Авторитет и влиятельность приобретаются в революционной среде гонениями правительства, во-первых, и уменьем победить эти препятствия—во-вторых. Если этого стажа нет, его надо создать. Надо устроить хотя бы инсценировку, поддельные гонения и фиктивную победу, только бы добиться желательных результатов.

Инсценировка революционного стажа проделывается С. Г. Нечаевым от начала и до конца, полностью. Нечаев в этот период собирается поехать за границу „за благословением“ от редакции „Колокола“, за поддержкой Герцена, Бакунина и Огарева. Но поехать туда без предварительной подготовки Нечаев не желает. Он изобретает невероятные ухищрения, чтобы обеспечить себе почетный и внимательный прием заграницей, чтоб создать себе ореол мученика.

— Фортуна слепа. Если она сама не умеет повернуться лицом к своему избраннику, ее нужно повернуть насильно.

В один прекрасный день Нечаев неожиданно исчезает. Несколько времени о нем нет никаких известий. Но вот к его товарищам по университету прибегает взволнованная девочка-подросток. Эту девочку зовут Вера Засулич. В будущем, после ее выстрела в градоначальника Трепова, ее имя станет известным всей мыслящей, всей грамотной России. Теперь эта взволнованная, ничего не понимающая, девочка держит в руках грязный обрывок бумаги, на котором красным карандашом написано: „Меня везут в крепость! Не теряйте энергии, товарищи! Ваш Нечаев".

Может ли придти кому-нибудь в голову, что эта тревожная записка—выдумка и ложь, что она написана Нечаевым в целях симуляции? Никто и не думал его арестовывать, но ему нужно повысить свою авторитетность, увеличить свой удельный вес и значительность, и этот способ он считает необходимым в интересах своего дела.

Товарищи и родственники сбились с ног, разыскивая следы юноши Нечаева во всех тюрьмах, жандармских отделениях и полицейских участках. Нигде нет и следа. Ничего не знают о Нечаеве ни в Петропавловской крепости, ни в комендантском управлении. Как сквозь землю провалился!

Через несколько времени приходит новая весть о Нечаеве. Этот отчаянный человек умудрился, оказывается, обмануть бдительность жандармов. Он ухитрился ночью, во время допроса, бежать, проявив отчаянную смелость.

Сведения об этом, со всеми подробностями о находчивости бежавшего, о том, как именно ухитрился он переодеться в военную шинель и скрыться от охранявших его тюремщиков, — как впоследствии выяснится, выдуманы и пущены в обращение самим же Нечаевым, как

и та поддельная записка, какую получила по городской почте и принесла Вера Засулич.

Впоследствии все это выяснится, и Нечаев дорого заплатит за эти свои хитроумные приемы. Но теперь, впредь до выяснения, цели своей он достиг полностью. Стаж приобретен. Отправившись после этого заграницу, С. Нечаев и в редакции „Колокола“ и всеми вообще эмигрантскими кружками принят с тем почетом и уважением, на какие он рассчитывал. Он — жертва преследовании царизма. Он—герой, проявивший своим побегом из Петропавловки незаурядную энергию и находчивость.

Побег Нечаева, по его рассказам, был обставлен целым рядом затруднений. Спастись удалось только благодаря военной шинели, превратившей арестанта в „конвойного“. Но это еще не все: ему пришлось скрываться под целым рядом чужих имен, с чужими паспортами. Из Петербурга в Одессу он добрался под видом чумака, с обозом... И какие же приключения, какие переживания пришлось ему испытать во время побега!

Целый ряд легенд такого рода успел создать о себе С. Г. Нечаев.

Трудно бороться с тем естественным предубеждением, с неизбежной брезгливостью, какую вызывает вся эта „игра ума“, проявленная юношей Нечаевым. Среди русских революционеров, настроенных подвижнически и самоотверженно, среди народолюбивой молодежи, горящей духовными запросами, — неожиданные „номера“ нечаевской симуляции не могут не казаться резко антипатичными. Но во имя справедливости надо помнить, что этот же Нечаев в течении своей, воистину подвижнической, жизни сумел показать много примеров подлинного героизма, сознательного и скромного величия. Как бы отрицательно

ни относиться к отдельным штрихам его биографии, — в общем и целом пред нами крупный человек, полностью, всей жизнью своей заплативший за почетное право именоваться русским революционером.

С. Г. Нечаев умел грешить, но еще ярче умел он искупать свои грехи.

Оказавшись за рубежом, Нечаев, окруженный ореолом опасного политического преступника, чудом бежавшего из Петропавловской крепости, со спокойной самоуверенностью берется за работу руководителя студенческим движением.

А. И. Герцен с первой встречи с Нечаевым почувствовал к нему крайнюю антипатию. Но М. А. Бакунин, напротив, уже с первой встречи успел влюбиться в Нечаева.

— Вот он, истинный представитель мыслящего пролетариата, подлинный представитель той озлобленной разночинной интеллигенции, которой принадлежит будущее! —восторгается М. Бакунин.

„Выбравшись из промерзлых стен Петропавловской крепости“, — пишет С. Г. Нечаев в Петербург: — „шлю вам, дорогие товарищи, эти строки из чужой земли. На зло темной силе, которая бросила меня в крепость, я и здесь не перестану работать во имя связывающего нас великого дела“.

Позиция автора по-прежнему фальшивая, симулянтская. Но содержание прокламаций — иное, подлинное и искреннее.

Об „изможденном, забитом мужике, перетаскивающем кулисы в театре жизни“ и „блестящей сволочи, рассевшейся на дорогих местах“ в этом театре, — пишет Нечаев: „Наши отцы, исхудалые, оборванные, обворованные, изнемогают в борьбе, которую ведут слепо. Они

тратят силы бесплодно, не видя врага, который их давит. Мы, дети этих тружеников, видим причины зла. Для нас ясно видна эта темная сила, заманивающая нас к себе. Продадим ли мы себя, как было доселе? Развив наш мозг на деньги народа, вскормленные хлебом, забранным с его поля, станем ли мы в ряды его гонителей?—Нет!—говорим мы. Пусть отныне задачей студента будет не диплом и казенное теплое место, а жизнь среди народа и борьба за его интересы. И пусть именем подлеца будет заклеймен от товарищей каждый, изменивший этому правилу!"

Прокламации, присылаемые Нечаевым из-за границы, завоевывают ему положение руководителя студенческим движением.

Все свое внимание, все силы свои Нечаев тратит на выработку „организации революционных сил". Он возвращается в Россию, и свое положение признанного лидера за границей меняет на опасную и тяжелую работу в России. То, что ему нужно было добыть за рубежом, он уже добыл. За ним стоит дружба с М. А. Бакуниным. Ему, Нечаеву, посвящены нашумевшие стихи Огарева:

Он родился в бедной доле
Он учился в бедной школе...

Это стихотворение Н. Огарева, посвященное „молодому другу, Нечаеву", представляет собой как бы патент на известность, на значительность.

Таинственное, романтическое прошлое Нечаева, арест и побег из Петропавловки,—еще усиливают его влиятельность. Среди бумаг, какие Нечаев привез с собой, есть особые мандаты, удостоверения за подписью Бакунина,

что он, Нечаев, является представителем Интернационала. Кто посмеет оспаривать право Нечаева на руководящее положение в среде молодежи?

С этого времени планы организации, выработанные Нечаевым, воспринимаются революционно настроенной молодежью, как заветы учителя.

— Революционер — человек обреченный, — говорит особый катехизис революционера, составленный Нечаевым:—У революционера нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единым исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью—революцией!

В этот период Нечаев приступает к созданию Всероссийской организации революционных сил под названием „Народная Расправа“ или „Общество Топора“. И здесь приемы работы остаются типично нечаевскими: Нечаев фигурирует под множеством вымышленных имен, появляясь в самых различных слоях, формируя все новые и новые „революционные пятерки“. Меняет он не только имена свои, но и наружность. Утром в штатском платье, днем—он в военной форме, вечером в женском костюме, поздно ночью он в рабочей куртке, или в костюме инженера.

Энергию С. Нечаев проявляет неслыханную. Количество созданных им революционных пятерок растет и увеличивается. Каждый член заново организованной пятерки обязан в свою очередь создать новый революционный кружок, новую пятерку, главой и представителем которой он является. Каждый из членов новой пятерки обязан устроить пятерку третьей степени и т. д., и т. д. Каждый из таких кружков является центром дальнейших организаций.

Дело растет. В состав такого рода пятерок успели войти не одни только студенты, но и какие-то офицеры, купцы, мещане. Все усиливается и количество женщин в составе организации. А неутомимый Нечаев все плетет и плетет кружево пятерок, успевает повсюду показаться под разными именами своими, в разном обличии, то молодой дамы, то бравого офицера. Все растет и увеличивается количество конспиративных квартир, шире и многообразнее становится деятельность, все обильнее раздается шрифт для печатания возваний. Каждая из пятерок, в целях конспирации, не должна ничего знать об остальных. Связаны они между собой только личностью главного организатора, С. Г. Нечаева, действующего от имени таинственного, находящегося за рубежом комитета,—Нечаева, имеющего, будто бы, полномочия, сводящиеся к власти диктатора.

Количество революционных пятерок растет. Ближайшим помощникам своим Нечаев передает различные сферы ведения. Кузнецову поручено учреждение революционных пятерок в среде купечества. Беляеву передано дело пропаганды в низших слоях общества, в трущобах, среди преступного элемента. Успенскому предписано взять на себя ведение главной кассы, заведывание службой связи и хранение бланков общества, на которых изображена эмблема „Народной Расправы“ — топор. Особые отделы составляет агитация в учебных заведениях, паспортное бюро для снабжения работников организации наиболее удобными именами и званиями, и т. д. и т. д.

Уже в первые два месяца своей деятельности Нечаев успевает привлечь в свою организацию по городу Москве свыше ста членов, принадлежащих к самым различным

сословиями и профессиям. Все они обязаны организовать все новые и новые пятерки, по всем делам обращаясь к таинственному и неведомому „Главному Комитету“. Никакого „главного комитета“ на свете нет. Есть только один Нечаев. Но его необычайной энергии достаточно, чтоб неослабно следить за всеми разветвлениями. Уже командированы организаторы и в Петербург, и в Тулу, и в Нижний-Новгород, и в Иваново-Вознесенск. Уже по всей России ездят разосланные Нечаевым ревизоры, которым поручен верховный контроль над деятельностью пятерок. Уже укрепилась в умах и сердцах прикосновенных к делу лиц уверенность в огромной мощи всеобъемлющей организации.

Дело растет и ширится. Уже и вправду огромные силы сосредоточены в руках несуществующего комитета, единственным представителем которого является Нечаев. И вот в это то время, вдруг, какой-то мальчишка, студент Иванов, неведомый щенок, без году неделя познакомившийся с революцией, позволяет себе срывать все огромное дело, затеянное Нечаевым, позволяет себе губить все его—пусть самозванные и диктаторские,—но подлинно революционные планы!

Все вокруг заворожены, зачарованы таинственностью положения. Все молчаливо верят тому, что считает нужным сообщить Нечаев.

„Общество Топора“ приступает к изданию особых „Листков Народной Расправы“. Эпиграфом взяты стихотворные строфы:

Вставай же, Русь, на подвиг славы.
Борьба велика и свята!
Возьми свое святое право
У подлых рыцарей кнута!

„Цели этих листков“ — объясняет Нечаев во вступительной статье в № 1, — „разумеется, не литературные и не ученые. Пусть люди, у которых от безделья много времени, продолжают тешить себя и морочить других, праздноглагольствуя о литературе и науке, о просвещении и воспитании, о прогрессе и цивилизации.

„Нам некогда!

„По нашему, — нет теперь в России литературы, а есть печатная лесть и доносы. Нет науки, а есть софистика, искажающая прошлое и возводящая в непременный „закон“ страдания народных масс.

„Нет просвещения и воспитания народного, а есть выработка шпионов и чиновников. Нет прогресса и цивилизации, а есть громадная государственная эксплоатация народных сил для удовольствия вечно празднующего и пресыщающагося барства.

„Мы хотим народной мужицкой революции“, — продолжает С. Г. Нечаев.

„Мы хотим, чтоб наши отцы, братья и сестры сбросили со своих плеч праздное тунеядствующее меньшинство. Мы хотим, чтобы русский мужик широко, свободно вдохнул мощный, вольный воздух. Мы хотим народной, мужицкой революции“.

„Мы считаем“, — объясняет далее Нечаев, — „дело разрушения настолько громадной и трудной задачей, что отдаем ему все наши силы. Мы не хотим обманывать себя мечтою о том, что у нас хватит сил и умения на созидание. Мы берем на себя исключительно разрушение. Мы беремся сломать гнилое общественное здание, в котором мучается большинство обитателей. Пусть новое здание строят новые плотники, которых вышлет из своей

среды народ, когда мы дадим ему возможность вздохнуть полной грудью".

С. Г. Нечаев твердо убежден, что научиться плавать можно только кинувшись в воду. На суше этого не сделаешь. „Кто учится революционному делу по книгам,— будет всегда революционным бездельником".

С точки зрения Нечаева, „мысль, способная служить народной революции, вырабатывается лишь из народного революционного дела. Она должна быть результатом ряда политических опытов, стремящихся всеми средствами к одной и той же цели беспощадного разрушения".

Все окружающие С. Нечаева беспрекословно повинуются властным повелениям диктатора. Количество пятерок, размах деятельности их все возрастает, но, как мы видели, какой-то мальчик, студент Петровско-Разумовской академии Иванов, осмеливается возражать С. Г. Нечаеву, пытается спорить с ним, требует от него доказательств его полномочий.

Малейшее сомнение в значении личности и роли Нечаева может погубить все дело „Народной Расправы". Вся организация с теми, действительно огромными, возможностями, какие она сулит,—целиком построена на личном кредите, персональном обаянии С. Г. Нечаева. Стоит разрешить кому-либо хоть малейшее сомнение, и тогда рухнет вся созданная им грандиозная постройка. Что, если вслед за этим дерзким юнцом, студентом Ивановым, и другие товарищи также потребуют точных данных и о количестве разветвлений Народной Расправы по России, и о составе грозного и таинственного Верховного Комитета? Сорвется, погибнет все дело, налаженное с таким трудом, достигшее уже такого значительного успеха.

— Смерть безумцу! Смерть человеку, позволяющему себе усомниться в святом и великом деле, какое он, Нечаев, делает на благо России, на благо революции. Пусть немедленно умрет этот дерзкий юнец, чтоб другим неповадно было вносить дезорганизацию в ряды революционеров.

— Он, Нечаев, в любой момент готов отдать и свою жизнь на пользу революции. Он имеет моральное право выступить мстителем, он обязан покарать врага, опасного общему делу!

— Убийство? Пролитие невинной крови? Его, Нечаева, не запугать жалостными словами. Недаром в своем катехизисе революционера, вырабатывая правила организации, Нечаев, уже давно указал основные обязанности революционера: „Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные и изнеживающие чувства, родство, дружба, любовь, благодарность и даже самая честь, должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует одно вознаграждение и удовлетворение, — успех революции. Революционер презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит нынешнюю общественную нравственность. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель,—беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть готов и сам погибнуть, и погубить своими руками все, что мешает революции“.

По правилам, составленным Нечаевым, рядовые члены кружков не должны ничего знать о планах, приводимых в исполнение центром. Организатор пятерки знает только ту часть дела, какая падает на ее долю. Каждый из членов должен знать только те детали, какие относятся

к нему непосредственно. У каждого революционера должно быть под рукою—по правилам Нечаева—несколько „революционеров второго и третьего разрядов, т.-е. не совсем посвященных“. „На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить эту часть капитала, стараясь извлечь из него наибольшую пользу“.

„Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечения. Она исключает даже личную ненависть революционера и его мщение. Революционная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутно должна соединяться с холодным расчетом. Революционер—человек обреченный, беспощадный для государства, и, вообще, для всего сословно-образованного общества. Он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними непрерывная и непримиримая борьба на жизнь и смерть. Революционер должен, напр., приучить себя спокойно и бестрепетно выдерживать пытки“.

„На себя революционер смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Один, без согласия посвященных товарищей, распоряжаться этим капиталом он не может. Нравственно для революционера все, что способствует торжеству революции. Безнравственно и преступно все, что этому торжеству мешает“.

Стоя на почве этих убеждений, Нечаев не мог не заблудиться в дебрях противоречий, самых отчаянных. В постоянной беспрерывной смене своих личин, обращаясь из франтоватого офицера в чернорабочего, кочегара, из самоуверенного инженера в элегантную свет-

скую даму, Нечаев как будто потерял самого себя, забыл, перестал понимать, кем он является в действительности. Вечный маскарад заслонил действительность, ярко-размалеванные декорации подменили реальную, живую жизнь.

„В интересах дела“ Нечаев убеждает окружающих, что Общество Народной Расправы, Общество Топора обладает мощью гигантской, что разветвления его покрывают собой всю Россию. Проводя все свои дни в созданной им атмосфере призраков и лжи, Нечаев и сам утерял способность отличать истину от вымысла.

С окружающими Нечаев обращается деспотически, как диктатор. Горе тому, кто посмеет усомниться в его праве на власть.

Решив вопрос об Иванове, пламенный и энергичный Нечаев сразу же переходит к осуществлению своего плана. Членам той пятерки, к которой принадлежит юноша Иванов, позволивший себе усомниться в силах Народной Расправы и потребовать доказательств полномочий диктатора, Нечаев объявил, что Иванов — человек опасный. По имеющимся у него, Нечаева, данным, Иванов „готов на предательство“. Изменника надо устранить. Осмелятся ли они, члены революционной пятерки, возражать против этого решения, продиктованного интересами революции? Осмелятся ли они защищать изменника и губить дело революции?

Обаяние Нечаева так велико, гипноз, производимый им, так силен, что члены пятерки спорить не осмеливаются.

Иванов обречен. Предполагалось отравить его, или задушить на его квартире. Но эти планы Нечаевым отвергнуты. Тело казненного должно исчезнуть, чтоб не осталось улик. Нужно, чтобы все знали, что человек, по-

винный в злоумышлении против общества Народной Расправы, бесследно вычеркивается из жизни, навсегда исчезает, как бы испепеленный на месте.

Местом для осуществления плана избран парк Петровско-Разумовской академии. Здесь есть темный грот, где никто не помешает совершить убийство, и здесь же рядом находится пруд, куда можно бросить труп с тем, чтобы навсегда скрыть следы.

Удастся ли только убедить Иванова придти в темный грот? Ну, конечно, удастся! Сам Нечаев предпишет ему отправиться туда для отыскания будто бы зарытого там типографского шрифта, срочно необходимого в интересах организации. Ослушаться боевого приказа Иванов не посмеет.

Расчет оказывается правильным. Студент Иванов со своим товарищем по революционной пятерке, участником заговора, Николаевым, отправляется в грот беспрекословно. Здесь ждет их Нечаев с двумя остальными членами пятерки. Не говоря ни слова, заговорщики в полутьме кидаются на вошедшего, стараясь его задушить.

— Это я, братцы! Это я!

Произошла ошибка. В руках заговорщиков оказывается не приговоренный к смерти студент Иванов, а приведший его товарищ, Николаев. — Что вы меня душите, я Николаев! — жалобно хрипит жертва, вырываясь из цепких рук Нечаева.

Недоразумение выяснено благополучно. Это и вправду не тот. Это Николаев. Но куда же девался Иванов?!

С первого момента нападения на Николаева, Иванов понял, что заговорщики имели в виду его, и попытался скрыться. Заметавшись в предсмертной тоске, Иванов наконец нашел дорогу и кинулся к выходу из темной пе-

щеры. — Убежал! Ловите! Иванов изо всех сил несется к выходу из грота, но кто-то из членов пятерки уже кинулся наперерез, уже схватил Иванова и повалил его на земь у самого входа в пещеру.

Николаев еще не успел прийти в себя. Он еще тяжело дышет после недоразумения, жертвой которого он чуть не стал, а Нечаев уже сидит на груди поваленного Иванова.

— За что вы меня бьете? Что я вам сделал? — хрипло кричит Иванов.

— Вы что ж стоите? Вы что ж не помогаете? Душите его! — кричит Нечаев, добавляя к своим словам целый ряд энергичных ругательств.—Давай сюда башлык, так твою рас-так...

Как загипнотизированный, Николаев снимает с себя башлык и передает его Нечаеву. Оба вместе туго обматывают шею жертвы.

— Душно, душно!—слабым голосом повторяет Иванов.

— А вы что ж? А вы, черти, так-вашу, чего стоите?

Пришедшие в исступление заговорщики изо всей силы тянут негнущимися руками концы башлыка. Прошла целая вечность. На их лбу выступил холодный пот. У них нет больше сил. Но живуч Иванов. Он все еще стонет, все еще шевелится.

— Давай сюда револьвер!—кричит Нечаев.

Взятым у Николаева револьвером Нечаев в упор прострелил голову Иванову. Больше, небось, не пошевелится. Но и теперь дело еще оказывается не кончено. Надо обыскать убитого. Надо отобрать у него все бумаги, которые могут „скомпрометировать организацию“. Надо, наконец, утопить тело в пруде.

Нечаев привязывает к ногам Иванова большие камни. Привязать такие же камни к рукам мертвеца поручено

Николаеву, но у того руки дрожат. „Ничего от волнения привязать не мог“,—рассказывал впоследствии Николаев на суде.—Помощники тоже!—ругается Нечаев, отодвигая Николаева и вместо него принимаясь за работу.

Готово! Общими силами тело Иванова с привязанными к нему камнями стащено к пруду и сброшено в воду. Что делать с башлыком? Взять его с собой и по прежнему пользоваться им для защиты от морозов Николаеву трудно. Нет у него для этого выдержки настоящей. После минутного раздумья башлык бросается. Надо бы и его туда же, в пруд зашвырнуть.

Нечаев хранит спокойствие. Он помнит правила, входящие в составленный им катехизис революционера: „Революционер разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира. Он для него—враг беспощадный“.

Нечаев демонстративно берет с собой пальто Иванова.—Бросить его? Зачем? Он, Нечаев, волноваться не собирается. Он совершенно спокоен. Все идет именно так, как следует, как должно быть.

Наружно Нечаев, и вправду, спокоен, но целый ряд отдельных деталей все же выдает его самочувствие. Во время суматохи Нечаев потерял, оказывается, где-то свою черную барашковую шапку. Чтоб не возвращаться с открытой головой (дело происходит в холодные дни, 21 ноября 1869 года) приходится надеть шапку, оставшуюся после Иванова. В тот же вечер шапка покойника будет сожжена на том собрании пятерки, где заговорщики будут замывать пятна крови на платье. Во время этой процедуры Нечаев „внимательно рассматривает“ револьвер, которым был убит Иванов. Раздается выстрел. Пуля

попадает в стену „очень близко от головы Прыжова“, одного из участников убийства, того самого члена пятерки, который умолял избавить его от присутствия при убийстве Иванова, указывая, что у него слишком слабое здоровье.

Прыжов уверен, что Нечаев хотел убить и его, но Нечаев спокойно опровергает это обвинение. Нет, он вовсе не собирался убивать Прыжова. Выстрел нечаянный. Он произошел от того, что державший револьвер Нечаев не мог удержать курок. Его руки,—видите ведь,—сильно искусаны Ивановым в то время, как он душил его за горло. — Вы ведь, небось, помочь, как следует, не умели. Все самому пришлось делать, — укоризненно говорит Нечаев.

Труп несчастного должен был исчезнуть бесследно. Но следы открылись, как оказывается, очень скоро.

Башлык, обильно покрытый кровавыми пятнами, найден в пещере и доставлен в полицию. Туда же доставлено и пальто убитого. Нечаев взял было его с собой, но очень скоро „не выдержал“ и бросил пальто где-то на окраине Петровско-Разумовского парка.

Плохо рассчитанной оказалась и тяжесть привязанных к трупу Иванова кирпичей. Тело убитого всплыло. Делу дан законный ход. С того момента, как прокуратура нашла первые следы участия в деле революционеров, она злорадно пользуется всеми мерами, чтобы „пришить“ как можно больше политических, как можно ярче подчеркнуть, что „у них у всех руки в крови“.

К суду по делу нечаевцев привлечено 87 человек.

Сам Нечаев успел скрыться и бежать за границу. В дальнейшем царское правительство умудрится путем подкупа и подсылки переодетых полицейских добиться

от правительства Швейцарии ареста Нечаева и его выдачи. Но это будет потом. Пока прокуратура отыгрывается на „нечаевцах“.

По делу составлено 12 обвинительных актов. Целый ряд революционеров, хотя бы и совершенно чуждых Нечаеву, притягивается к этому делу за волосы, лишь бы только добиться драгоценной возможности—смешать обвинение в покушении против существующего строя с необычайным обвинением в убийстве несчастного Иванова.

Суд исполняет задачу старательно. По его приговорам кары на нечаевцев сыплются со всей щедростью. Но правительство не удовлетворено. Как изловить, как добыть и посадить на скамью подсудимых самого, живущего в Швейцарии, неприкосновенного в качестве политического эмигранта, Нечаева?

Способ нашелся. Раньше всего русское правительство заявило, что С. Г. Нечаев вовсе не является политическим преступником. — Самый обыкновенный уголовный. Этаких во всех Европах выдавать обязаны.

Объявить Нечаева уголовным дело нелегкое, но русское правительство не останавливается перед затратами. К живущему в Цюрихе Нечаеву подсылается некий поляк, Адам Стемпковский. Это человек с бурным прошлым. В свое время, в дни польского восстания 1863-го г., он был у повстанцев „жандармом-вешателем“. Этот, говорящий по-русски с польским акцентом, юркий человек считается „своим“ во многих эмигрантских кружках, и это издавна очень облегчает ему задачу оказывать услуги русской полиции.

Стемпковский заводит пылкую дружбу с Нечаевым.

Нечаев в эти дни тяжко нуждается, мучительно голодает. Стемпковский обещает Нечаеву найти урок, отыскать

заработок, обнадеживает Нечаева целым рядом хороших слов.

— Все наладим, пане. Все хорошо будет. Приходите, пше-прошу, пане, завтра до ресторану. Поговорим. Все наладим.

В этот второй приезд за границу Нечаев не похож на того бесспорного премьера, влиятельного и авторитетного деятеля, каким являлся он в дни первого пребывания за рубежом. Он—побежденный, а не победитель, и куда-то скрылись прежние друзья. Жуткое дело об убийстве Иванова стало вскоре известно всем, и, как от зачумленного, отшатнулись от него представители эмиграции. Порвал отношения с ним даже и М. Бакунин, еще так недавно восторгавшийся его энергией, его смелостью, его прямолинейностью.

Всеми покинутый, нуждающийся Нечаев легко пошел на удочку обещаний Стемпковского.

Нечаев является в указанный ему Стемпковским маленький ресторан в назначенный час аккуратно. За соседним возле Стемпковского столиком сидят переодетые швейцарские полицейские. Рядом с ними — двое „иностранцев“, чины, командированные русским правительством.

Ничего не подозревающий Нечаев садится за столик Стемпковского и оживленно расспрашивает его о шансах на получение урока.—Это было бы очень важно. Это большая дружеская услуга. Но Стемпковский уже сделал знак ожидающему поблизости переодетому полицейскому.

Вместе с двумя „иностранцами“ этот полицейский уже успел навалиться на растерявшегося от неожиданности Нечаева. С профессиональной ловкостью полицейский успел сразу надеть Нечаеву наручники, и переодетые чины

уже волокут пойманную и закованную жертву в Цюрихскую тюрьму.

— Скажите русским, что я арестован! — выкрикивает на ломанном немецком языке, обращаясь к случайным прохожим, ничего не понимающий Нечаев.

Это поручение Нечаева прохожие выполнили свято. Русская колония с первого момента ареста осведомлена о происшедшем, но помочь Нечаеву нечем. Эмигрантская колония устроила товарищеский суд для выяснения роли Стемпковского. Но, вместо того, чтобы явиться на этот суд чести, Стемпковский обращается с жалобой в полицию. — Пусть шуцманы примут срочные меры. Эта банда революционеров желает его убить.

Товарищеский суд выясняет все дело, торжественно объявляет Стемпковского шпионом, но горькой судьбы Нечаева этим не исправить. Кому следует из членов Цюрихского кантонального совета уже „дадено", и препятствий к выдаче Нечаева русскому правительству эти люди порядка не усматривают. Через много лет эти же люди порядка сочтут возможным оправдать в Лозанне убийцу Воровского. Швейцарцы очень любят порядок и совсем, совсем не любят революционеров.

Для оформления дела о выдаче Нечаева русскому правительству оказалось достаточно удостоверения русского правительства, что совершенное Нечаевым убийство не носило политического характера, и что судить его будут, как простого убийцу.

— Самый обыкновенный уголовный. Этаких выдавать во всех Европах обязаны.

До своего ареста Нечаев был одинок и всеми покинут, но выдача его в руки самодержавия не могла не вызвать симпатий к его участи. Группа эмигрантов сразу

же берется за дело освобождения Нечаева из рук жандармов и организует попытку отбить арестованного при посадке его в поезд для отправки в Россию. Люди порядка в ужасе. Попытка по началу удалась. С. Г. Нечаева успели уже выхватить из рук жандармов. Но присутствовавшие на вокзале люди порядка, сытая, благодушная толпа цюрихских буржуа немедленно вмешалась в дело, окружила заговорщиков, энергично помогла полиции втащить в вагон Нечаева и даже арестовала тех, кто пытался его спасти. Швейцарцы очень любят порядок, и совсем, совсем не любят революционеров.

С. Г. Нечаев благополучно доставлен на русскую границу и сдан русским жандармам.

Нечаев перед судом. Держит он себя с большим достоинством. На вопросы председателя Нечаев, „повысив голос", четко заявляет:—Господин председатель! Формальности вашего судопроизводства не имеют для меня никакого значения. Я—эмигрант. Подданным русского императора, рабом вашего деспота, я быть перестал. Я признавал бы позорным для себя подсудность вашему суду.

Нечаева, по распоряжению председателя, выволакивают из залы суда. В коридоре его жестокими побоями „приводят к молчанию", и снова вводят в зал заседаний, но здесь он ведет себя попрежнему. От каких бы то ни было ответов на вопросы председателя он отказывается. Единственное, что он считает нужным заявить, это что он — преступник политический, а не уголовный.—Это знает вся Россия! Я считаю унизительным для своего имени защищаться от клеветы, очевидной для всех. Правительство может отнять у меня жизнь, но честь останется при мне!

Всемерное усердие прокурора в процессе Нечаева было поддержано и укреплено еще и усилиями председателя.

Присяжные подобраны подходящие, и оправдания можно не ждать. Но, панически боясь, что присяжные признают Нечаева заслуживающим снисхождения, председатель считает необходимым в своем резюмэ предупредить их: „Помните о присяге, которую вы принесли! Милость, не основанная на обстоятельствах дела, была бы незаконной, была бы неправосудием, равносильным произволу. Вы не имеете права произвольно давать снисхождение!“ Резюмэ подействовало. Присяжные не выдали, председателя не подвели и карьеры ему не испортили. Короткий ответ присяжных на вопрос о виновности Нечаева „да, виновен“ не упомянул о снисхождении. Просиявший председатель суда получил возможность торжественно возгласить: „Носящего звание городского приходского учителя, Сергея Геннадиевича Нечаева, 25 лет, лишив всех прав состояния, сослать в каторжные работы в рудниках на двадцать пять лет, а затем поселить в Сибири навсегда“.

— Долой деспотизм! Да здравствует Учредительное Собрание! — восклицает в ответ на приговор С. Нечаев в зале суда.

Придавая совершенно особое значение личности „государственного преступника Нечаева“, правительство, вместо ссылки на каторгу, решает оставить его в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Пусть остается здесь же, в Петербурге, рядом. Это спокойнее. Но сразу перевести Нечаева в Петропавловку власти не рискуют. С соблюдением „самых тщательных мер предосторожностей“ Нечаева отправляют по железной дороге на Смоленск и Витебск, чтобы замести следы, долго возят его с места на место по всей России, и только после этого кружным путем возвращают в Алексеевский равелин.

Не напрасно приняты все эти меры. Преступник на этот раз, и вправду, исключительный. Даже под зловещими сводами равелина Нечаев остается опасным. Он заживо погребен, но энергия его не сломлена. Он полон сил и решительности. Борьба продолжается.

Уже в первые дни, как только Нечаева привезли из-за границы, задолго до суда, к нему в каземат явился было с визитом граф Левашов. Он весь — воплощенная любезность, сплошная предупредительность. — Вы, молодой человек, плохо знаете нас, жандармов. Поверьте, мы умеем разбираться в людях. Вас, например, господин Нечаев, мы вовсе не смешиваем с другими, обыкновенными революционерами. Мы вас ценим. Если бы, например, вы согласились составить для нас записку, мы сумели бы быть благодарными.

— Какую записку?

— Ну, конечно же, только общего свойства. Не подумайте ничего дурного. Мы ведь вовсе не ждем от вас названия имен или там персональных разоблачений. Храни бог! Нам бы только в общих чертах записку от вас для Третьего отделения получить. Ну, там, о составе, о численности и средствах революционной партии. Мало ли о чем. О планах партии, например, об ее связях. Не нам вас, господин Нечаев, учить. Ученого учить—только портить. А уж, как бы мы отблагодарить сумели! Могу вам исключительные, „блестящие по выгодности условия“ предложить.

— Подите вон! — отвечает Нечаев, глядя в упор в глаза смутившегося графа Левашова: — Подите вон, и радуйтесь, что я—арестант и не могу больше ничем ответить на ваше подлое предложение. Ступайте!

Как ни решителен этот ответ на предложение, власти не оставляют своих попыток.

Когда—на третий год одиночного заключения в равелине,—Нечаева посетил шеф жандармов, генерал Потапов, он возобновил прежнее предложение о сообщении полезных сведений. Нечаев отвечает ему презрительным отказом.

Генерал Потапов обижен. Проявлять презрение к нему, шефу жандармов, да еще в присутствии всей свиты, генерала Корсакова, офицеров и жандармов, — это ли не предел дерзости?

— Не забывайте, что вы каторжник, — гремит генерал: — Как каторжника, я во всякое время имею право подвергнуть вас телесному наказанию.

Генеральская угроза не остается без последствий. Едва прозвучали эти надменные слова, Нечаев кинулся на Потапова и, в присутствии всей свиты, ударил его по лицу. Пощечина оказалась настолько сильной, что у генерала Потапова „хлынула кровь из носу и изо рта". Впечатление от небывалой дерзости оказалось так велико, что присутствующие не сразу догадались схватить рассвирепевшего Нечаева и „за горло" оттащить его от „жертвы" в блестящем мундире.

Никаких иных последствий, кроме административных, дело так и не имело. Шеф жандармов не счел для себя удобным раздувать полученную неприятность в событие.

— Пусть Нечаева немедленно прикуют к стенке каземата,—больше генерал ничего не требует.

Даже после этой пощечины, данной Нечаевым Потапову, правительственные сферы не оставили мысли о том, чтобы каким бы то ни было путем „использовать" Нечаева. Через полгода после визита Потапова (в июле 1875 г.) комендант Петропавловки обращается к Нечаеву от имени правительства с просьбой „изложить свой образ

мыслей и взгляд на положение вообще". От предложенных ему письменных принадлежностей узник не отказывается, но, вместо того ответа, на какой рассчитывало Третье отделение, Нечаев пишет большое письмо царю Александру II. До чего непохожим оказывается содержание этого гневного письма на те ожидания раскаяния и разоблачений, какие питало жандармское начальство! Все язвы политического и социального строя России перечисляет революционер в этом письме к самодержцу.—Ваше самодержавие отжило! Оно разлагается. Революция неминуема. Революция близка! — пишет Нечаев: — Если даже царское правительство решится созвать представителей народа для пересмотра основных законов, если самодержавие даже и пойдет на введение либеральной конституции, — то и это все только ослабит разрушительный характер грядущей революции, — предсказывает он здесь: — Революция и при таких условиях все же неизбежна. Она неминуема, она близка, спасительная буря революции!

В ответ на письмо к Александру II разгневанное начальство лишает Нечаева письменных принадлежностей. Узника заковывают в ножные и ручные кандалы, но борьба продолжается.

Через 6 лет после этого, по вступлении на престол Александра III, Нечаев обращается к новому государю с новым письмом. Копию этого документа Нечаев умудряется переслать Исполнительному Комитету Народной Воли. Документ этот „написан вместо чернил—кровью. Вместо пера служит ноготь". Уже 10-й год томится Нечаев в Алексеевском равелине, но дух его попрежнему крепок, настроение бодрое, и тон его все тот же—уверенный.

Новый начальник крепости, комендант Ганецкий, приказал заделать душники в каземате Нечаева, чтоб ли

шить его возможности доставать сажу для составления чернил. Ну, что ж, вместо чернил послужит кровь. В новом, написанном кровью, письме своем—Нечаев указывает, что „быть жертвой бесчеловечного произвола и молчать“ он не может и не хочет. Он не забудет ни одной из тех мелких придирок, какими изводит его начальство.—На каком основании генерал Ганецкий осмелился закрыть от него небо? „Верхнее стекло оконной рамы у меня было чистое, позволявшее мне видеть клочок неба. Нужно знать ужасы долголетнего заключения, чтоб понять, какую отраду доставляет узнику вид проходящего облака и сияние звезд ночью“.

По какому праву, на каком основании верхнее стекло оказалось заколочено? „Не надеется ли генерал Ганецкий довести меня этим до отчаяния, чтоб видеть слезы и муки бессильного бешенства, чтоб слышать безумные крики ярости, подобные тем, которые доносятся из каземата моего несчастного соседа по тюрьме, доведенного долголетним заключением до сумасшествия? О, нет! Я не доставлю Ганецкому такого удовольствия. Я желаю ему сохранить хоть сотую долю моего спокойствия и самообладания в тот день, когда его самого повезут на эшафот!“—так пишет, обращаясь к новому царю Александру III, С. Г. Нечаев.

Около десяти лет успел провести этот революционер в каменном мешке Алексеевского равелина. Но и теперь его тон—гордый и уверенный, и в своем письме к царю он говорит о грядущей революции, о том эшафоте, какой ожидает в будущем генералов Ганецких.

Такого же тона держится Нечаев и в той части письма, какая касается лично Александра III. „Так как нигде в мире произвол представителей администрации не

достигает таких размеров, как в России,—то я счел своим долгом довести до сведения вашего величества об отягчении условий моей тюремной жизни",—пишет С. Г. Нечаев.

Он, Нечаев, вовсе не ждет в результате этого своего письма каких-либо облегчений. Напротив! „Я не удивлюсь, если это письмо еще более ухудшит мое положение". Но он хочет установить, что виновником издевательства над заключенными являются не одни только тюремщики, но и сам царь, лично.

— Помни о Людовике, который попал в Бастилию,— вот главные ноты письма Нечаева к Александру III:

„Пусть отныне всякое дальнейшее угнетение меня будет уже совершаться с вашего высочайшего ведома, в силу вашей царственной воли. Людовик XVI также понял ужасы страданий узников Бастилии только тогда, когда сам попал в государственную тюрьму".

Впрочем, железная воля Нечаева, полностью сохраненная им во мраке каземата, проявляет себя в этот период не в одних лишь письмах к царю. Этот изумительный человек проявляет себя еще и по иному. В течение нескольких лет кряду Нечаев, оставаясь в равелине, умудряется сохранить тесную связь с Народной Волей. Он непрестанно шлет членам Исп. Комитета свои письма и каким-то чудом добивается, чтоб присылаемые ему ответы достигали его рук.

После пощечины, данной Нечаевым генералу Потапову, условия заключения его стали кошмарны. Нечаева заковали по рукам и ногам и приковали цепью к стене каземата. Два года он провалялся прикованный в темном углу, но живучесть его, его энергия и бодрость остаются и теперь неизменны.—Он подождет, он перетерпит. Когда

через два года узник был раскован, он сразу же взялся за завоевание новых возможностей. Нечаев решил раньше всего добиться права получать книги и письменные принадлежности. Книги в равелине есть, но это не те, какие желает получить Нечаев. Он требует иных и новых. В требовании этом ему отказано. Нечаев объявляет голодовку.

Дни идут за днями. Нечаев не ест и не пьет. Даже смотритель и тюремщики взволнованы и напряженно следят.—Неужто так и умрет с голоду этот удивительный человек?

Нечаев продолжает голодовку. Он уже не в силах подняться с койки, он уже цепенеет, у него мутные глаза, но от требований своих отказаться он не соглашается. Во что бы то ни стало ему нужны именно те книги, какие он указал.

Нечаев при смерти. Голодовка уже лишила его последних сил, но смотритель крепости, потрясенный настойчивостью узника, успел-таки выхлопотать у коменданта ассигновку на покупку требуемых книг.

Нечаев победил! Голодовка кончена. Поразительная живучесть Нечаева выручает его и на этот раз.

Нечаев поправился. Он полон новых сил и планов. День его правильно и строго распределен между гимнастикой, чтением и письмом. Здоровье его крепнет. Силы прибавляются. „Мы еще, чорт возьми, повоюем!“

Нечаев действительно повоевал. Если и в те годы, когда, прикованный к кольцу, он был обречен неподвижно валяться на цепи в углу каземата,—он неустанно и неослабно занимался агитацией и пропагандой среди тюремщиков, надзирателей и жандармов, то теперь он с новыми силами берется за работу.

На первый взгляд, дело безнадежно. О чем ни заговаривает Нечаев,—тюремщики молчат. Но Нечаева это не смущает:

— Молчишь? Тебе запрещено говорить? А знаешь ты, за что я сижу?

Тюремщик блюдет инструкцию. Молчит, как воды в рот набрал.

Нечаев меняет тон, он больше не обращается к жандарму. Он его знать не хочет.

— За него же, за его отцов и братьев погубишь свою жизнь, а когда заберут тебя, да на цепь посадят,—этого же дурака к тебе приставят. И стережет он тебя лучше собаки. Разве это люди? Это скоты несмысленные!

Долго ли, коротко ли ведет свои речи Нечаев, но в конце концов задетый за живое часовой не выдерживает и бормочет что-то о долге, о присяге. С этого момента победа обеспечена. Нечаев отвечал громовыми речами о том, что такое подлинный долг, об отношениях между народом и царем, о священном писании, которое он успел основательно изучить в равелине...

Это далеко не все,—рассказывают биографы Нечаева: Каждого из тюремщиков, доведенного до того, что он начинал отвечать на вопросы, Нечаев расспрашивал обо всем и умудрялся узнавать о сторожах и жандармах самые интимные случаи их жизни. Пользуясь этим, он иногда поражал их своей прозорливостью, казавшейся им сверхъестественной. Пользуясь исключительностью своего положения, наводившей солдат на мысль, что пред ними находится „очень важный“ человек, Нечаев намекал на свои связи, на своих товарищей, говорил о царе, о партии наследника, которая будто бы стоит за него...

Пощечина, данная генералу Потапову, небывалая настойчивость, с какой Нечаев добился получения требуемых им книг, самое снятие с него кандалов,—все это рисуется солдатам, как доказательство влиятельности высокопоставленных покровителей Нечаева. Солдаты побаиваются этого странного арестанта, чьи пылкие речи отличаются такой убедительностью, чьи глаза кажутся как бы гипнотизирующими. Впрочем, Нечаева не только боятся, его любят. „Наш орел",—называют его солдаты между собой. Зачастую, чтобы доставить ему удовольствие, солдаты на собственный счет покупают ему газеты и съестные припасы.

Приемы, какими пользуется узник, построены на прежней его системе компромиссов. Все средства хороши, только бы они вели к цели.

В своих разговорах с солдатами, Нечаев часто говорит напр., о своей огромной влиятельности. Пусть они не забывают, что партия наследника, к которой он, Нечаев, будто бы принадлежит, в скором времени должна свергнуть Александра II, и тогда от него, Нечаева, будет зависеть все и вся на Руси. Покушение Соловьева как будто оправдывает эти слова, и влияние Нечаева в среде тюремной стражи усиливается чрезвычайно. Узник успевает убедить каждого из сторожей в отдельности, что остальные уже давно „перешли на сторону наследника", и служат ему, Нечаеву... И тюремщики, один за другим, взволнованные пылкими речами арестанта, о том, как будет перестроена жизнь, обещают служить ему верой и правдой. „Первый, согласившийся на это, был вполне уверен, что он чуть не последний, и что все сторожа крепости уже находятся на службе у Нечаева".

Результаты нечаевской пропаганды сказываются весьма

наглядно. Как мы уже знаем, при помощи стражи равелина Нечаев успел завести правильные сношения с Перовской, Желябовым и др., мы знаем уже, какие легенды об этом возникли и сохранились до наших дней. „Былое“ сообщило, напр., что „лицо, очень близко знавшее тогдашние дела Исполнительного Комитета“, с уверенностью свидетельствует, что „в этот период Желябов даже виделся с Нечаевым и лично говорил с ним“. Связи с Исполнительным Комитетом налажены и сообщение ведется регулярно.

На очереди вопрос об устройстве побега Нечаева из равелина.

Стража распропагандирована, первоначальная подготовка дела закончена. Нечаев успел уже тщательно изучить и план крепости, и состав ее войск, и личности начальствующих, и порядок дежурств.

Все, что нужно для совершения побега, уже подготовлено полностью. Желябов, который будто бы „лично осмотрел равелин“,—признал побег, при наличности правильной организации с воли, „не только осуществимым, но даже не особенно трудным“. Нечаеву переданы уже от Исполнительного Комитета деньги на осуществление побега. Пора приниматься за дело.

Но революционер с ног до головы, неугомонный Нечаев одним побегом ограничиться не желает. Его планы несравненно значительнее и отважнее. Надо выяснить, в какой день года царская фамилия по старой традиции присутствует в Петропавловском соборе, где находятся могилы былых представителей дома Романовых. В этот день,—настаивает Нечаев,—надо при помощи близких лиц из состава стражи овладеть крепостью и собором, и сразу же заключить царя в каземат.

Планы деятельности разработаны заточенным детально. В первую очередь подготовлены несколько подложных манифестов, которые надлежит опубликовать по плану Нечаева.

Первый из этих, составленных Нечаевым, манифестов объявляет верноподданным о восстановлении крепостного права, о возвращении крестьян помещикам, об увеличении сроков солдатской службы, о разорении всех старообрядческих молелен и т. п. Задача этого документа—утвердить по всей России уверенность, что пребывание царя на свободе грозит исключительными бедствиями.

Следующий подлежащий распространению манифест должен был сообщить о том, что „всемогущему богу угодно было послать России тяжкое испытание: император заболел недугом умопомешательства и впал в неразумие". После опубликования этого заявления должно,—настаивает Нечаев,—распространить новый манифест от имени Великого Земского Собора с извещением, что царя больше нет, ибо он с ума сошел, и что Земский Собор в силу этого предписывает немедленно освободить всех солдат от службы, а также во всех селениях по получении сего „немедля ни мало, собирать мирские сходы и приступить к справедливому переделу всей земли". Манифест предусматривает целый ряд срочных мероприятий. „Волостных старшин и писарей отрешить от должности. Помещиков и дворян, которые сему манифесту воспротивятся, хватать и представлять для расправы на мирские сходы. Всех исправников и становых немедленно предавать смерти" и т. д. и т. д. В самом конце манифеста значатся сакраментальные слова: „Быть по сему".

Планы Нечаева одобрения Исполнительного Комитета, конечно, не получили. Манифесты, предложенные им,

равно как и самый план захватить в Петропавловском соборе царскую семью, отринуты. Вопрос ставится в узких рамках организации побега, освобождения Нечаева. И вот здесь-то и возникает, как мы уже знаем, вопрос о том, что важнее, что выгоднее в интересах революции: взяться ли за освобождение Нечаева, или затратить все силы на дело цареубийства.

Взяться за оба дела одновременно—Исполнительному Комитету не по силам и, оставив дело Нечаева, Народная Воля берется за дело цареубийства. Заточенный Нечаев не только умеет забыть о своих интересах, но и делает это с легким сердцем, сохраняя в своих письмах на имя Комитета бодрый, уверенный и веселый тон.

— Пусть товарищи делают свое дело! Пусть они исполняют задание по исполнению приговора над Александром II.

С. Г. Нечаев не мог не знать, что допустить отсрочку —это значит навсегда загубить задуманный план его освобождения из равелина. Сразу же после взрыва 1-го марта по всей России, а особенно в Петропавловской крепости, усилились строгости.

Кроме общих причин, нашлись и местные.

Уже через несколько дней после взрыва 1-го марта, при аресте С. Л. Перовской, у нее найдены и отобраны адреса женщин, близких солдатам, входящим в состав стражи Алексеевского равелина. Добывание этих адресов, отыскание женщин, при помощи которых можно получать из равелина письма Нечаева, женщин, через кого возможно вообще оказывать влияние на тюремную стражу, — в свое время было произведено по инициативе Нечаева и потребовало огромных усилий. Отобрание адресов этих женщин привлекло настойчивое внимание власти. В это

же время бдительное начальство успело узнать, что сын смотрителя крепости, полковника Богородского, „вел знакомства с политическими“ и способствовал передаче арестованным разных книг с шифрованными надписями. Арестован юноша Богородский, арестован и его отец, полковник. Арестован, наконец, революционер С. Златопольский, который, как сразу же выяснилось, жил в Петербурге специально „для подготовки побега Нечаева из равелина“.

Все эти новые открытия, произведенные в атмосфере паники, порожденной только что осуществленным цареубийством, вызывают небывалые строгости во всем обиходе и режиме равелина. Стены равелина внимательно осматриваются и простукиваются. Во всех подозрительных местах производится серьезный ремонт. Усилены караулы и обходы, идет коренная чистка стражи и охраны крепости. Но, как бы издеваясь над всеми этими мерами, С. Г. Нечаев как ни в чем не бывало продолжает прежние свои сношения с волей. Без сучка и задоринки, правильно и точно, как хронометр, работает налаженный Нечаевым аппарат.

Уже и после убийства Александра II свыше года продолжается регулярная связь Нечаева с волей. Только в 1882 году выведенное из терпения начальство приступило наконец к радикальной борьбе со всесильным узником. Произведены массовые аресты среди солдат Алексеевского равелина и всех их знакомых на воле. Совершенно реформирован весь сверху донизу режим равелина. Вновь назначенный смотритель Соколов, знаменитый впоследствии в революционной среде „Ирод“, сумел наладить новые порядки и сделать отныне невозможным прежнюю связь с волей заточенного Нечаева.

Только теперь загублены и уничтожены планы Нечаева. Но вместе с разрушением последних своих надежд погибает и сам Нечаев. Долгие годы своего заточения в равелине он жил и горел одной только мыслью о воле, о борьбе, о продолжении своей революционной деятельности. Если эти мечты загублены,—нечем жить, незачем жить революционеру. Только гигантское, нечеловеческое напряжение сил помогало ему до этого времени одолевать злую чахотку, гложущую его. Теперь это напряжение сил больше не нужно.

В ночь на 9-ое мая 1883 года С. Г. Нечаев умер. Самая смерть его, как будто на зло попечительному начальству равелина, последовала так тихо, что стража так и прозевала, не досмотрела момента кончины.

Имеются, впрочем, сведения, что Нечаев „не своей смертью умер", а был повешен в крепости. Казнь будто бы была произведена без суда, по приказанию его величества, после того, как раскрылось „разложение", произведенное им путем пропаганды среди крепостных солдат. Документальных доказательств этого не имеется. Известно только, что после кончины Нечаева весь состав стражи Алексеевского равелина отдан под суд за преступления по службе. Суд установил, что чуть ли не весь состав стражи находился на службе революции, состоял в распоряжении узника Нечаева, и „верой и правдой", не только за страх, но и за совесть, исполнял его приказания. Раскрытым оказался весь мощный аппарат, каким пользовался заключенный для регулярных сношений с грозным комитетом Народной Воли.

Правительство в ужасе. В результате процесса признаны виновными целых 25 человек со смотрителем Филимоновым во главе, и приговор суда для осужденных

содержит целые сотни лет пребывания в дисциплинарных батальонах и в разряде штрафованных.

* * *

Каракозов, Стефанович, Нечаев... Как ни различны по масштабу, по всей психике своей эти люди, но в жизни каждого из них одинаково сказывается компромисс, неустойчивость. Темные провалы сменяют головокружительные подъемы, яркое величие подвига заменяется грустными уклонами и падениями.

Иными не могли быть революционеры-„одиночки“, оторванные от массы.

Не по ошибкам, компромиссам и падениям, но по героическим главам жизни—вспомянет их имена разбившая былые цепи Россия.

ГЛАВА VII.

Мужицкие бунты.

Если в отдельные моменты освободительной борьбы — главное впечатление производят личности революционеров, отражающие стоящую за ними толпу, — то в выступлениях крестьян и рабочих на первом плане остаются именно толпы. Здесь все непосредственно спаяны друг с другом. Все за одного, и один за всех.

Мы видели массы, поднятые еще Стенькой Разиным, увидим в дальнейшем, как проявляла себя рабоче-крестьянская толпа в 1905-м и 1917-м году. Но уже и в эпоху освобождения крестьян от крепостного ига, в шестидесятые годы, по всей мужицкой России кровавой волной прокатываются волнения.

Достаточно всмотреться хотя бы в несколько эпизодов мужицкого движения этого времени, чтобы получить ясное представление о том, как проявляла себя крестьянская масса по всей России.

Одним из типичных эпизодов эпохи являются, напр., волнения крестьян при получении манифеста и Положения в селе Кондеевке.

Бунт в Кондеевке, Пензенской губернии, охватил район в четыре уезда. Выражение „Положения“ отбывать барщину понято здесь крестьянами, как царский приказ барщину отбивать. За отбитие решено взяться со

всей энергией. Для начала крестьяне „маленько потрепали“ отца духовного, священника, усомнившегося в мужицком толковании царского манифеста. Когда исправник вздумал было арестовать и заковать в кандалы „горлопанов“-зачинщиков, — крестьяне сами арестовали пристава. — Он царский ослушник. Барами подкуплен! Рота солдат, направленная на освобождение пристава, успевает выручить его, лишь убив трех крестьян и ранив четырех. Но и войска крестьян „не убедили“. Они уверены, что „это войско не царское, а дворянское. Настоящее войско еще только идет. Оно послано царем к нам на выручку“.

О бунте в Кондеевке сохранились воспоминания стоявшаго в главе усмирения генерал-майора Дринякина. При всей специфичности источника, даже и в этих воспоминаниях ясно видна необычайная стойкость, проявляемая крестьянами.

Решившись „отбивать волю“, крестьяне раньше всего приступают к организации. Выборные разъезжают из села в село, устраивают повсюду собрания для обсуждения воли. Переход этих выборных, депутатов народных, из одного села в другое—имеет вид триумфального шествия. На высокий шест привешен большой красный платок. Знамя это вставлено в колесо, колесо положено на телегу, и в таком виде символ освобождения—первый красный флаг, реющий над землей русской—развозится по селам. За ним идет масса крестьян, баб и детей. Едва они выступают за околицу—жалуется генерал-майор Дринякин, как навстречу с криком „Воля, воля!“ высыпает все крестьянство от мала до велика.

Волнующиеся села поддерживают между собой связь. Главным штабом считается Кондеевка; по пути к ней крестьянами установлены разъезды и пикеты.

Кондеевский бунт считался исключительно серьезным. Уже вытребован и Казанский полк, и Тарутинский. Выписан еще и стрелковый батальон. Начальник экспедиции, генерал Дринякин, испросил даже особое высочайшее разрешение, не ограничиваясь экзекуцией, присуждать виновных к карам по своему собственному суду, немедленно и безапелляционно.

Суд произведен – если не особенно правый и милостивый, то во всяком случае скорый. Войска размещены военным лагерем с правильно организованной аванпостной службой и патрулями. 17 апреля 1861 года, накануне решительного боя с крестьянами, ген. Дринякин устроил специальный „военный совет для выработки диспозиции". В „Записках" своих ген. Дринякин сообщает, что „в его план входило поджечь село", чтобы этим способом „выгнать крестьян в поле и там расправиться с ними".

Расправиться удалось и без этого.

Крестьяне единодушно кричат, что они не бунтовщики, что они готовы умереть за бога и царя, но воля им нужна настоящая, а по поддельному манифесту они на помещиков работать не пойдут. Угроза стрелять не действует. Тогда Дринякин приказал на глазах крестьян зарядить ружья и дать залп. Три следовавшие один за другим залпа не устрашают толпу. Хотя десятки крестьян падают, пораженные солдатскими пулями, остальная толпа продолжает свой крик „Воля, воля!"—и лишь придвигается ближе к войскам. После выстрелов в толпу — пишет Дринякин в свом донесении—поле покрылось сорвавшимися со дворов лошадьми, на которых верхами приезжали в Кондеевку „сторонние" крестьяне из соседних деревень, явившиеся, чтобы участвовать в сопротивлении и добиться настоящей, а не „дворянской" воли.

— За бога и царя умираем! повторяют крестьяне. Новые залпы, все новые и новые жертвы валятся от солдатских пуль. Но крестьяне стоят на своем. — Хоть и все умрем, а на работу к господам не пойдем.

Даже Дринякин принужден был сознаться, что залпами с крестьянами не справиться. Солдатам приказано ринуться в толпу, оцепить часть ее и здесь же, на месте, начать расправу шпицрутенами и розгами. Но и теперь крестьяне проявляют силу воли потрясающую. Уже двадцать девять человек проведены по „зеленой улице", но без стона терпят муку наказываемые, обливаясь кровью. „Когда в промежутках между шпицрутенами у окровавленнаго крестьянина, спина котораго представляла одну безформенную массу, из которой торчали куски врезавшихся в тело прутьев, спрашивали: — пойдет ли он на работу, — наказываемый „только вздохнет, как будто свободнее, и говорит: — На работу не пойду. Дорезывайте меня".

И снова движутся процессии „по зеленой улице", снова свистят шпицрутены и льется кровь. Крестьяне терпят муки без стона, без вопля.

„Упорство и сила вкоренившихся в крестьянах убеждений были весьма велики", — эпически спокойно говорит в своем донесении генерал Дринякин.

Не легко было бравому генералу с его войсками добиться победы и одоления над безоружными крестьянами. Но победа все же одержана.

Похоронены убитые во время расстрела. Из выпоротых сто двадцать три человека отосланы в Сибирь и на каторгу. В ответ на донесение о Кондеевском усмирении генерал Дринякин двадцать третьяго апреля получил от императора следующую телеграмму: „Христос воскресе! Благодарю за дельные распоряжения. Александр".

„Дельные распоряжения“ такого рода, скорострельные расправы над крестьянами были бытовым явлением не только в ту эпоху. Но во дни освобождения крестьян они были до такой степени обычны, что, напр., бытописатели эпохи со всей серьезностью прославляют того из адъютантов, барона Корфа, который обошелся без кровопролития. Генерал умудрился проявить „гениальную“, по выражению „Гражданина“ князя Мещерскаго, находчивость. Безмолвная и неподвижная мужицкая толпа, от которой барон Корф во флигель-адъютанском мундире требовал изъявления покорности, ответила ему мертвым молчанием.

— Разойтись! — командует барон, но мужики остаются на месте.

В тот момент, когда во имя спасения престижа власти воинская команда уже готова была начать расстрел, барон Корф придумал вдруг новый способ усмирения:

— Повозки сюда! — приказывает громовым голосом генерал солдатам.

— Женщин и детей сажать в повозки! Немедленно увозить всех в губернии, куда я назначу.

Пока появились первые повозки с солдатами, крестьянская громада продолжала стоять. Царило мертвое и торжественное молчание.

Но вот солдаты взялись за дело. Неистово вопящих женщин, громко кричащих детей солдаты хватают и рассаживают по повозкам. Первые минуты толпа стояла, не дрогнув. Но все усиливаются женские вопли, все невыносимее делается детский плач. И вот дрогнула, стала шевелиться громада. Камень превратился в людей. Глухой стон прошел по рядам. Барон Корф „стоял неподвижно, крутя усы: — удастся, или не удастся?“

„Вдруг послышался какой-то странный шум. Точно сговорившись, все три тысячи человек бросились на колени“. Мятеж кончился. Не сдававшаяся перед напором войск перед страхом расстрела, толпа сдалась перед угрозою лишиться жен и детей „Гениальная находчивость молодого флигель-адъютанта“, — говорит, захлебываясь, описывая этот случай, князь Мещерский, — „дала блестящие результаты“.

Крестьянские беспорядки в дни „освобождения“ представляют собой явление повсеместное.

Если самое существо работ по делу об „освобождении“ крестьян отмечено было, как известно, крайней трусливостью, половинчатостью и стремлением усесться на два стула сразу, то еще большую, совсем уже паническую, трусость проявляют сферы в деле опубликования манифеста.

И сам царь, и все его приближенные боятся взрыва. Они уверены, что стоит хотя бы на минуту ослабить туго натянутые возжи—и озверевший народ сразу же начнет крушить и громить все и всех, сверху донизу. Обойтись без манифеста о воле, к сожалению, никак нельзя, тем судорожнее принимаются всяческие меры. Заблаговременно назначенным генерал-губернаторам даются необычайно-широкие полномочия. Повсеместно мобилизованы на предмет решительнаго подавления ожидаемых беспорядков воинские команды.

„Осени себя крестным знамением, русский народ“. — рекомендует манифест. Но начальство принимает все меры, чтобы народ осенять себя крестом не спешил, и осенял, по возможности, в рассрочку. Со всеми сразу никак не управиться.

Оглашается манифест „в рассрочку“: подписан он девятнадцатого февраля, но опубликовывают его в Мос-

кве 4-го марта, в Воронеже лишь десятаго, в Уфе пятнадцатого, в Астрахани двадцать первого марта, а в Кишиневе, например, и вовсе в апреле месяце.

Слухи о манифесте, таким образом, до его огласки проникают в разные слои, но со слухами этими борются круто и решительно. Манифест уже подписан, но еще и теперь, даже в самом Петербурге, в полиции усердно наказывают розгами виновных в распространении слухов о предстоящем освобождении крестьян. Даже и после того, как манифест уже опубликован, органам печати строжайше воспрещено касаться этой темы. Даже такая газета, как „Московские Ведомости", когда через три дня после опубликования манифеста рискнула упомянуть о событии („В ту минуту, как мы пишем эти строки, миллионы наших братьев с любовью и сердечным умилением произносят во веки благословенное имя императора Александра II"), — осмелилась сделать это только „фуксом", в отделе библиографии, на 4-й странице, поместив эти строки в рецензии о книге по вопросам землепользования.

Даже для пышных славословий по адресу монарха нужны были по тем временам цензурные ухищрения.

Записки современников передают много любопытнейших деталей об этом „дне, когда прозвучало слово освобождения". Как ни робко и убого было оно, но в те времена значение его было огромно.—„Кто же мог ручаться", — спрашивал впоследствии М. Е. Салтыков, — „что без этого слова Сенька не лизал бы горячую печку и до сей минуты, а девка Ольга не ходила бы и до сей минуты оплеванная. Где гарантии противного? В нравах, что ли? Но разве не известно, что славяне имеют нрав веселый, легкий и мало углубляющийся".

„Веселый и легкий нрав славян“ проявился полностью в эти дни. Как писал И. С. Тургенев А. И. Герцену,— самый манифест „самым явным образом написан был по-французски и переведен на неуклюжий русский язык каким-нибудь немцем. Его ни один русский мужик не поймет“.

— Даже и образованные люди,—говорит Джаншиев,— выносили очень смутное впечатление при чтении этого неуклюжего, черствого, объемистого документа. Нетрудно понять, какой сумбур образовывался в головах массы крестьян при слушании этого растянутого образца приказной семинарской риторики.

Не только в деревне, но и в городе своеобразно встречено событие освобождения крестьян. Славянофильствующий М. П. Погодин, сам бывший крепостной, бия себя в грудь, уверял, впрочем, что народ русский сумеет оценить монаршую милость. Теперь Россия возликует,— предсказывает он: „Крестьяне в назначенный день“,— дословно уверяет М. П. Погодин,—„нарядятся в свои праздничные кафтаны, пригладят волосы квасом, пойдут с женами и детьми молиться богу, а оттуда, из церкви, потянутся длинной чередой к своим помещикам, и не только добрым, но и к недобрым, ибо в семье не без урода, а кто старое помянет — тому глаз вон. Крестьяне поднесут своим помещикам хлеб-соль, и, низко кланяясь, скажут: „Спасибо вашей чести на том добре, что и мы, и наши отцы и деды от вас пользовались; не оставьте нас и напредки вашей милостью, а мы навсегда ваши слуги и работники“. — Вот как, — предсказывал М. Погодин, „сам бывший крепостной“, — „пройдет день оглашения манифеста“.

Сложное дело политические предсказания! Удаются они современникам во дни освобождения крестьян ничуть

не больше, чем и в октябре семнадцатого года, когда все мудрецы хором предрекали, что приход большевиков к власти — это, конечно, „несерьезно“, и что через три недели, не больше, „большевики кончатся“.

Трудное это дело — быть современником во дни исторических переломов, а еще труднее — быть умным современником.

Столь точно предсказывавший будущее, М. П. Погодин был очень разочарован „казенной обстановкой“, в какой совершилось опубликование манифеста в Петербурге. „Патрулей много, а ликования мало“, говорит он и спешит в Москву, чтоб поспеть ко дню, на какой назначено объявление воли, чтобы „воочию увидеть, как Москва в Кремле у Ивана Великого будет чествовать великое событие“. Но и на этот раз Погодина ждет полное разочарование. В Москве были приняты еще более суровые полицейские меры предосторожности, чем в Петербурге. „Народу на улицах было немного“,—удивляется Погодин,— „как ни странно, в этот день ни разу не оглашался Кремль криком ура“.

Радоваться по случаю освобождения крестьян вообще не полагалось. Это считается неблагонадежным. Примеров ликования очень немного. „Московские Ведомости“ лишь от 14-го марта, через девять дней после опубликования манифеста, впервые указывают на пример такого рода: нашлись, оказывается, люди, которые сочли благовременным устроить банкет. Празднество состоялось в Самаринском трактире. Собралось тридцать два человека: литераторы, помещики, купцы, артисты и чиновники: „Все поздравляли друг друга с великим радостным событием. Некоторые даже христосовались, называя день освобождения крестьян нашим гражданским воскресением“.

Банкет идет по всем правилам. „Тост за здоровье царя-освободителя был провозглашен старейшим из присутствующих, некиим Щ. (это был актер М. С. Щепкин, сам в прошлом препостной; имени его „Московские Ведомости“ Корша, из опасения скомпрометировать его в глазах начальства назвать так и не рискнули). „Голос его дрожал“, — говорит газета, — „он хотел что-то сказать, но залился слезами и говорить не мог“. На банкете возникла мысль ознаменовать этот торжественный день какимнибудь добрым делом на пользу освобождаемых. Решено было на другой же день освободить хоть одного из дворовых людей (на ближайшие годы они, по манифесту, оставались в прежнем положении). Но так как „из присутствующих ни у кого не было собственных дворовых, то они ограничились решением склонять к этому других“.

Это, как известно, много легче.

Эти же энтузиасты на своем банкете затеяли открыть с разрешения правительства подписку для учреждения „благотворительного общества попечения об освобождаемых“, но разрешения правительства на это не последовало, и энтузиазм пирующих разрешился в наиболее простой и экономной форме, в виде застольных речей.

Благо всем, ведущим к свету,
Братьям, с братьев снявшим гнет,

— вещает в своих стихах И. С. Аксаков.

Людям мир, благословенье...
Горьких мук исчезнет след.
Дню вчерашнему забвенье,
Дню грядущему привет,

Ликования всяческого было в те дни много. „Дурак Иванушка, чему смеешься?“—спрашивал в те дни М. Салтыков. — „Или сердце в тебе взыграло? Смейся, дурачек! Сам Зубатов отменно рад, что ты смеешься. В другое время он сказал бы тебе: Чего, ска-а-тина, рот до ушей дерешь! Ну, а теперь — ничего. Спешит даже поскорей отрапортовать, куда следует: — Засмеялся, дескать!“

Главной заботой являлось в те дни, чтобы „Иванушка“ не бунтовал. Смеяться и ликовать разрешили.

Постепенно, в рассрочку, ликование с разрешения начальства распространяется по градам и весям необъятной России. Наиболее эфектно отпразднован день объявления воли почему-то именно в Архангельске, затмившем, по отзывам современников, даже столицы. Город пышно разукрашен флагами и роскошно иллюминован. На щитах, горевших у театра, колыхается цифра 21.625.609 — число освобожденных крестьян. После празднества флаги предписано отдать „на передники бедным девочкам“. После богослужения, на котором, по приказанию властей, собраны все имеющиеся на лицо в городе крепостные, — губернатор показывает совершенно небывалый „номер“. Он приглашает крепостных к себе. После торжественной речи мужчинам поднесено по стакану пенника, а женщинам по стакану тенерифа. Даже детям розданы пряники. „Ай-да Архангельск! Хоть и северный город, а чувства проявил самые пылкие!“ — удивляются „Московские Ведомости“.

Празднества, устраивающиеся в городах, имеют интерес курьеза.

Самым жутким и важным является, конечно, вопрос о том, как встретят манифест в деревне. Раньше всего,— как осведомить деревню о новых порядках? Способ для

этого выбран самый верный. В разные места командированы специальные флигель-адъютанты, которые от имени царя должны лично передавать в каждую деревню по два экземпляра заветной книги положения об освобождении. Книги передаются за казенной печатью, в пакете. Одна предназначается помещику, другая — миру, в лице старосты.

Усвоить содержание положения о крестьянах, огромного тома в четыреста страниц, состоящего из пятнадцати законоположений, написанных суконным казенным языком, очень нелегко даже и юристу. Легко понять, как мало могло вынести отсюда крепостное, сплошь неграмотное население. Даже помещики, и те ничего не поняли. И после объявления воли многие из них все еще не хотели верить, что их царству пришел конец. Долгие годы ждали они, что не сегодня-завтра „недоразумение кончится". Многие так и отошли в вечность в сладкой уверенности, что вот-вот, на этих днях, „хамы" для их же собственной пользы будут возвращены под отеческую власть помещиков.

Еще меньше могли разобраться в толстом томе положений сами крепостные. И. Ф. Самарин горько рассказывает о том, как он пытался объяснить крестьянам статьи „Положения". — „Где нам, батюшка, понять", — отвечали крестьяне, — „мы народ темный".

Флигель-адъютанты, специально ездившие из села в село для раздачи экземпляров положений, задачи свои понимали несколько своеобразно. Они усердно били по роже ямщиков, как полагалось, всемерно нагоняли страху, иллюстрируя этим важность своего положения царских посланцев, но по содержанию привезенного пакета — пояснений давать и не собирались. В воспоминаниях по-

мещика Крылова находим такую, например, сцену приезда в деревню флигель-адъютанта:

„Подкатила к барскому дому карета. С облучка соскочил солдат, а из саней вышел полковник.

„По селу мигом разнеслась весть, что привезли волю от царя". Пока полковник завтракал и обедал, народ собрался у конторы и ждал воли. Солдат, достав из саней два запечатанных пакета, подал их полковнику, и он с ними отправился на сходку. Сходка в пояс ему поклонилась, и полковник стал держать такую речь: „Вот тут два пакета, одинаково запечатанные. В них вложены одинаковые книги положения. Одна книга — помещику, а другая—крестьянам, которую вручаю вашему старосте. В этой книге написаны все ваши права и обязанности. В ней все найдете, что царь дал народу. Слушайтесь ваших помещиков и работайте, чтоб на вас жалоб не было".—Крестьяне низко поклонились и полковник ускакал в другие села.

Впрочем, флигель-адъютанты не ограничивались ролью передатчиков царского указа. Даже по описанию нововременского историка, Б. Б. Глинского, „роль их в некоторых местностях оказалась роковой. Вершители милостивой царской воли были обращены в палачей, брызнувших на великий акт свободы алой струей крови.

„Старый режим не хотел без мести уступать поле и скромным признакам новой эпохи. Кровавым светом осветили зарю новой жизни в России не либеральная, радикальная и революционная интеллигенция, а те, кто на словах изъявляли своему обожаемому монарху столько преданности".

Легко понять, какую путаницу создавали усилия крестьян понять „Положение", толстый том, переданный промелькнувшим, как метеор, флигель-адъютантом.

Общее разочарование, которое принес с собой манифест с указанием, что в ближайшие два года все будет по старому, — было резко усилено тем, что кому бы то ни было, за исключением чиновников и священников, читать и объяснять „Положение“ было строго воспрещено.

По всем деревням появляются самозванцы, которые называют себя то „царскими послами“, то „великими князьями“. Они заявляют, что явились переодетыми разузнать, как помещики обращаются с крестьянами, не обижают ли они их, не пытаются ли подменить манифест. Крестьяне встречают самозванцев чрезвычайно приветливо, устраивают в их пользу сборы по всем деревням.

Мемуары современников сохранили много деталей, характерных для крестьянских „недоразумений“ того времени. В Пермской и Оренбургской губерниях крестьяне твердо убеждены, что „царь пишет не иначе, как золотыми чернилами“, и поэтому верить манифесту, в котором нет ни одного слова, напечатанного золотом, они категорически отказываются. В Воронежской губернии крестьяне указывают на иное: царь еще с осени всех освободил. В манифесте прямо сказано: „Осени себя крестным знамением“, а помещики, гляди-ка, до весны волю задержали. В Тамбовской губернии уверенно утверждают, что царский манифест должен быть за большой печатью, а тот, который доставлен, имеет печать малую.

— Это воля не настоящая.

Повсюду, по всей России, мужики стоят на своем твердо и безбоязненно, и повсюду попечительное начальство принимает стародавние „решительные меры“.

Мужики самовольно устраивают сходы, чтобы выяснить положение.

— „Разойтись немедленно“!—рычит начальник военной команды, исправник, явившийся с казацким отрядом в село графа Строганова в Пермской губернии. — „Бунтовщики?! Я вас научу бунтовать!“

— „Пошто, ваше благородие, бунтовщики? Какие мы бунтовщики!“ —возмущаются крестьяне.— „Мы тебя ладом просим вразумить нас, темных людей, а ты говоришь: бунтовщики“.

Но действия скопом—это и есть бунт. Вместо объяснения „новых правов“, исправник приказал казакам сечь крестьян, но последние—говорит летописец,—„вышли из равновесия, связали казаков и лукаво предложили исправнику единоличными силами производить сечение“. Исправник предпочел удрать в Соликамск и оттуда послать губернатору донесение о бунте, прося командирования усиленной военной команды.

Рота солдат немедленно прислана.—„Разойтись немедленно! Стрелять буду“, — заявляет офицер.— „Ну что же, ваше благородие, ежели ты послан для озорства, так стреляй“.

Первый залп свалил несколько человек из крестьян, но зачинщики быстро остановили начавшуюся панику словами: „Ребята, подбери их, а ты, ваше благородие, стреляй. Чего же ты стал? Стреляй, коли тебя царь за тем послал. Ты баешь, что мы бунтовщики. Да ежели бы мы захотели бунтовать, так мы бы тебя со твоей . . . . командой одни снегом бы забросали. Чего же ты стал, стреляй!“

„Недоразумения“ такого рода происходят в эти дни повсеместно, по всей России.

В Пензенской губернии флигель-адъютант граф Олсуфьев встречен крестьянами с сомнением. — То ли насто-

ящий адъютант, то ли самозванец переодетый? Вместо долгих объяснений Олсуфьев приказал солдатам бить крестьян прикладами, а затем пороть их розгами. После этого сомнения, естественно, исчезли.—Сразу видать, что настоящий!

В Саратовской губернии, по воспоминаниям предводителя дворянства Шомпулева, крестьяне поверили в подлин-

ность манифеста не раньше, чем после жестокой порки. „Наказание“ — говорит Шомпулев, — „в виду упорного отказа покориться требованиям власти было черезмерно жестокое. Зачинщики, закусив руки, не произнесли ни одного звука во время их наказания, почему таковое и прекращено было лишь после того, как они оказались в бессознательном состоянии“. Народ неистово кричал: — „И нас секите, и нас“, а несколько женщин с тем же криком выбросили даже за цепь солдат своих грудных детей.

По приказанию губернатора начали сечь сразу по нескольку человек".

„Волю" вводили чрезвычайно старательно. В Воронежской губернии, в селе Тишанке, крестьяне, собравшись самовольно для обсуждения манифеста, отказались выдать зачинщиков и даже прогнали от себя самого губернатора, графа Толстого, приехавшего на усмирение из Воронежа.

„В Тишанку послано три батальона солдат. Привезено было четыре воза лоз", — описывает современник: — „и началось крещение тишанцев в новую вольную жизнь. Не разбирали ни возраста, ни пола. И старые, и малые, все одинаково были окунуты в купель новой жизни, все одинаково вкусили долгожданной воли. Число ударов определялось присутствовавшим здесь же военным врачем в пределах от трехсот до восьмисот ударов. Кроме того тишанцев судили военным судом, а унтер-офицера, посланного сходом в Петербург лично просить у государя „истинный манифест", сослали на каторгу.

После усмирения в провинившихся селах размещают гусар. Деревня оказывается не только разорена, но и совершенно терроризована. Солдаты щедро раздают зуботычины и подзатыльники мужикам, по-хозяйски подлаживаются к молодицам, воруют кур и поросят. Жители оказываются так напуганы, что боятся выходить из домов. Многие потихоньку в ночное время бегут и скрываются в соседних лесах.

Среди бесконечных „недоразумений", проявившихся в различных местах России в виде волнений, одним из наиболее ярких является знаменитый бунт Антона Петрова в селе Бездне Казанской губернии.

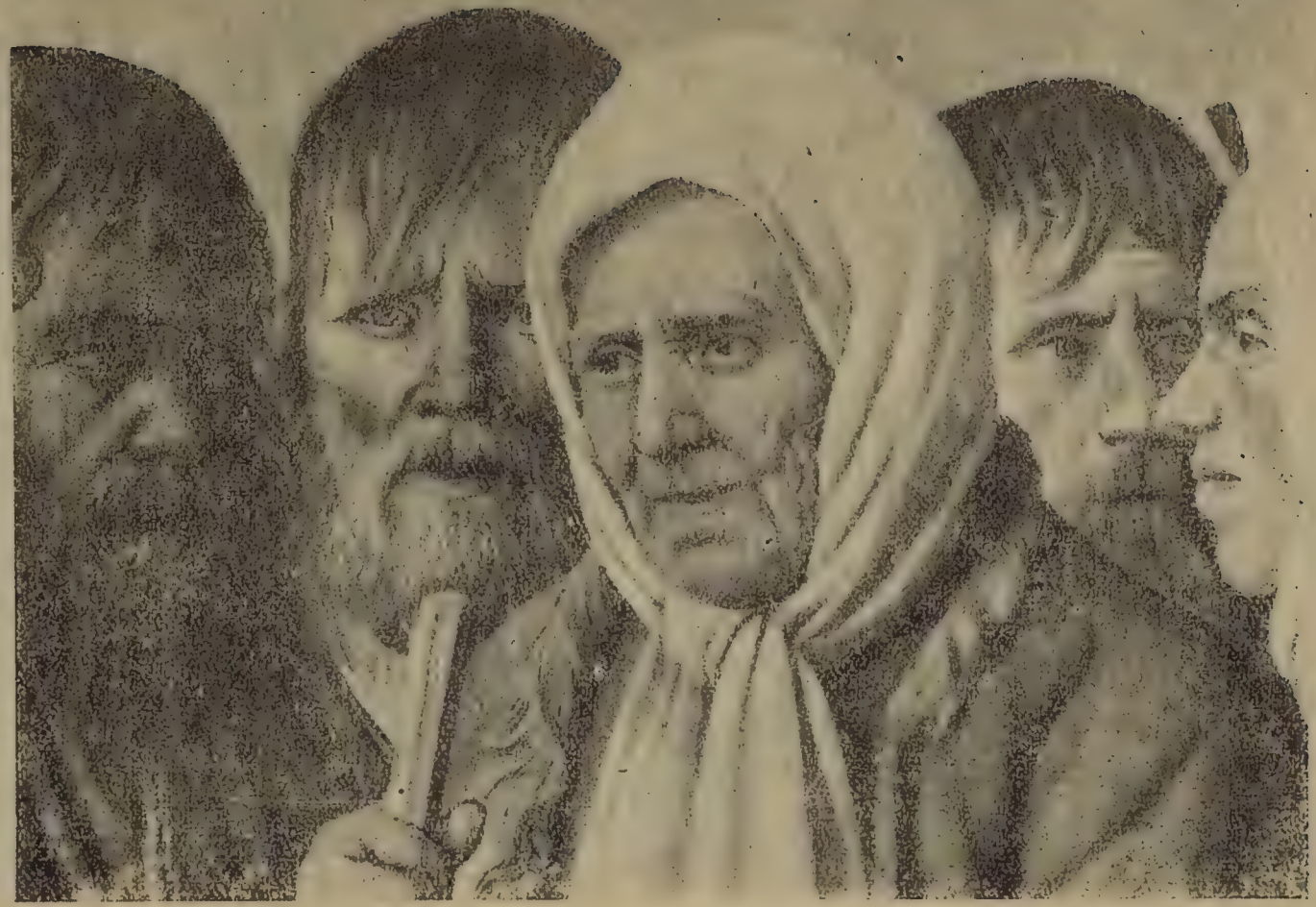
По воспоминаниям мирового посредника А. Крылова, волнения в селе Бездне назревали уже очень давно. Уже

за несколько лет до объявления воли проявлялось в этой местности настойчивое ожидание манифеста. В последние дни перед появлением манифеста крестьяне ждали воли настолько нетерпеливо, что высылали дозорных на большую дорогу. Когда день за днем обманывал их, — общий говор свалил вину на попов ,и полицию, подкупленную дворянами и помещиками. Нашлись даже очевидцы, которые видели, как „волю провезли в Уфу и Пермь на пяти тройках". — Ямщики сказывали, что в Казани она уже давно получена.

„Весть об этом" — говорит А. Крылов, — „с быстротой молнии разнеслась по всем селениям. Самые разумные старики сделались легковернее детей".

Отношения между помещиками и крестьянами обострились настолько, что помещики, боясь столкновений, не наряжали крестьян на работу, а многие из них и вовсе бежали из имений в города.

Но вот „воля" наконец получена. Объемистый пакет „Положения" уже в руках у крестьян. Все крестьяне — рассказывает Крылов — толпой отправились к дому одного грамотного столяра. С большими предосторожностями столяр вскрыл пакет, вынул книгу и начал читать с первой страницы, не пропуская ни единого слова. Столяр был чтец не бойкий. Солдатские письма он еще мог одолевать и даже растолковывал, так что бабы плакали навзрыд. Но указ сенату, т.-е. первую страницу книги — он кончил только к вечеру. „Всякое слово для меня понятно, а куда что прикладывается, понять не могу" — говорил столяр. Вся толпа долго и напряженно слушала длинный указ, но никто не понял, как и почему он относится к крестьянам. Все ждали, что с первой же страницы столяр скажет, чья земля, лес, луга, а столяр до



Крепостные
(с картины И. Эриксена).

вечера продержал и ничего не растолковал. Обратились к дьячку. Тот указ отхватал быстро, но объяснить ничего не мог. Отыскали старую деву-начетчицу. Оказалось, что она умеет читать только по-церковному. Она вслух перед миром пересчитала все листы книги и посоветовала пришить к книге застежки. Нарядили от мира подводу, послали в соседнее село за грамотным мужиком. Но подвода вернулась пустая. Посланный рассказал, что такая же книга есть и в том селе. Но тамошний грамотей, сколько ни старался, понять ее не мог, и теперь в соседнем селе сами ищут чтеца.

С течением времени появились какие-то толковники, то дьячки, то странники. Их возили из села в село, кормили, поили. Лучшим чтецом считался тот, кто больше находил „правов" в книге.

Впрочем, занятие толковников с самого же начала было сочтено крамольным, и полиция с ног сбилась, розыскивая и арестовывая преступников.

Толкование положения в разных местах России проявляется самое неожиданное. В книге умудрились найти место, где говорилось об отмене сборов маслом и яйцами, грибами и холстом, и крестьяне сразу же решили, что это объявлена только бабья воля. Настоящую, мужичью волю помещики скрывают.

— Мысленное ли дело, чтоб царь про курей да про яйца писал, а про настоящую волю молчком отделался?

Но мечты о настоящей воле — приводят к массовым расстрелам. Расстрелы крестьян происходили в целом ряде губерний. Кровавые события в селе Бездне являются лишь наиболее характерными.

Как и в иных местах, в селе Бездне никто в толстом томе положения разобраться не мог. Грамотных между

крестьянами не было, учителей не было, волостного правления, и того не было. Привезенная книга, в виде огромного толстого кирпича, так и лежала без всякого движения. Легко понять, какое впечатление произвело в целом ряде деревень известие, что в селе Бездне нашелся некий крестьянин, Антон Петров, который, будто бы, умудрился прочесть положение и умеет толковать его. Со всех сторон, со всех концов направляются к этому раскольничьему начетчику Антону Петрову целые толпы паломников.

— Будь благодетелем, отцом родным, растолкуй! — молит каждый из крестьян, присланный в качестве депутата от родного села. Антон Петров не отказывается. Каждый из крестьян приносит с собой свою книгу положения. Все эти книги Антон Петров долго разбирает. В некоторых экземплярах он „находил волю", а в некоторых „не находил". Те, в чьих книгах воля была, уезжали радостные, те, у кого ее не оказывалось, горько плакали и рыдали.

Книги сами по себе все одинаковы. Но полуграмотному Антону Петрову не во всех экземплярах удается отыскать одну, по его убеждению „самую главную" страницу. Страница эта представляет собой приложенную к книге „форму для составления уставных грамот". В этой таблице, приложенной для образца, в конце положения о крестьянах указано:

В деревне... 0, значится крестьян... 00, из коих дворовых... 000.

— В этих вот нулях и заключается самое главное! — убежденно доказывает Антон Петров.

— Нули напечатаны,—возмущаются крестьяне:—Сразу видать, воля не настоящая. Обманули, значит. Мало они

нашей кровушки попили. Царь-то, видать, и не знает про нули эти самые. Это все помещики, не иначе. Они и народ православный, и царя обманули, окаянные. Как же быть-то? Неужто ж терпеть станем, братцы?!

Особенно большое впечатление произвела фраза, найденная в „Положении“ Антоном Петровым:

„Со дня обнародования Положения уничтожается...“.

Что именно уничтожается, — это никого не интересовало. Истинная воля найдена! Потянувшиеся со всех концов к Петрову ходоки от разных деревень настойчиво требуют, чтоб Петров закладывал соломенкой тот „тайный лист“ в книге, на каком значится магическое слово „уничтожается“.

Волнение среди крестьян растет. Нули действуют на воображение все больше и больше. Сказано ясно: „уничтожается!“ Где же искать подлинную волю, „золотую грамоту“, спрятанную помещиками и попами?

Местные власти то ли растерялись, то ли возмечтали о карьере, какой можно добиться, если невиннейшего Антона Петрова превратить в нового Емельку Пугачева, но дело раздули неимоверно.

Многотерпеливые мужики никак и ничем не проявили своего желания бунтовать. Бунт создает само начальство.

Бежавшие из имений помещики сделали все, чтобы придать Безднинскому движению видимость пугачевщины и добиться суровых мер против крестьян.

Антон Петров, по свидетельству всех окружающих,—это тихий и застенчивый крестьянин, сектант, мало-развитой и полуграмотный, но очень усидчивый в чтении священного писания. Человек он робкий. Крестьяне, — говорит исследователь движения И. И. Игнатович, — считали его раньше за „лядащего мужиченка“. Отзывались они о нем,

как о человеке до крайности смирном. Он всегда убегал от драк и горячих споров.

Когда исправник в первый раз явился в Бездну для ареста Петрова, то Антон „сильно оробел“: — Говорил, что он ни в чем не виноват, но отправился под арест с рассыльным беспрекословно. Помешала аресту лишь толпа, отбившая его.

Снова и снова делаются попытки арестовать Антона Петрова, но крестьяне препятствуют. Ни исправника, ни предводителя дворянства они в избу Петрова так и не пустили.

По всей округе создается ряд легенд. Получен, будто бы, от царя приказ к мужикам: „Берегите моего верного слугу, Антона Петрова. Караульте его во дни и нощи, конные и пешие, от всхода солнца и до заката. Никому его не выдавайте, как бы вас ни стращали и ни пугали, хотя бы и огненным боем, хотя бы и сабельным ударом“.

Из отдаленных сел и деревень, за семьдесят пять, за сто верст и более, идут мужики на защиту Антона. — „Кто не придет, так тем царь и воли не даст“. Относятся крестьяне к этой общественной повинности со всей серьезностью. — Молодых между ними почти не было, — сообщает в своих воспоминаниях А. Крылов: — Большинство выглядело лет за сорок. Шли они, как на праздник, или на богомолье: новые кафтаны, нарядные кушаки, в руках узелки с хлебом.

Около избы Антона учрежден постоянный, правильно сменявшийся караул. Вокруг села устроены разъезды и пикеты.

Все крестьяне безоружны. Крестьяне считают совершенно достаточным то, что на их стороне сам царь. Но одну предосторожность они все же принимают. При при-

ближении войск всех стариков, женщин и детей удалили из Бездны в соседние деревни.

Вся защита Антона заключается в „живом заслоне". Крестьяне только своими телами, всей массой не допускают властей ни арестовать Антона, ни даже войти к нему в избу.

Граф Апраксин грозит расстрелом. Воинской команде приказано взять ружья на-изготовку. Толпа непреклонна. Ни один человек так и не шелохнулся.

— Последний раз спрашиваю. Выдадите бунтовщика Антона Петрова, или нет? Стрелять буду.

Крестьяне непреклонны. До последней минуты ни один из крестьян не может поверить в серьезность угрозы. Уже пробили барабаны, уже звучит команда: раз, два, три. Но мужики остаются на своих местах уверенно и бесстрашно. И вот прозвучало последнее решающее словечко: пли!

В официальном донесении убитых на месте зарегистрировано семьдесят один, тяжело раненых — сто пятнадцать... Панихида по ушедшему в прошлое крепостному праву проделана со всей серьезностью.

В большем или меньшем размере „осложнения" такого рода происходят повсюду, создаются одновременно в самых различных краях земли русской. Нагайки, кнуты и розги в счет не идут. Спина у мужика „не купленная". До свадьбы заживет. Но и помимо такой расправы „своими средствами", в очень многих местах объявление царского манифеста и связанное с этим мужицкое требование „настоящей воли, а не поддельной", влечет за собой еще и кровавую бойню типа Безднинской трагедии.

По этому же образцу еще и через пятьдесят лет после этого будут устраиваться расстрелы на Руси и в глухих

углах, как на Ленских приисках, и на самом виду, в центре, у стен дворца в Петербурге, как девятого января 1905 года.

Надолго сохранятся в истории России эти скорострельные навыки!

... Как, каким образом произошел расстрел крестьян в селе Бездна?

Начальству сопротивляться крестьяне не собираются, но Антона Петрова они никак не выдадут.—Такого закона нет, чтоб людей, которые за царя стоят, за это самое в тюрьму сажать!

Разыгрывается типичная, нигде в мире невозможная, картина бунта на коленях.

Как только крестьяне отказались выдать начальству Антона Петрова, для выяснения дела прикатил царский посланник, генерал-адъютант Апраксин. Дорого заплатят мужики за свою попытку самостоятельно разобраться в вопросе о воле.

Казанские помещики сумели блестяще „использовать момент". Немало наболело на душе у этих добрых людей, столь горько обиженных отобранием у них крещеной собственности. Как же не использовать полностью этот блестящий случай отомстить „неблагодарным хамам"?

Для начала дела генерала Апраксина заботами дворянства накачали в Казанском клубе шампанским. Во время банкета генерала начинили соответственными речами о необходимости всемерно защищать „устои" от озверевшей черни. Генерала убедили, что долг чести требует действовать, „не останавливаясь ни перед чем, и не считая потерь, сколько бы их ни было".

Навстречу Апраксину крестьяне выслали стариков с хлебом-солью. Встречает Апраксина крестьянская толпа, снимая шапки.

Но посев, произведенный благородным казанским дворянством, дал пышные плоды. Орлом налетел разгневанный генерал на место происшествия.

— Молчать! Не рассуждать! Запорю!

Военной команде, явившейся под командой царского посланца, ген. Апраксина, дано задание раньше всего во что бы то ни стало арестовать „главного коновода и зачинщика“, Антона Петрова. Но мужики тесным кольцом окружили со всех сторон избу Антона. Они Петрова не выдадут.

— Бунтовать? Начальству сопротивляться?!

Крестьяне настроены мирно. Бунтовать они никак не согласны. Они начальство чтут, законы исполнять всегда рады, а только что воля, про которую Антон Петров рассказывает, самим царем дарована.

— Молчать! На колени!—ревет громовержец, граф Апраксин.

Крестьянская толпа послушно опускается на колени.

Среди крестьян существует твердая уверенность, что стрелять в них будут только три раза. Уже и во время расстрела в толпе слышны крики: — Пугают! Крепко стой, ребята. Только три раза стрелять будут.

Размещение толпы таково, что многочисленные жертвы неизбежны. В Бездне скопилось до десяти тысяч человек. Общее настроение толпы серьезное и торжественное. „Чтоб виднее было“, масса народа, залившая все соседние усадьбы, взобралась на заборы, ворота и крыши домов. „Народ представлял из себя сплошную мишень.

По близости расстояния каждая пуля могла убивать двоих-троих".

Первые три залпа толпа вынесла спокойно. Крестьяне продолжали стоять, и только закрыли лица рукавицами. —Пугают! Не расходись, братцы. Крепко стой за волю. Больше трех разов стрелять не будут.

Но расстрел продолжается. Третий, четвертый, пятый... Залпы следуют за залпами. Народ падает десятками.

Наконец толпа не вынесла. Ее охватила паника. „Так как",—рассказывает Крылов,—„за теснотой ни вправо, ни влево нельзя было податься,—толпа шарахнулась было ближе к фронту. Крик, гам, вопли, топот, дым и чей-то громкий крик: „обходят"—сбили пальбу с очереди и она превратилась в беглый огонь (пальбу рядами). Пока барабанщик пробил дробь, — народ бежал, падал, кувыркался, прыгая с крыш, рассыпаясь по огородам, по полю и большой массой бежал по улице.

Победа и одоление! Желая прекратить смертоубийство, Петров по доброй воле отдался в руки властей.

Когда Антон Петров, неся над головой „Положение", вышел из избы, он был в длинной рубахе, поверх одежды. Так одевались сектанты для молитвы.

Арестовав Петрова, власти приступили к уборке тел. Площадь перед избой Антона усеяна трупами и ранеными.—„Фу, как их много!"—сказал Апраксин, увидя груду тел: — „Ну, можно будет показать меньше. Это всегда делается".

По показаниям Крылова, точно выяснить число убитых и раненых невозможно. Никто ни тех, ни других не считал. Каждый определял число жертв по своему. Офицер, который выехал из Бездны с депешей о „благополучном усмирении", говорил, что вся площадь была черна от

лежавшего на ней народа, и определял число убитых в триста человек.

Сразу же после расстрела генерал Апраксин собрал баб и заставил их уничтожить на улице лужи крови.

Кака ни жестоко усмирение, но генералу Апраксину этого мало. В своем донесении царю он заявляет: „Для водворения совершенного спокойствия необходимо усилить число войск и примерно казнить главных виновников, над которыми вместе с сим учреждается военно-судная комиссия“.

Во время суда над безднинцами Апраксин, „поставив перед крыльцом две привезенные из Казани пушки, с неимоверной важностью заставлял крестьян стоять по целым часам на коленях“ и „все ругался“.

Среди убитых в Бездне оказалось много жителей дальних деревень. Обязанность развозить раненых и убитых на места возложена на жителей Бездны. Но солидарность между крестьянами оказалась так велика, что крестьяне других селений отнеслись к этому, как к общему, мирскому делу. В ближайших деревнях перенимали безднинские подводы и отпускали их домой.— Потому, дело-то ведь общее делали. И соседние деревни считают долгом отправить раненых и убитых ко дворам на своих собственных подводах.

Крестьяне села Мурасы в решительный день усмирения по случайным обстоятельствам опоздали на дежурство в Бездну, и этим избегли смертельной опасности. Когда Крылов поздравил их с этим спасением от смерти—„Вот какие счастливые вы, братцы“,—братцы отвечали серьезно и хмуро:—„Тут счастья никакого нет. Люди за мирское дело душу свою положили, а мы, Мурасинцы, слов-

но татары. Надо бы нам с утра на подводах ехать, тогда бы мы поспели, не опозднились бы".

Уже в последнее время удалось разыскать новые материалы, письма современников, дающие новые подробности об этом трагическом „бунте" в селе Бездна.

Чем внимательнее вчитываешься в эти письма,—тем яснее, что бунта, в собственном смысле слова, нет и признаков. Крестьяне и не помышляют ни о каких насильственных действиях, они только „рассуждают". Но и местному начальству, и помещикам это кажется страшнее всякого бунта.—Подумать только! Мужики собираются скопом и „умничают". Все обсуждают, все толкуют содержание манифеста. Ищут правду. Во что бы то ни стало хотят подлинный манифест, настоящую волю добыть. Это ли не бунт? Тридцать шесть деревень уже примкнули к новоявленной секте пророка Антона Петрова. Куда мы идем? К чему только это может привести?

Начальство мобилизует все свои силы. По стратегическим соображениям решено было двинуться в поход, не дожидаясь действий противника. В стратегии главное сохранить инциативу за собой.

Срочно составленный военный совет выписывает два батальона солдат из Казани; еще две роты выписаны из ближайшего города, Спасска. Воинские силы должны двигаться с разных сторон и охватить мятежное село тесным кольцом. К отряду прибавлены две пушки, давным-давно присланные „для укрощения" рабочих на поссессионной фабрике Осокина в Казани.

И вот силы стянуты. В полдень войска, имея во главе бравого генерала Апраксина, с торжественным маршем вступают в пределы села Бездны.— Селение, — описывает современник,—казалось пустое, потому что вся толпа,

около трех тысяч человек, сосредоточена в конце одной улицы, живым заслоном закрывает избу Антона Петрова.

На требование властей выдать Петрова мужики спокойно заявляют, что „этого сделать они никак не могут, потому, что государь император Александр Николаевич дал им свободу“.

„Апраксин закричал на них „молчать“, отошел и приказал заряжать. Ружья были уже заряжены и ранее, но это делалось для устрашения. В последний раз к ним подошли и объявили, что сейчас будут стрелять. — Покоритесь! Ответ крестьян единодушен: „Не наша кровь прольется, а кровь царя, Александра Николаевича“.

Первый залп был дан нарочно немного вверх. Однако два человека были убиты и несколько ранено. „Народ хоть бы пошелохнулся, только крестился“. Второй залп был дан „по настоящему“. Количество жертв уже велико, но мужики, как каменные, стоят на прежних местах.

Между вторым и третьим залпом был большой промежуток, минут десять длились увещания. Все напрасно. Мужики стоят неподвижно, мужики берегут свою правду, мужики не отступят. Четвертый, пятый и шестой залпы даны почти без промежутков. Работа идет по всем правилам стрелкового учения: — Чтобы всякая пуля попадала.—Только теперь дрогнула толпа, не выдержала и побежала в разные стороны. „Множество разбежалось, так как по малости солдат окружить толпу нельзя было“— сокрушенно докладывает генералу его адъютант А. Половцев.

После того, как уцелевшие крестьяне разбежались, отряд казаков командирован для поимки Антона Петрова, но это оказывается излишне. Антон Петров тихо прошел сквозь рыдающую толпу и сам отдался властям. При обыске

при нем нашли на груди молитву богородицы. „Антон Петров, двадцати пяти лет, малограмотный, на взгляд не дюжий, всегда отличался хорошим поведением и особенным усердием к церкви“,—записывается о нем в материалах для предстоящего здесь же на месте суда.

В толпе находились крестьяне из разных деревень, и от этого убитые и раненые оказались во всей округе.

„Панический страх был так велик, что некоторые раненые навылет бежали версты две и три, и только тут падали“,—читаем мы в письме помещика А. М. Татаринова к его брату:—„Апраксин засел в Бездне и царствует окончательно. Почти во всех селениях стоят солдаты и объедают несчастных мужиков. Антона Петрова по высочайшему повелению судили в двадцать четыре часа, разумеется, ничего не добились и девятнадцатого сего апреля его расстреляли. Теперь составляется следственная комиссия, то-есть опять будут забирать мужиков из всех деревень. Главное же—про-

должает свое письмо к брату помещик Татаринов: — „это какое-то каннибальское неистовство дворян. Я не преувеличиваю! Как прежде они все боялись бунтов, так теперь не могут скрыть своей неистовой радости, что „наша взяла". Апраксин, который, пока жил в Казани, слыл у них за дурака и неуча,—теперь возведен в гении и ему готовят овацию. Право, тошно жить! Я никогда не мог предполагать встретить такую массу чистых плантаторов".

Расстрелян Антон Петров в самой Бездне в присутствии крестьян, насильно согнанных на это зрелище. По показаниям современников, зрелище казни произвело удручающее впечатление не только на крестьян, но и на солдат.

Хотя солдатам еще накануне казни прочитана целая лекция о наилучшем способе расстрела, но двенадцать пуль были так робко направлены, что не могли убить тощего мужика, и только новая, в упор выпущенная командующим отрядом пуля прекратила бедную жизнь.

Ко всем убитым, а больше всех к самому Петрову, крестьяне относятся с исключительным уважением, считая, что они приняли „венец мученический".

Всем миром они выкопали тот столб, к которому был привязан во время расстрела Антона Петров. Столб этот они обернули чистым холстом, обвязали веревкой, запечатали сургучными печатями и положили на хранение в волостное правление.

Сразу же после казни создались легенды о том, что Антона Петрова удалось подменить. Застрелили другого, а Петрова, будто бы, в карете видели. Посланный от государя граф надел на него золотое платье и шпагу, и отправил во дворец. Оттуда он вот-вот вернется с настоящей волей.

Не прошли бесследно кошмары усмирений. Даже современники, несмотря на цензурные условия того вре-

В корридоре Окружного Суда
(Картина Н. А. Касаткина).

мени, упоминают, что крестьяне, ранее убежденные, что их били и убивали по подкупу помещиков, против воли

царя,—теперь убедились в другом и „стали думать совсем по иному“. При взгляде на телеграф, по которому передавались Апраксинские депеши к государю, крестьяне говорили:—„Так эти палки затем поставлены, чтобы народ губить?“

„Крестьяне стали с тех пор иными“, — указывают мемуаристы:—На сходах начались небывалые до того толки, что дворян надо резать, рубить топорами.

Безднинское движение подавлено, трупы зарыты... Антон Петров расстрелян, крестьяне „возвращены к должному повиновению“ и помещики предаются ликованию. Благодарное дворянство устроило графу Апраксину торжественный обед. Пылким чествованием этого героя пышно отпразднована безднинская победа.

Ликование дворян по поводу победы и одоления над врагом внутренним вызвало отклики не только в крестьянской, но и в интеллигентской среде. В Казани в противовес дворянскому обеду шестнадцатого апреля устроена панихида по безднинским жертвам. На панихиде присутствовало до четырехсот человек интеллигенции и учащейся молодежи. Панихида устроена студентами университета и Казанской духовной академии. Б. студент духовной академии, священник, служивший панихиду, вспоминая во время ектении „убиенных рабов божиих“, прибавил слова: „убиенных за свободу и любовь к отечеству“.

Вечную память погибшим пели все присутствующие, а молодой профессор русской истории в Казанском университете Щапов, талантливейший ученый, первый из русских историков выведший эту науку из заколдованного круга Карамзинскаго „собирания Руси“, первый, начавший изучение экономических двигателей в истории России,—произнес крамольную речь о пролитии крови неповинных.

Эта панихида и речь Щапова рассматривается, как очень серьезное политическое дело. Послано донесение Александру II, и распоряжение самодержца изложено им в собственноручной резолюции: „Щапова немедленно арестовать, а студентов духовной академии, участвовавших в совершении панихиды, заключить в Соловецкий монастырь“.

„Случаев“, подобных тому, какой произошел в селе Бездне, было в те дни немало. Еще больше, чем расстрелов, было избиений. Нагайка пускалась в ход не только для усмирения, но и вообще, чтоб не повадно было. Так, например, в Боровичах, когда после объявления воли к исправнику пришла толпа крестьян, чтобы просить разъяснить им непонятные места в высочайшем манифесте,—тот сразу же окружил пришедших отрядом солдат с заряженными ружьями, „перепорол всех крестьян по очереди, и затем разогнал по домам“.

„К маю“,—говорит Гр. Джаншиев,—„стали поступать со всех концов России известия о благополучном объявлении воли, и, по выражению мемуаров одного свитского генерала, „Петербург вздохнул свободно“.

По гениальной идее Александра II, особая медаль, выбитая в память освобождения крестьян (с изображением головы Александра Второго и надписью „Благодарю“) была высочайше пожалована всем участникам, имевшим отношение к реформе, как сочувствовавшим, так равно и противодействовавшим делу. Но и эта медаль казалась крамольной. Ю. Ф. Самарин, возвращая данную ему награду, ссылался оффициально на те „неблагоприятные толки“, какие может вызвать по его адресу среди дворян получение этой медали.

Никакими медалями не залечить всей глубины нанесенной дворянству раны.—„Мою Матрешку, моего Степана

отбирать? Да где же справедливость! Да ведь это неслыхано, этому имени нет!"—с пафосом совершенно искренно взывали представители благородного сословия.

„В 1861-м году в русской жизни произошла страшная катастрофа",—живо описывает этот момент кн. Мещерский в своем „Гражданине":—„Катастрофа, гораздо более страшная, чем извержение вулкана. Вся Россия оказалась, если можно так выразиться, опрокинутой вверх ногами. Если уподобить все государство огромному железнодорожному поезду,—то девятнадцатого февраля 1861-го года этот колоссальный поезд потерпел крушение. В этот день локомотив низринулся в пропасть, увлекая за собой все вагоны один за другим. Главный устой жизни русской, на котором все зиждилось и которым все определялось, этот устой вдруг рухнул, и рухнуло вслед за ним все, что на нем держалось!".

Старый князь Мещерский ошибся. Настоящая подлинная „катастрофа", низринувшая в пропасть весь режим гнета и насилия, произошла не тогда, когда он предполагал.

В 1861 г. были только цветочки. „Ягодки" созрели много позже, в лето от рождества христова 1917-е.

ГЛАВА VIII.

Рабочие волнения.

Мы видели главные черты того, как шли в давние времена так называемые „крестьянские беспорядки“, ярко отразившие характер мужика тех дней, его наивную веру в закон и правду, которые должен, будто бы, защищать царь, мужицкое смирение, так ярко сказывавшееся в особом российском бунте, „бунте на коленях“.

Как проявляли себя, в отличие от крестьянских, так называемые „рабочие беспорядки“ в те далекие времена? Как сказались в те дни в революционном движении России особые пролетарские черты, созданные фабрикой и ее бытом?

Немало времени прошло, пока фабричные рабочие у нас в России успели отслоиться от деревни, сумели осознать себя, как класс, имеющий свои цели, свои исторические задания. Если еще и теперь целый ряд районов в России знает фабричных рабочих, которые связаны со своим производством только в зимние месяцы, а на лето, „в страдную пору“, возвращаются в деревню и обращаются в мужиков-землеробов,—то в давние времена зарождения и развития фабрики на Руси рабочая среда была органически слита с крестьянским миром. Во дни крепостного права владельцами фабрик являлись в огромном боль-

щинстве случаев дворяне и помещики, все свои рассчеты строившие на крепостном труде. Борьба рабочих с капиталистами в те годы неразрывно слита с общей борьбой русского народа за освобождение от крепостного ярма.

Жить на одну только заработную плату в те времена было невозможно: документы о жизни рабочих во второй половине восемнадцатого века, при Екатерине, даже на казенных заводах рисуют поденную плату от четырех до пяти копеек в день. К этому—указывают историки,—„присоединялась система жестоких штрафов", при которых, например, при прогуле одного дня с рабочего вычиталась плата за целую неделю работы.

Первые шаги борьбы рабочих за свои права, за улучшение своей участи, как и в крестьянской среде,—сводятся к посылке ходоков в далекий Петербург, к отправке прошений на имя царя. Как и крестьянские шаги такого же рода, попытки рабочих неизбежно встречают тупик. Прошения до царя не доходят. Если и доходят, то никаких результатов они, конечно, не приносят. Ходоков неизменно арестовывают, зачинщиков регулярно порют и рассаживают по тюрьмам. Но уже и в те далекие годы выступления рабочих очень многими чертами отличаются от крестьянских, и раньше всего изумительным упорством. На целом ряде фабрик и заводов борьба рабочих за намеченные цели продолжается целыми десятилетиями, длится зачастую тридцать и даже пятьдесят лет!

Кроме того, в отличие от крестьянской массы, рабочая среда умеет своих ходоков и коноводов поддержать. Главный способ, применяемый для этого рабочими,—это, раньше всего массовый отказ от работы, забастовка.

Рабочие волнения встречают со стороны царского правительства еще более суровое отношение, чем кресть-

янские. Но розги, плети, тюрьма, ссылка в Сибирь, рекрутчина, каторжные работы, присылка воинских отрядов, беспощадно расстреливающих толпы,—все эти меры, единодушно принимаемые и царской властью, и поместным начальством, по ходатайствам хозяев фабрик, не могут ослабить того упорства, с каким рабочие целыми десятилетиями ведут свою борьбу. Когда, например, при Екатерине II-й Олонецкие казенные заводы были обложены новыми налогами (2 р. 70 к. с души при заработке рабочего в 4 копейки в день), рабочие заволновались. Работы оказались приостановлены, и к императрице Екатерине были посланы рабочими особые ходоки, с выдвинувшимся по своей влиятельности рабочим Емельяном Калистратовым во главе. Ходоки сразу же были арестованы, но держатся они стойко, и выдать зачинщиков отказываются:

„Я все сношу на себя",—пишет арестованный Калистратов в письме, переданном с оказией к товарищам на волю:—„На других ничего не показываем. За весь мир принимаем нужду к лучшему".

Через десять лет, в 1771 году, рабочие Олонецких заводов снова присылают в Петербург своих челобитчиков, Клима Соболева и Анцифера Трофимова. Как ни мешали, как ни препятствовали этим новым ходокам всяческие власти, сколько ни охотились за ними, но Соболев и Трофимов умудрились все же проникнуть сквозь всяческие ограды и добились возможности вручить челобитную непосредственно самой императрице.

—Вот теперь все дело по иному пойдет!—верят наивные люди. Но дело идет все также, по старому и бывалому. Челобитчики Соболев и Трофимов сразу же после своего возвращения—в качестве зачинщиков арестованы за составление челобитной. Рабочие заявляют протест,

указывают, что арестованы неповинные—„люди лучшие“. Но тем крепче держит арестованных начальство за семью замками.

Все яснее видят рабочие, что полагаться им ни на кого, кроме как на самих себя, не приходится. Вооружившись дубьем и рогатинами, рабочие кидаются отбивать арестованного Соболева. „Часовых разогнали, ружья их разломали“, а начальника стражи, арестовавшего Соболева, „поучили, помяли малость“.

Освободивши Соболева, рабочие выставили по всем сторонам стражу, поставили на дорожную заставу дежурных, следить, что будет дальше, а сами не угомонились. Снова ходока послали. На этот раз в качестве ходока послан Василий Хибаров, человек безрукий.—Ему легче за общее дело постоять. Про него, безрукого, никто не скажет, что это он жалобу составлял, что он всему делу коновод и зачинщик.

Только что отправился искать правды в далекий Петербург новый ходок, безрукий Василий Хибаров, как выставленная рабочими стража уже спешит с грустными известиями. Идут прекращать забастовку войска. Движется Псковской пехотный полк, под начальством Ламздорфа, наступают еще и гренадеры и мушкетеры под начальством Урусова. Много войск собрано для усмирения крамольников рабочих.

Во всю разгулялись явившиеся во главе войск бравые генералы. Свистят плети, пущены в дело целые возы розог, тысячами раздаются шпицрутены. Некогда разбирать, кто прав, кто виноват, Старый ли, малый ли,—всех ведут „по зеленой улице“. По указу ее императорского величества приказано порядок навести срочно.

Залиты кровью рабочих, усмирены волнения. Полностью восстановлен требуемый „порядок“. Но начальство не удовлетворено. Чтобы другим не повадно было, устраивается торжественное судилище. Дело „о рабочих беспорядках“ передано в сенат. Царская юстиция работает оптом. Кого в вечную солдатчину, кого на вечное поселение в Сибирь. Главные зачинщики, с ходоком Соболевым в главе, по приговору сената сосланы в бессрочные каторжные работы на Нерчинские заводы. Перед отправлением на каторгу каждому из зачинщиков дано по сто ударов кнута. После экзекуции у них вырезали ноздри и раскаленным железом поставили клейма: на лбу выжгли букву „В“, на правой щеке „О“ и на левой „З“, что должно было означать „возмутитель“.

Примерно расправилась матушка-императрица с подававшими ей прошения рабочими! Но суровые расправы уже и тогда не помогали. Все новые и новые рабочие беспорядки возникают и на Нижне-Тагильском и Невьянском заводах Демидова, и на Липецком заводе камер-юнкера Репнина и пр. и пр. Поводов для забастовок много. На заводе Репнина заработная плата с пяти копеек в день уменьшена до двух, но и эта плата выдается рабочим не деньгами, а только товарами. Свыше двадцати лет продолжается на заводе Репнина борьба рабочих с утеснителями. Все новые и новые челобитчики посылаются рабочими, и попадают в тюрьмы и остроги. Все новые и и новые „беспорядки“ возникают на заводе. Снова и снова отказываются рабочие продолжать работы, и снова и снова разыгрываются кровавые сцены усмирения. Лишь на двадцать первый год „беспорядков“, беспрерывных хлопот и бесконечных челобитных настал, наконец, день, когда императрица Екатерина II оказалась в хорошем

настроении. Когда сенат представил по делу завода Репнина доклад, в котором предлагал жестоко расправиться с непокорными рабочими, Екатерина соизволила начертать на докладе: „Без крайности люди до крайности редко доходят“. В результате такой резолюции князю Репнину было сенатом предписано, „дабы он, без нарушения собственных своих польз“, постарался „принять благовременно такие меры, чтобы оные заводские мастеровые и работные люди не имели прямых причин к нареканиям и жалобам“.

Как ни убога эта сенатская резолюция, но по тем временам она казалась настолько революционной, что препровождена была владельцу Липецкого завода, камер-юнкеру Репнину „под строжайшим секретом“, чтобы не колебать основ.

Столько жена стойчивости, как на заводе Репнина, проявили и рабочие Нижне-Тагильского завода Демидова. В 1763-м году они решили было послать своих челобитчиков с жалобой на неимоверные притеснения приказчиков, управлявших заводом. Эти челобитчики были немедленно арестованы и закованы в кандалы.

Огромные толпы рабочих немедленно окружили заводскую контору с требованием освободить товарищей. Были выписаны воинские силы с пушками, но это рабочих не испугало. Вооруженные одними камнями, они взяли приступом контору, освободили арестованных товарищей, а пушками и ружьями завладели, как трофеями.

Неимоверно сурова оказалась впоследствии расправа с бунтовщиками.

Впрочем, после расправы, императрица Екатерина и на этот раз сочла своевременным продемонстрировать нежность своего сердца. Из четырнадцати зачинщиков, со-

сланных на вечную каторгу в Колыванско-Воскресенские заводы, кнутом были наказаны лишь двое. Относительно остальных двенадцати человек, отправленных на каторгу, резолюция дословно говорит: „Хотя и подлежали они наказанию кнутом, но, для многолетнего ее императорскаго величества здравия, оное наказание отменяется. Повелено вместо кнута, в страх другим, сечь их плетьми по три дня“.

Послужили ли „три дня плетей“ вместо кнута, во здравие ее величества—неизвестно. Но на самочувствии рабочих эта „гуманность“ не отразилась. И после этой кары рабочие попрежнему стойко отстаивают свои права.

Исключительное упорство — такова основная характерная особенность рабочих беспорядков в те далекие дни. Тридцать лет с лишним борются, например, за исполнение своих требований, в том числе за свободный выбор старост,—рабочие Ефремовской шелковой фабрики в Богородском уезде. Еще в 1800 году, при императоре Павле, начали они эту борьбу, и уже тогда за такое „непристойство“ зачинщики были „примерно наказаны плетьми“, но упорство рабочих сломить не удается. Год за годом они стоят на своем, и все снова и снова посылают ходоков, снова и снова предъявляют свои требования, поддерживая их массовым прекращением работ, забастовкой.

Убит в свое время Павел. Вступил на престол и двадцать пять годиков успел уже процарствовать Александр I. На престоле—„победитель декабристов“, коронованный фельдфебель Николай I, а рабочие все еще продолжают свою борьбу, и по-прежнему местные власти официально свидетельствуют, что „Ефремовские мастеровые, закоснев в буйствах, к повиновению владельцу и впредь признаются безнадежными“.

Год за годом, долгие десятилетия, при трех самодержцах приходится продолжать упорную борьбу рабочим, но в итоге они добиваются все же удовлетворения по всем пунктам. Отныне сами рабочие будут выбирать своих старост. Какой тяжелой борьбой достигнуты эти результаты!

Впрочем, и это еще не предел. Рекорд упорства и настойчивости в те годы проявили казанские рабочие, с суконной фабрики Осокина. В 1796-м году начали они свою, сопровождаемую стачкой, борьбу. Стачка усмирена, вспыхивает новая. Год за годом, долгие десятилетия, целыя поколения рабочих упорно и самоотверженно продолжают настаивать на выполнении своих требований. Снова и снова арестовывают ходоков, еще и еще заковывают в кандалы зачинщиков, засекают до смерти коноводов, но рабочие продолжают свое, и в 1849-м году — через пятьдесят три года после начала борьбы! — добиваются рабочие желанной победы.

Судебные процессы того времени указывают на случаи, когда изумительная настойчивость и упорство рабочих оказывали свое влияние даже на усмирителей. Когда в 1834 году в Богородском уезде рабочие, поддерживая свое требование повышения заработной платы очередной забастовкой, отбили от полиции зачинщиков, которых та пыталась арестовать,—на место происшествия были присланы войска и с ними заплечные мастера для экзекуции. Но солдаты „наклонили ружья“ и не стали стрелять в рабочих, и даже заплечный мастер, видя, что все понятые и собравшийся народ единогласно кричали, что „напрасно кровь проливают“, бросил плети и, не став наказывать, при всех сказал капитан-исправнику: — „Сам наказывай“.

Царское правительство спокон века утверждает, что виновником рабочих волнений является „преступная пропаганда“. Но „беспорядки“ создают сами рабочие, явственно чувствующие все уродство и тяготы своего положения.

Первые официальные признаки пропаганды проявляются лишь в шестидесятых годах. Приговор суда в 1863 году назначает „смертную казнь через расстреляние“ офицеру Ушакову „за распространение вредных идей между фабричными рабочими, посредством чтения и передачи им сочинений возмутительного содержания с преступной целью возмущения их против правительства“.

Всерьез проявляет себя пропаганда только начиная с семидесятых годов, то-есть с эпохи „хождения в народ“. В это время в Петербурге действовали, как известно, две главные революционные группы народников: бунтари-землевольцы и лавристы.

Но и в эту эпоху,—свидетельствуют исследователи вопроса,—вмешательство пропагандистов не всегда уясняло, а часто и затемняло классовое самосознание рабочей среды. Пропагандисты бесспорно приносили огромную пользу тем, что будили мысль рабочих, повышали их требования и запросы к жизни, но положительной программы, пригодной для рабочей среды, эти пропагандисты не имели.

И лавристы, и землевольцы считали основой своей деятельности русскую деревенскую общину, которую рассматривали, как наиболее благоприятную общественную форму, способную привести русский народ к социализму. Россию они считали избавленной от язвы капитализма, успевшей на Западе разложить общинные устои жизни, и поэтому с ихточки зрения Россия стояла гораздо ближе к социальной революции, чем страны Запада. Только бы

уберечь нашу страну от капитализма,—и тогда крестьянство полностью осуществит всю социалистическую программу.

Землевольцы шли в народ с проповедью бунта. Лавристы эту проповедь отвергали. Но и те, и другие видели в развитии пролетариата лишь торжество капитализма и величайшее бедствие для России. Пролетариату они никакой самостоятельной политической роли не отводили. Городские рабочие, с их точки зрения, являлись представителями развращенности и буржуазности. „Настоящий народ“ — представляют собой только крестьяне.

Эта интеллигентская точка зрения, преклонение перед деревенской общиной—была чужда и враждебна рабочим. Сами вышедшие из деревни, они хорошо знали темноту и косность народной жизни. Не столько разумом, сколько чутьем, они сознавали, что база будущего освобождения —это фабрика, сплачивающая и объединяющая их в стройные ряды, а не деревенская община с ее темнотой и противоречивыми интересами каждого из крестьян в отдельности.

Еще более обесценивала интеллигентскую пропаганду той эпохи всеобщая в то время тенденция презрительно относиться к политической свободе и политическим правам, которые являются будто бы только „буржуазными“ и не нужными России, спасение которой принесет одна только община.

„Мы“,—говорит об этом периоде Г. В. Плеханов в своей работе о русском рабочем в революционном движении,— „мы проповедывали им не социализм и даже не либерализм, а именно тот, переделанный на русский лад, бакунизм, который учил рабочих презирать буржуазные политические права и „буржуазную политическую свободу“,

и ставил перед ними, в виде соблазнительного идеала,— допотопные крестьянские учреждения. Слушая нас, рабочий мог проникнуться ненавистью к правительству, мог научиться сочувствовать серому мужику и желать ему всего лучшего, но ни в каком случае не мог он понять, в чем заключается его собственная задача, социально-политическая задача пролетария. До этого ему приходилось додумываться собственным умом".

Додуматься собственным умом—это значило создать свою рабочую партию. На этот путь и встала пролетарская среда, как только успела создать и выдвинуть таких рабочих, как Степан Халтурин, Петр Алексеев, Виктор Обнорский и другие.

Г. В. Плеханов.

Первая политическая демонстрация в России, состоявшаяся в 1876-м году, как известно, тесно связанная с именем Г. В. Плеханова, была задумана и организована именно, как рабочая демонстрация. Только ввиду неудачи в осуществлении планов, эта демонстрация привлекла больше студентов, чем рабочих.

Крайне характерно, что во время суда над участниками демонстрации правительство, сурово расправляясь с замешанными в дело представителями революционной интеллигенции,—всемерно старалось как можно более смягчить кары для рабочих. Интеллигенты, участники демонстрации, посланы в каторгу, но рабочих стараются

„не злить“, и, например, рабочего Потапова, который нес красное знамя и вместе с ним был арестован—суд приговорил всего лишь к покаянию в монастыре. Так же мягки —констатирует А. Ельницкий в своей „Истории рабочего движения в России“ — были приговоры в процессе и над остальными подсудимыми из рабочих.

Правительство принимает все меры, прикладывает все усилия, чтобы на пропагандистов свалить всю вину, их выставить главными застрельщиками, лидерами рабочего движения. Но сами-то рабочие зачастую оценивают роль пропагандистов, пришедших со стороны, совершенно иначе.

Среди эпизодов рабочего движения этого времени обращает на себя внимание следующая, например, не лишенная характерности история гибели шести рабочих на Василеостровском патронном заводе. Убиты они были взрывом пороха, и в гибели их было целиком виновата администрация, которая, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны рабочих, не приняла никаких мер предосторожности.

Взрыв, повлекший за собой шесть жертв, произвел очень большое впечатление в рабочей среде. Похоронам предположено придать характер демонстрации. Рабочие заблаговременно пригласили своих знакомых интеллигентов из кружка бунтарей. Лавристов приглашать они не решаются, именно потому, что лавристы враги резких предъявлений протеста.

— Бог с ними совсем, — заявляют рабочие. — Лавристы — люди хорошие, но... Пойдут спорить, доказывать, что мы затеяли пустое, а нам послушаться их нельзя. Очень уж наши все возбуждены.

Демонстрация во время похорон на Смоленском кладбище не обошлась без столкновений с полицией. Когда

один из рабочих в своей речи стал говорить о жертвах, убитых начальством, околодочный надзиратель сразу же кинулся к оратору. „Я вас арестую“. Этих слов было достаточно, чтобы за минуту до того спокойная, торжественно, ввиду близости свежей могилы настроенная толпа сразу же ринулась на полицию. „Бей их, иродов!“

Полиция оказалась в совершенно беспомощном положении. Околодочный и городовые отрезаны от всего мира тысячной толпой разъяренных рабочих. Но именно потому, что полиция бессильна, — толпа приходит в себя и сдерживается.

— Нас много, их мало! Стыдно нам с ними связываться. Пускай себе по домам идут. Никого из нас тронуть они не посмеют.

Полицейские были задержаны лишь на то время, какое нужно, чтобы удостовериться, что они не станут следить за ораторами, и после этого короткаго ареста мирно отпущены по домам. По тем временам, этот дружный отпор, данный полиции рабочими, произвел очень большое впечатление.

Еще более памятной оказалась стачечная борьба, вспыхнувшая в 1877-м году в Новой Бумагопрядильной фабрике на Обводном канале. Стачка началась из-за сокращения заработной платы. Стачка идет дружно, но рабочая масса состоит здесь из еще не успевших развиться новичков, недавно пришедших из деревни, и потому главные надежды этих рабочих от сохи, а не от станка, по началу возлагаются на представителей начальства. Рабочие обращаются за помощью к приставу, и, по неопытности, оказываются очень удивлены тем, что пристав „тянет руку“ хозяев фабрики, капиталистов. Рабочие обращаются в высшую инстанцию, к градоначальнику,

но и здесь встречают, конечно, то же отношение. Еще не осмыслив положеня, не додумав до конца всей безнадежности плана обращаться за помощью против волка к другому волку из той же стаи, рабочие от сохи решают подать прошение „самому“ наследнику.

Прошение написано, и вот уже на фабричном дворе один из рабочих, взобравшись на кучу каменного угля в углу, громогласно читает товарищам (на фабрике около двух тысяч рабочих) текст прошения:

„Вашему императорскому высочеству небезызвестно, какие плохие были отведены нам наделы, и как сильно страдаем мы от малоземелья...“

— Правильно! Верно! — отзывается толпа: — Только звание, что земля, а пользы от ее никакой нет.

„Вашему императорскому высочеству небезызвестно также, что за эти плохие наделы мы плотим тяжелые подати...“, — несется далее с кучи угля в углу.

— Верно! верно! Все правильно! Вздохнуть не дают с податью, — откликаются слушатели.

„Вашему императорскому высочеству небезызвестно, наконец, с какой жестокостью взыскиваются с нас эти тяжелые подати...“ — несется с трибуны.

Внимательно, серьезно слушает хмурая, настороженная толпа: „Нужда гонит нас на заработки в город, а здесь нас на каждом шагу притесняют и фабриканты, и полиция“,—говорит далее прошение, рассказывая о целом ряде нарушений закона, какие практикуют владельцы фабрики, о произвольном уменьшении заработной платы, о полной беззащитности рабочих. — Пусть же наследник престола разберет дело. Если он не обратит внимания,— рабочим ясно будет, что им остается надеяться только на самих себя.

Горькая судьба прежних ходоков, которых арестовывали и объявляли главными зачинщиками, заставляет рабочих отказаться от поисков в своей среде отдельных челобитчиков. Решено нести прошение всей толпой.

Через много лет после этого охранно-жандармский аппарат будет настолько усовершенствован, что попытка рабочих действовать скопом, пойти толпой ко дворцу будет встречена девятого января 1905 года энергичными мерами и уже в самом начале закончится кровавой бойней.

В те патриархальные времена обстановка была проще. Толпа рабочих не только добралась до дворца, но даже добилась, чтобы прошение передали наследнику немедленно.

Результатов, однако, не получилось ни малейших. Резко наростает в среде выходцев из деревни, людей пришедших от сохи к станку, ясное сознание неправильности самого способа, избранного ими, полной безнадежности каких бы то ни было прошений, обращенных к властям.

„Нечего было и ходить во дворец. Только сапоги даром трепали“, — говорят даже наиболее патриархальные, пожилые рабочие:—„Видно, ни от кого ничего не добьемся. Не иначе, как на самих себя рассчитывать надо. Самим справляться следует!“

Все растет и усиливается оппозиционное настроение среди рабочих. „Напрасно“,—говорит историк движения,— „полицейский пристав таскал рабочих к себе в участок, то угощая их водкой и апельсинами, то грозя высылкой в Архангельскую губернию. Рабочие никого не выдали“.

Ни на кого не рассчитывать, кроме как на самих себя, приучаются мало-по-малу и женщины. Когда, наприм., на табачной фабрике Шапшал в Петербурге, в 1878-м году было вывешено объявление:

Мастерицам фабрики Шапшал.

Сим объявляю, что по случаю остановки товара я сбавляю с каждой тысячи папирос десять копеек.

Шапшал.

объявление это было моментально сорвано. На его месте появилось другое:

Хозяину табачной фабрики Шапшал.

Мы, мастерицы фабрики, сим объявляем, что не согласны на сбавку.

Мастерицы.

В дело со всей энергией вмешивается полиция. Но ни розыскать „зачинщиц", писавших объявление, ни убедить мастериц согласиться на сбавку так и не удается. Администрации пришлось уступить, и от предположенной сбавки отказаться.

Уже в этот период на фабриках прививается обыкновение искать руководителей забастовок в революционных кружках. Так, например, во время забастовки на фабрике Кенига за Нарвской заставой, где при четырнадцати-часовом рабочем дне заработок рабочего составлял около семнадцати рублей в месяц,—рабочие, начав стачку, в тот же день отправляют несколько товарищей на Обводный канал, чтобы „розыскать революционеров", разузнать там, как найти этих людей, „которые рабочему народу помогают".

Г. В. Плеханов в своих воспоминаниях рассказывает об исписанных каракулями листочках, доставленных ему, как редактору издававшейся в то время в Петербурге

подпольной газеты „Земля и Воля“. Листки озаглавлены— „Голос рабочего народа, живущего и работающего у подлеца Максвеля“.

Содержание листков ярко свидетельствует о росте самосознания в среде фабричных:

„Хозяин-подлец говорит, будто он тебя кормит. А нешто, братцы, кормит он нас? Вишь, бедный, сам голодом сидит. Видно, от того у него и пузо-то лопнуть хочет. Нет, братцы, он только от нас и кормится. Мы ему каждый день зарабатываем не одну тысячу. Встанем же подружней! А то скоро хозяин совсем разжиреет, сядет на нас и поедет. Надавим хозяина-подлеца посильнее, да будем говорить посмелее, братцы. Все за одного, один за всех!“

Такие же новые, из самой гущи рабочей среды идущие ноты начинают все определеннее звучать в листках, какие появляются и на разных других заводах:

„Сколько разов писали мы просьбы, обивали пороги у всякого начальства. Теперь мы видим, что начальство стоит за хозяина, а не за рабочих. Оттого над нами брали верх, что недружно мы стояли. Не только с разных мастерских, а с разных фабрик должны помогать друг другу. Соберите у себя сбор, кто что может. Ведь нас здесь одних фабричных — сила. Пусть-ка они попробуют одолеть нас всех. Врозь нам и тягаться нечего. У них деньги, за них начальство. Надо действовать дружно. Как где бросили работу, — другие чтобы помогать. Все за одного, один за всех“.

Так коряво, угловато, тяжело расплачиваясь за былые ошибки, учится рабочая среда самодеятельности и взаимопомощи. Сама по себе пропаганда революционеров остается еще в значительной мере безрезультатной. „Политически

неопытная рабочая масса",—говорит историк движения А. Ельницкий,—„никак не могла взять в толк, что за люди революционеры, и из каких побуждений они помогают рабочим. На этот счет среди рабочих существовали самые дикие представления. Одни смешивали их с фискалами, то-есть со шпионами, другие же считали их тайными агентами самого царя, который-де сам хочет помочь рабочим, но ему мешают придворные чиновники, и вот он подсылает таких людей, чтобы они могли донести ему всю правду. Только в процессе самой борьбы научились рабочие отличать революционера от „фискала", и стали понимать, что эти люди не только не имеют ничего общего с властями, но и являются самыми заклятыми их врагами".

Тем показательнее, что при всей отсталости и темноте своей, рабочая мысль успела очень скоро во многом опередить интеллигентскую мысль, еще долго остававшуюся в плену народнических иллюзий. Народническое мировоззрение еще продолжало восторгаться общиной, еще клеймило изменой народному делу всякое выставление требований политической свободы, а рабочее движение, в лице Северного Союза русских рабочих уже отмежевалось от интеллигентских заблуждений, уже стало искать новых, жизненных и здоровых путей.

Одновременно с первыми проявлениями рабочей сознательности в Петербурге, вспыхивают первые рабочие беспорядки и по всей России. Железнодорожная стачка в Одессе в 1877 году, рабочие волнения в Ростове-на-Дону в 1879 году свидетельствуют уже об очень большом уровне сознательности в рабочей среде. Стачка в Одессе, напр., начата литейщиками из-за понижения заработной платы. Администрация, объявив уволенными преж-

них рабочих, пытается заменить забастовавших новыми. Но стоит показаться стачечникам, как ставшие было на работу новички сразу же бросают работу и братаются с забастовавшими. Администрация выписывает новых рабочих из Херсона, но и на этот раз результаты оказываются те же. И вновь выписанные рабочие также крепко держатся за солидарность действий. За три с половиной недели железнодорожной стачки, власти, как ни искали, так и не нашли ни одного штрейкбрехера.

Еще ярче протекают рабочие беспорядки в Ростове-на-Дону. Стоило полиции во время ареста одного рабочего применить к нему по дороге в участок стародавнюю систему избиения, как вот уже рабочая толпа не только отбила арестованного, но и кинулась штурмовать все участки города. Все они сразу же оказываются разгромленными. Власти в ужасе убежали из города. Два дня весь Ростов находился в руках рабочих, и только прибывшие на третий день войска „водворили законный порядок".

Чем выше поднимается сознательность рабочих, — тем определеннее идет процесс формирования союзов. Вслед за Северным союзом в Петербурге, в Одессе и Ростове-на-Дону возникает Южно-Русский рабочий союз (1875-й год). Программа его и объяснительная к ней записка составлены П. Аксельродом по образцу западно-европейских программ того времени. В Киеве в 1880 году возникает новый союз. Во главе его стоят Е. Ковальская и Щедрин, правоверные народники. Практических указаний пролетарской массе они дать не могут, но их пропаганда будит и возбуждает самостоятельную мысль рабочих. „Характером своим",—говорит историк,—„эта пропаганда напоминала библейские времена апостольской

проповеди. Обыкновенно поздно ночью, где-нибудь в окрестностях Киева, собирались рабочие в числе нескольких сот человек. К ним приходили Е. Ковалевская и Щедрин и вели беседы на разные темы".

Пока народнические программы рисовали перед рабочими широкие перспективы крестьянской революции, и звали их в народ, то-есть в деревню,—рабочие к этим призывам оставались глубоко равнодушны. Рабочий не мог согласиться с тем, что вершителем судеб родины является именно деревня, не мог признать город с его капиталистическим производством и фабричным пролетариатом отрицательной величиной. Вот почему первая самостоятельная рабочая организация—Северный союз русских рабочих—в 1878-м году в своем уставе категорически заявила, что союз по своим задачам тесно примыкает к социал-демократическим партиям запада. Организаторы Северного союза порывали с программой народников, отрекались от утопических надежд на крестьянскую социальную революцию. Эта первая попытка рабочей мысли осознать и определить самое себя представляет огромный шаг вперед, по сравнению с программами тогдашней революционной интеллигенции. В то время, как народники клеймили политические свободы, как буржуазную затею, и отрицали политическую борьбу, рабочие заявили, что считают политическую свободу одним из основных условий для своей борьбы.

Выставляя в своей программе политические требования, рабочие Северного союза впервые указывают на необходимость направить классовую борьбу по политическому руслу, ибо лишь этот путь может обеспечить экономическую эмансипацию, то-есть торжество социализма. Землевольцы не могли не оказаться в оппозиции Северному

союзу. Отрицательное отношение учеников к их программе ставило учителей — по выражению историка, — „в смешное положение курицы, высидевшей утят“. Но союз не только не смущается нападками интеллигенции, но и принимает все меры, чтобы обособить свою организацию от интеллигентской группы. Рабочие проявляют стремление быть самостоятельными. По уставу союза членом его может быть только рабочий. Члены союза хотят иметь свою рабочую программу, свою газету, свою типографию, свою библиотеку...

Не следует думать, что Степан Халтурин и Виктор Обнорский, стоящие во главе Союза, не видят общности очень многих своих целей с задачами интеллигенции. Серп и молот и в те времена вовсе не собирается чуждаться союза с книгой. Члены Северного союза стараются, напр., широко поставить дело поддержки студенчества в его борьбе. По целям своим, Северный союз отнюдь не считает себя враждебным интеллигенции, но его основатели считают необходимым, чтобы дело велось рабочими руками, чтобы руководили им люди с мозолистыми руками, с рабочей психологией.

Как ни удивительно, но уже в те далекие времена руководители Северного союза выдвигают воистину пророческую мысль, идею подготовления единовременной и всеобщей рабочей стачки, ту мысль, осуществление которой в 1905 году—явилось откровением, новым словом и для западного пролетариата, обладающего несравненно большим организационным опытом.

Одним из главарей Северного Союза Русских Рабочих является Степан Халтурин, один из первых революционеров, пришедших из рабочей среды. „Молодой, высокий, стройный, с чудесным цветом лица, с выразитель-

ными глазами",—описывают его современники,—этот рабочий „удивлял товарищей какой-то застенчивой, почти женственной мягкостью". Но этот человек, отличающийся конфузливостью, всегда как будто смущающийся,—отличается железной волей, воистину гранитным характером.

Органически, от рождения связанный с пролетарской, рабочей средой, Степан Халтурин отличается крайней недоверчивостью к интеллигентам. Живой, увлекающийся, умеющий нежно любить своих товарищей по фабрике и пользующийся исключительной любовью и с их стороны, он весь сжимается и уходит в себя при встрече с интеллигентами. Он не верит их объяснениям, и все вопросы самолюбиво старается решить лично. Так, огромную работу тратит он на сравнительное изучение европейских конституций. Халтурин желает лично изучить все волнующие его предметы. Он очень дорожит не столько теорией, сколько фактами, реальными фактами жизни. Теория и готовые выводы, предлагаемые ему революционерами из интеллигентов, его не привлекают. Выводы он сумеет сделать и сам.

Степан Халтурин.

Много времени тратит, напр., Степан Халтурин на собирание статистических данных о фабриках и заводах. Существующие статистические материалы он изучил, но они его совершенно не удовлетворяют.—Разве это статистика? Халтурин лично на местах проверяет цифровые

данные, и, как оказалось, со статистическими таблицами они совершенно не сходятся. Там, где значится пятьдесят рабочих, — в действительности оказывается триста. В иных местах на самом деле шестьдесят два рабочих, а значится двести восемьдесят.—Это не дело!

Степан Халтурин лично берется за организацию статистического дела. По его плану вести работу должны не статистики, а сами же рабочие, люди, действительно осведомленные в положении дела. Самостоятельно выработав особые листки, Халтурин лично разносит их по всем фабрикам и заводам, повсюду заводит связи, повсюду добивается точных и исчерпывающих ответов.

Материалы, собранные Халтуриным, оказываются до такой степени разносторонни, что у него получается возможность высчитать все расходы и доходы по делу и точно определить степень эксплоатации рабочих хозяевами. Итоги получаются устрашающие, поразительные, и эти данные еще более увлекают Халтурина к пламенной и решительной борьбе за интересы рабочей массы.

Халтурин — практик. Халтурин влюблен в реальные факты и конкретные цифры. Но это не мешает ему загораться мыслями о будущем, проявлять не только огромную фантазию, но и редкую прозорливость при оценке будущего. Уже в те далекие времена, носясь из одного фабричного предместья в другое, собирая детальные сведения о числе рабочих, о заработной плате, продолжительности рабочего дня о штрафах и т. п., — Халтурин, как мы видели, увлечен мыслью о возможности одновременной стачки всех заводов, о гигантской и всеобщей забастовке. Только через четверть века, в 1905-м году мысли Халтурина полностью осуществятся, и на удивленье всей Европы покажут гигантскую мощь русского пролетариата.

Организация рабочих масс—главная и самая любимая мысль Степана Халтурина—рисуется ему в необычайном и неожиданном по тому времени, огромном масштабе. Не ограничиваясь напряженной работой по организации и налаживанью связей между Петербургскими фабриками и заводами,—Степан Халтурин отправляется на Волгу, переходит с завода на завод, устраивает повсюду целый ряд тесно спаянных между собой революционных кружков, спешит с этой же работой на Урал. Но в это время работа Северного союза в Петербурге настойчиво требует возвращения Халтурина: в Петербурге, в распоряжении землевольцев оказалась, наконец, подпольная типография, и, не довольствуясь выходящей в Женеве газетой „Работник", Северный союз делает первый опыт постройки рабочей газеты в России. Все прикосновенные к делу люди единогласно сходятся на том, что редактором газеты должен быть не кто иной, как именно Степан Халтурин.

В этот период особенно четко проявляются разногласия между рабочими и интеллигенцией, между „Северным Союзом Русских Рабочих" и землевольцами.

Уже с самого возникновения союза—Степан Халтурин ревниво оберегает рабочих от интеллигентской опеки.

Ему кажется аксиомой правило, что „освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих", и не кто иной, как Халтурин, добивается, чтобы в качестве полноправных членов в союз могли входить только рабочие от станка, а не платонически „сочувствующие" рабочему интеллигенты.

Поводы для разногласий между союзом и землевольцами разнообразны. Представители интеллигенции в те дни, как мы видели, резко отказываются от политической

борьбы, считая, что она имеет значение только для буржуазии. Степан Халтурин отстаивает противоположное мнение. Представители интеллигенции категорически настаивают на том, что рабочие массы должны сознавать себя лишь частью трудового крестьянства. Эта точка зрения также кажется Халтурину вредной и гибельной.

В Петербурге под редакцией Г. В. Плеханова издавался тогда журнал „Земля и Воля". Журнал этот, на оценку Халтурина, — типично интеллигентский. Халтурина раздражают нападки журнала на организаторов союза рабочих за их пристрастие к политической борьбе и забвение интересов крестьянства.

— Нет, не для нас этот журнал! Наш журнал должен идти совсем иной дорогой!—со всей откровенностью заявляет Халтурин в беседе с Плехановым.

К весне 1879-го года общество „Земля и Воля" перерождается. Из бунтарского, каким было прежде, оно превращается в террористическое. Главной задачей момента объявляется „дезорганизация правительства". Наряду с целой серией покушений на Александра II-го, приводится в исполнение ряд террористических актов против правительственных агентов.

Степан Халтурин в это время является ярым врагом террора. Нужно было много забот и стараний со стороны царского правительства, чтобы сделать террористом этого мирного работника, прирожденного организатора. Нужно было приложить много стараний, чтобы в руках у Степана Халтурина оказался динамит.

По началу террористическая деятельность „Земли и Воли" встречает враждебное отношение со стороны Северного союза рабочих. Каждое новое покушение на Александра II-го вызывает полосу новых и новых гоне-

ний и строгостей, и резко сказывается в рабочей среде. Сами террористы и их вдохновители — это все нелегальные, и найти их жандармерии и полиции нелегко. Энергия жандармских ищеек направляется по линии наименьшего сопротивления, и поэтому тяготы от новых притеснений в первую очередь испытывает рабочий класс, давно уже находящийся „на дурном счету у правительства“.

Суровые политические меры, вызванные террором, повлекли за собой провал типографии Северного союза, происшедший сразу по отпечатании уже первого номера новой рабочей газеты. Погибло дело, на которое потрачено столько энергии, дело, в которое Халтуриным было вложено столько душевных сил, рабочая газета, от которой он ожидал так много важнейших результатов.

— „Чистая беда!“ — жалуется Халтурин: — „только-только наладится у нас дело,—хлоп! шарахнула кого-нибудь интеллигенция, и опять провалы. Хоть немного бы дали нам укрепиться!“

Но „укрепиться“ нет возможности. После покушения Соловьева полицейские строгости дошли до крайних пределов. Рабочих арестовывают массами держат в тюрьмах, ссылают в гиблые места Сибири. Организаторская деятельность, которой Халтурин придает особенно большое значение, и к которой его наибольше влечет,—становится совершенно невозможной, и только тогда Степан Халтурин решает отдать свои силы деятельности террориста.

Как и все, что он делает, и эти планы свои он осуществляет с исключительной серьезностью, по своему собственному, строго обдуманному плану: шаблонные нападения, покушения типа Каракозова, или Соловьева, кажутся ему недостаточно серьезными. Халтурин идет другим путем. Если верить в то, что убийство Александра II

„Не ходи!“

и вправду принесет России политическую свободу, без которой рабочий класс не может добиться организации своих сил, не может даже осуществить мечту о своей собственной рабочей газете,—то за дело это нужно браться по новому, со всей серьезностью, обдуманно и с надлежащей подготовкой. Изучив положение, Степан Халтурин умудряется занять место столяра в Зимнем дворце. Царь в это время живет в Ливадии, во дворце производится ремонт, и, добившись небывалой для революционера близости ко дворцу, новый столяр Степан Халтурин внимательно и детально изучает быт и нравы дворцовой челяди.

Нравы дворцовой прислуги представляют собой повторенную в миниатюре копию того, что творится в высших сферах, среди сановников. Быт построен на всяческом взяточничестве. Царские слуги, дворцовые камердинеры, получают, напр., как выяснил Халтурин, жалования всего пятнадцать рублей в месяц. Живут они на „посторонние доходы". Воровство идет повальное и всеобщее. Это является неизбежным настолько, что даже Халтурину пришлось принять в нем участие, чтобы „не выделяться" из общего уровня и не привлечь к себе подозрения.

Незабываемая деталь: русскому революционеру, чтобы добиться для себя „защитного цвета" в окружающей дворец толпе, чтобы не обратить на себя внимания и не быть узнанным, — приходится стать на путь хищений и воровства „С волками жить, по волчьи выть", — учит поговорка.

Халтурин поступил на службу во дворец с фальшивым паспортом на имя крестьянина Олонецкой губернии. Живет он с остальными работающими здесь столярами в подвале дворца. Отправляясь на работы в царские по-

кои, Халтурин изучил расположение всех частей дворца, детально выяснил, что подвал, в котором он живет, приходится как раз под царской столовой, отделенной от подвала одним этажем. В промежуточном этаже помещается военный караул.

Столярную работу Халтурин знает в совершенстве. По отзывам придворных лакеев, новый мастер „так полирует, что и блоха не вскочит". Чтобы застраховать себя от подозрений, Халтурин играет роль ничего не понимающего простачка, темной деревенщины. Он всему удивляется, делает круглые глаза, смущенно чешет в затылке, и дворцовые лакеи, снисходя к неотесанному мужику, учат его образованности: как надо говорить, как отвечать, как себя держать. — Это тебе, брат, не конюшня. Это дворец!

К удивлению Халтурина, порядка во дворце оказывается еще меньше, чем в любой конюшне. В то время, как парадные ходы дворца старательно и всемерно охраняются бесчисленной стражей и караулами, через черные ходы для прислуги свободно проходят все, кому только не лень. Так как всеобщее во дворце воровство особенно широко проявляется в деле кражи съестных продуктов и напитков, — то к дворцовой прислуге целые дни ходят самые разнообразные гости, которые приводят с собой и своих знакомых. „Кому пить-есть охота, — вались к Ваське на широкий двор". Целые толпы неведомых личностей являются через черный ход во дворец, едят и пьют с большим аппетитом, выбирают на память что позабавнее, а сплошь и рядом остаются здесь же во дворце и ночевать. Общероссийские порядки вообще, и придворно-сановный быт в частности, как солнце в капле воды, со всей точностью отражаются в жизни и быте дворцовой челяди.

Степан Халтурин продолжает играть роль деревенщины, бестолкового, ничего не понимающего мужика, но зорко и внимательно следит за жизнью дворца, настойчиво и упорно составляет свои планы. Хотя в этот период Халтурин является агентом Исполнительного Комитета Народной Воли, и регулярно ведет с ним отношения, ранее через А. Квятковскаго, потом через А. Желябова, но все, что нужно сделать для осуществления покушения, Халтурин берет на себя. Пусть только Исполнительный Комитет обеспечит достаточное количество взрывчатых веществ. Но с точки зрения Исполнительного Комитета, безумный по дерзости план взрыва в Зимнем дворце считается пригодным лишь на крайний случай. По планам комитета цареубийство предполагается совершить иначе. Взрыв должен раздаться в то время, как Александр II будет возвращаться домой из Крыма, на пути из Ливадии через Одессу в Петербург.

На это направлено все внимание и все заботы Комитета. К сентябрю 1879 года завершен целый ряд приготовлений к цареубийству. Близ города Одессы удалось Михаила Фроленко устроить сторожем в одной из железнодорожных будок. Сюда доставлено три пуда динамиту для мины под полотном железной дороги, с тем, что взрыв будет произведен путем гальваническаго тока в момент прохода императорскаго поезда. Другой, запасной подкоп произведен на пути, близ города Александровска Екатеринославской губернии. Здесь поселился сам Желябов. Приехав в город под фамилией ярославскаго купца Черемисова, Желябов выхлопотал у городской думы особый участок земли, возле железной дороги, сданный ему для устройства кожевенного завода, и с целым рядом сотоварищей успел заложить под полотном железной до-

роги мину из двух цилиндров с магнезиальным динамитом. Баттарея для взрыва помещена в телеге, небрежно прикрытой рогожей.

Третий и последний подкоп сделан еще близ Москвы. Здесь также устроена подземная галлерея под полотном железной дороги. Здесь, под именем супругов Сухоруковых, действуют Лев Гартман и Софья Перовская. Мина и здесь уже заложена, спираль Румкорфа приготовлена. Все эти планы уже осуществлены, и запасы нитроглицерина и динамита, какие были у Исполнительного Комитета истрачены почти целиком. Поддержать своей помощью Степана Халтурина, доставить ему достаточные запасы взрывчатых веществ Исполнительный Комитет затрудняется.

В середине ноября Александр II выезжает наконец из Крыма. Но как будто злой рок тяготеет над деятельностью Исполнительного Комитета. Все его планы оказываются фатально безрезультатными. Вместо того, чтобы ехать, как предполагалось, морем, через Одессу,—царь выехал сухим путем. Вся огромная работа по подкопу на железной дороге близ Одессы оказывается бесполезна.

Царь проезжает мимо Александровска. В нужную минуту, как раз в тот момент, когда императорский поезд проходит над подкопом, по сигналу, данному дежурящим на путях Окладским концы проводников, идущих от заряда к гальванической батарее, соединены. Но... По неведомой причине произошла осечка. Царский поезд, плавно громыхая, как ни в чем не бывало, проходит над местом подкопа, потребовавшаго нечеловеческое количество работы, самоотвержения и нервной энергии.

Остается еще один, третий, пункт, где заготовлена мина,—это Москва. Полтора пуда динамита, какие вместе с нитроглицерином, заложены здесь в момент смыка-

ния гальванической цепи взорвались, но дали грустные результаты. Из двух поездов, следовавших один за другим, первый, в котором находился царь, успел пройти благополучно и никто их лиц, следовавших в нем, не пострадал. Разрушительная сила взрыва постигла только второй поезд, в котором ехали придворные служащие.

Царь успел благополучно возвратиться в Петербург и поселиться в Зимнем дворце. Только с этого времени, с середины ноября, Исполнительный Комитет считает своевременным уделить серьезное внимание планам, на каких давно настаивает Халтурин, оставленный со своей работой не только без помощи и поддержки, но и без главнаго и основного, — без достаточных запасов динамита.

Лишь с этого времени Халтурин получает возможность вести свою работу со всей энергией. План проведения мины давно выработан им до деталей. Халтурин приступает к перенесению во дворец динамита. Отлучаться слишком часто невозможно. Это вызовет подозрения. Халтурин чтобы избежать обыска, может приносить с собой динамит только маленькими горсточками. Медленно, горсть за горстью, надо собирать взрывчатые запасы и наполнить мину пока нечем. Халтурину приходится хранить динамит у себя под подушкой. Нитроглицерин сильно испаряется, и вдыхание его влечет за собой страшные головные боли и серьезные нервные расстройства. Это Халтурина не пугает. Медленно и упорно делает он свое дело, от одного раза к другому, от недели к неделе, увеличивая свои запасы динамита.

Уже свыше двух пудов динамита скопил Степан Халтурин. Собирается уже третий пуд. Кроме нервного расстройства и отчаянных головных болей, какие вызвали

ядовитые пары нитроглицерина, у Степана Халтурина туберкулез. Чахотка проявляется в очень острой, очень тяжелой форме, но, как часовой на посту, неуклонно и сурово ведет Степан Халтурин взятую на себя работу. По прежнему, с изумительным совершенством, играет Халтурин роль неотесаннаго мужика. В комнате столяров в целях надзора поселен жандарм. Но Халтурин умудряется вести свою роль с таким совершенством, что жандарм успевает подружиться с ним и даже обучает его „благородному обхождению". — „Ну, что ты руки в затылок тычешь? С тобой намедни их высокоблагородие, господин полковник, говорят, а ты — всей пятерней в затылке чешешь. Эх ты, деревня! Нет того, чтобы по благородному себя держать".

Новые и новые покушения на жизнь Александра Второго довели в это время строгости в Зимнем Дворце до крайнего предела. Предосторожности принимаются самые отчаянные. Халтурин идет на крайние меры. Он усиливает дружбу с поселенным в комнате столяров жандармом. Дружба налаживается настолько серьезная, что бравый жандарм затеял даже выдать свою дочь замуж за молодого столяра. Конфузливый, смущающийся Халтурин отказываться не решается и всеми мерами оттягивает решение вопроса о неожиданном браке.

Молодой столяр числится на очень хорошем счету во дворце. Ему поручаются работы в царских комнатах Обычно своей полировкой и т. п. работами он занят в отсутствие царя. Но однажды Александр II явился раньше времени. Халтурина не успели увести, и царь застал рабочего за починкой ножки стола в своем кабинете.

Яркий, незабываемый момент: его императорское величество Александр II, самодержец всероссийский и — тем-

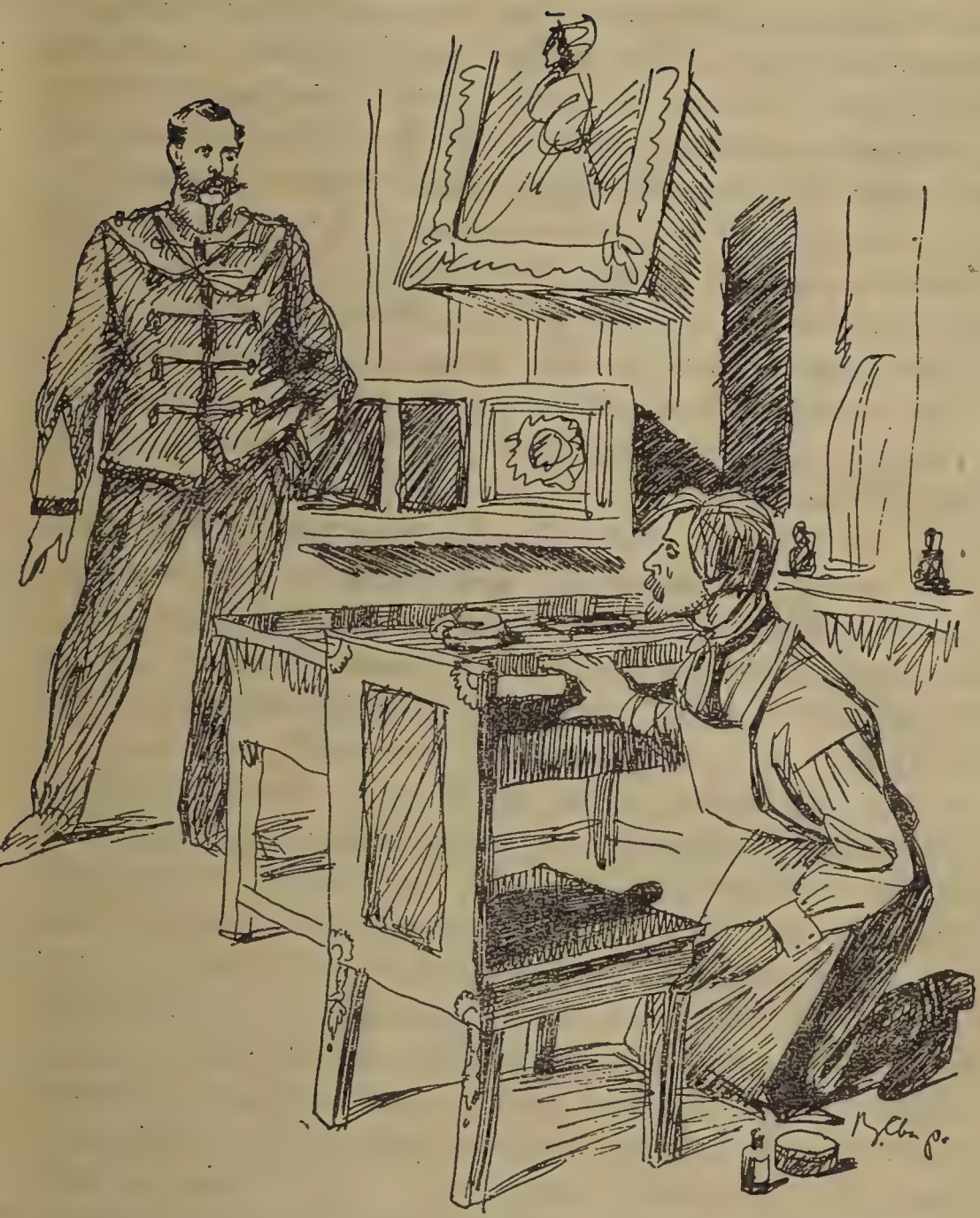
ный, чешущий в затылке, олонецкий мужик, краса и гордость русскаго революционнаго движения, рабочий Степан Халтурин, стоят лицом к лицу в царском кабинете в Зимнем дворце. Вдвоем — им нет места на земле. Кто-то из двух должен погибнуть. Степан ли Халтурин умрет на виселице по воле самодержца, или самодержец будет разорван на части по воле революционера?

Удивленно смотрит его величество на грязного мужика, неожиданно оказавшегося у него в кабинет. Артистически играя роль неотесанной деревенщины, смотрит круглыми глазами Степан Халтурин — Иди, иди, леший! — испуганно шепчет дворцовая челядь, — не видишь штоль? Царь тут, а ты торчишь.

Быть может, редкий момент встречи лицом к лицу с царем надо бы использовать для непосредственного нападения? Нет! Степан Халтурин человек осторожный. Все придет в свое время. Рисковать серьезным делом во имя случайной авантюры он не станет.

Впоследствии жандармерия в своих протоколах не упустит случая, описывая этот момент встречи Александра II с Халтуриным, увидеть в этом лишнее доказательство „обаятельности“, присущей государю-императору, как носителю царской власти: „Попав в число столяров Зимнего Дворца“, — говорит обвинительный акт по процессу двадцати народовольцев, — „Халтурин имел случай остаться с государем императором в его кабинете лицом к лицу, для производства столярных работ. Тут ему представлялся легкий случай к цареубийству, но обаятельная личность государя императора произвела на Халтурина столь сильное впечатление, что у столяра-террориста не поднялась рука“.

Эти оффициальные заявления даже и в те времена звучали несколько юмористически. Как известно, в свое



время рука столяра-террориста поднялась, и обаятельность носителя царской власти не застраховала его ни от взрыва, осуществленного Халтуриным, ни от целаго ряда иных покушений, вплоть до той бомбы 1-го марта, какая разорвала в куски Александра II по приговору Исполнительного Комитета Народной Воли. Официальные слова об обаятельности монарха звучат неубедительно. Но в том тяжелом положении затравленного, остро чувствующего ненависть к себе со стороны всей мыслящей России, в каком жил все последние годы свои Александр II,— быть может, имели значение и такие вот жандармские утешения, оффициальные свидетельства об „обаятельности личности государя".

В эти дни подготовки Ст. Халтуриным взрыва в царском дворце, полиция, во время одного из очередных арестов революционеров среди отобранных бумаг находит план Зимнего дворца. На плане особым крестом обозначена царская столовая. Полиция верхним чутьем чувствует, что это неспроста, что пред ней нити какаго-то серьезного дела. В ту эпоху беспрерывных покушений на обожаемого монарха такая улика, как план дворца, найденная при аресте видного революционера Квятковского, не могла не казаться исключительно важной и значительной.

Полиция сбивается с ног в поисках.—Как понимать крест, помещенный на плане? Дворец осмотрен сверху донизу, но осмотр этот только подтверждает совершенную точность отобранного при обыске плана. Отыскать ничего не удается. В свое время с точностью часового механизма устроенный Халтуриным взрыв в Зимнем дворце последует именно в том месте, какое обозначено на плане крестиком.

Сделать полиция ничего не может, но стараний по этому поводу она проявляет много. Дворцовая полиция усилена привлечением новых и отборных сил. Введена система внезапных обысков во дорце днем и ночью. Один из таких обысков производится глухой ночью в том подвальном помещении, где среди прочих столяров живет Степан Халтурин.

Обыск производится весьма торжественно. Жандармской ратью руководит опытный, поседелый в боях с революционерами, полковник. Все столяры, живущие в помещении, разбужены. — Попрошу не двигаться с места. Архипенко, распорядись! Встать! Смирно!

Лязгают шпоры, бряцают сабли. У Степана Халтурина под подушкой все его запасы динамита. Дело рухнуло, окончательно и бесповоротно.

Но что это? Надменно оглядев серую толпу перепуганных столяров, царские слуги в жандармских мундирах поверхностно осмотрели углы и этим ограничились.

— Здесь, ведь, только простые мужики. Тут искать нечего!

Блестящая жандармская толпа, с тем же торжественным звоном сабель и шпор, следует дальше.

Охрана дворца усилена до крайних пределов. Свободный вход и выход из дворца служащих отныне стеснен до последней крайности. Все лица, имеющие жительство во дворце, обязаны иметь при себе особые значки, медные бляхи. Посещение посторонних строго воспрещено. Отлучки куда бы то ни было контролируются. Все возвращающиеся подлежат тщательному обыску. Но и при этих, исключительно тяжелых, условиях, Степан Халтурин спокойно и убежденно делает свое дело. Пусть медленно и понемногу, но одна горсть ди-

намита за другой все же приносится во дворец и складывается под подушку.

Строго следит за собой Степан Халтурин. Для точного определения окружающих условий он умудряется вести разговоры по душам со служителями и жандармами, охраняющими дворец. Жандармы точно осведомлены о том плане дворца, какой найден при аресте у Квятковского. Они точно знают, что социалисты—народ серьезный, и уж если на плане дворца крест поставлен, так это, видать, неспроста.—Даром не пройдет. Глядеть надо в оба.

— Что оно за социалисты такие,—говорит Халтурину во время дружеской беседы один из дворцовых служителей,—хоть бы взглянуть на кого-нибудь из них.

— Да, ведь, как ты его узнаешь, — отвечает Халтурин.—Разве на нем написано, что он социалист?

— Не узнаешь? Эх ты, деревня! Его сейчас видно. Он, брат, ничего не боится, глядит высоко. Сторонись, того и гляди пырнет. Вид у него отчаянный. Его, брат, сразу признаешь.

Меры охраны все усиливаются, но Степан Халтурин попрежнему остается во дворце на лучшем счету. К празднику рождества христова, за месяц до взрыва в Зимнем дворце, устроитель и организатор этого взрыва Степан Халтурин успел даже получить наградные — сто рублей из собственных его величества сумм.

Количество динамита, которое удалось скопить, дошло уже до трех пудов. Вместо мины решено использовать простой ящик, тот самый, в котором хранится незатейливое имущество Степана Халтурина.

Исполнительный Комитет (место повешенного Квятковского занял в нем А. И. Желябов) настойчиво торопит

Халтурина, но Халтурин считает, что еще рано. Динамита мало. Нужно как можно больше взрывчатого материала, чтобы быть уверенным в результатах. Представитель Исполнительного Комитета А. И. Желябов думает иначе.

Трагически сталкиваются не только две разных точки зрения, но и различные психологии: рабочая у Халтурина, интеллигентская у Желябова.

— Не надо больше динамита! Хватит! Довольно! — настаивает Желябов: — Наша обязанность сделать все возможное, чтобы количество жертв было как можно меньше. Увеличивать количество динамита недопустимо. Это преступление.

Степан Халтурин смотрит на дело совершенно иначе. С его точки зрения уменьшать масштаб дела, ограничиваться минимальным запасом взрывчатых веществ, — это хуже, чем преступление: это ошибка! Ставши в позицию воюющей стороны, надо думать о победе во что бы то ни стало, а вовсе не о количестве жертв. Жертвы все равно неизбежны, „Человек пятьдесят перебьешь, без сомнения“, — говорит Халтурин: — „Так уж лучше класть побольше динамиту, чтобы хоть не даром-то люди пропали, чтоб наверняка свалить „самого“, чтоб не пришлось потом новые покушения устраивать“.

Разногласия между Желябовым и Халтуриным примирить так и не удается. Каждый остается при своем убеждении. Но в это время во дворце затеваются перемещения. Столяров решено „на этих днях в новое помещение перевести“. Со дня на день может рухнуть все дело, и Халтурину приходится послушаться Желябова и ограничиться имеющимся количеством динамита.

Работать по устройству мины в подвальном помещении дворца Халтурину удается лишь в те редкие минуты,

когда он остается у себя один. Во имя конспирации связь между Халтуриным и прочими революционерами прервана. Только на улице, мимоходом, не останавливаясь ни на минуту, встречаются Халтурин с Желябовым, обмениваясь на ходу двумя-тремя, сказанными шопотом словами.

— Исполнительный Комитет просит поторопить! — успевает заявить Желябов.

— Тороплю всеми силами, — бросает в ответ Халтурин.

Дни идут. — Как дела? — спрашивает при новой встрече Желябов. — Делаю все возможное, — кратко отвечает, проходя мимо, Халтурин.

Следующие встречи становятся все нервней. — Отчего нет взрыва? — спрашивает Желябов. — Нельзя было! — бросает Халтурин. — В чем дело? — нервно спрашивает Желябов в другой раз, в назначенный для взрыва день.

— Ничего не вышло, — кратко отвечает Халтурин,

День за днем приносит все новые осложнения. „Необходимо поторопиться", — настаивает Желябов от имени Исп. Комитета, но Степан Халтурин упорно и непреклонно ждет подходящих условий.

— Ну как? — нервно спрашивает у него 5-го февраля при очередной встрече Желябов. — Готово! — спокойно отвечает Халтурин.

Готово! Уже зажжен служащий для запала шнур, уже приведен в движение часовой механизм. В пять часов тридцать минут, как раз в то время, когда царь со всей семьей займут свои места за обедом, в столовой дворца свершится небывалое: произойдет взрыв в самом центре вражеских владений, в главной цитадели самодержавия, во всемерно охраняемой жандармами резиденции императора — Зимнем дворце.

Готово! В заранее назначенное время страшный грохот оглашает Петербург. В назначенный час, секунда в секунду, с зловещим грохотом взрывается скромный сундучек смиренного столяра, жившего в подвале Зимнего дворца. Рухнула стена, валится потолок, полопались стекла, потухли все огни во дворце.

Заблаговременно ушедший из дворца Степан Халтурин, в сопровождении Желябова, направляется в это время в заранее приготовленную для его укрытия конспиративную квартиру. Момент взрыва последовал точно по расписанию.—Все правильно! — говорит своему спутнику Халтурин, взглядывая на часы при звуке взрыва.

Несутся со всех концов, скачут к потрясенному взрывом дворцу полицейские и жандармские слуги самодержца.

— Достаточно ли оружия?—справляется Степан Халтурин. Все ли приготовлено в той квартире, где он должен спрятаться от розысков полиции? — Нужно, чтобы было много. Живой я им в руки не отдамся, — говорит Халтурин.

Его успокаивают. Запасы приготовлены достаточные. Кроме оружия, имеются еще динамитные бомбы.

Дело налажено серьезно и обдуманно. Перед нами уже не „случайный“, хотя бы и по внешнему, выстрел, какими были покушения Каракозова и Соловьева.

Вся обстановка события 5-го февраля 1879 года необычайна от начала до конца. Изумительный по дерзости план произвести взрыв в самом дворце, где живет всемерно охраняемый самодержец, требовал совершенно исключительной энергии и организованности.

Осуществление плана, казалось, тем невозможнее, что полиция, как мы уже знаем, была осведомлена. Подробности этой осведомленности таковы: еще за четыре ме-

сяца до взрыва, во время вызванного случайным доносом обыска, произведенного на квартире у Евгении Фигнер и А. Квятковского, — наряду с целой грудой приготовленных к распространению номеров „Народной Воли“, рядом с револьвером, были найдены три карандашных наброска плана Зимнего дворца. Рисунки тогда же были предъявлены заведывающему дворцом, генералу Дель-Само, который признал, что планы дворца „вполне соответствуют“ действительности и что „аппартаменты его и ее величеств и расположение их обозначены на плане совершенно правильно“.

Тайная полиция уже тогда, за четыре месяца до взрыва, совершенно ясно сознает, что обнаруженные во время обыска планы Зимнего дворца не могут не иметь особо большого значения. Тайная полиция из себя выходит, чтобы расшифровать, что обозначает „особый кружок“ на том месте плана, где, как выясняется по справкам, помещается солдатский караул главной дворцовой гауптвахты, а над ним царская столовая.

Тайная полиция усиленно занята этим, но Степан Халтурин делает свое дело, и через четыре месяца после находки планов полицией, взрыв Зимнего дворца происходит именно в том месте столовой, какое обозначено на плане кружком, именно там, где особым крестом отмечено место его величества.

По случайным причинам во время взрыва в царской столовой никого не было и царская семья уцелела. Но впечатление от взрыва получилось потрясающее: „Если уже и жилище царское ничем не застраховано от потаенной работы извергов, — то можно ли быть спокойным?“ патетически вопрошают „С.-Петербургские Ведомости“ тех дней: — „Дворец охраняется целой ротой гвардии,

кругом ходят часовые, и, несмотря на это, гнусная работа преспокойно идет своим порядком и в свое время разрешается страшным взрывом, да еще, как бы в насмешку, под самым гвардейским караулом, в обеденном зале, где взрыв должен был застать за обедом всю царскую фамилию".

Взрыв был настолько силен, что охватил три этажа: разрушены оказались и подвал, и караульная комната в первом этаже, и царская столовая во втором.

Спас Александра случай. В этот день царь ждал приезда принца Александра Гессенского. Из-за опоздания поезда обед был отложен, и царская семья успела только войти в столовую, когда оглушительный взрыв потряс все здание. Если бы обед происходил в обычное время, и все успели разместиться за столом, вся семья царя неминуемо была бы убита.

„Вчера"—читаем мы в „Записках" генеральши Богданович — „Плеве рассказывал про свой дебют, когда он докладывал Александру II после взрыва в Зимнем дворце результаты своего дознания о том, что взрыв был произведен беспаспортным мещанином, проживавшим во дворце. Адлерберг его прервал, возразив, что это неверно. Это сильно сконфузило Плеве, он не был в состоянии отвечать. Но в это время Гурко сказал Адлербергу, что слова Плеве вполне справедливы, и это дало возможность Плеве, тогда бывшему прокурору судебной палаты, оправиться и продолжать свой доклад, который был началом его карьеры".

В свое время и этот, совершивший пышную карьеру, В. К. Плеве тоже погибнет от бомбы революционера.

Железный характер отличает Степана Халтурина. Как ни тягостны обстоятельства, они не могут осилить этого

человека. Мы видели, что ни нервное растройство, ни мучительные головные боли, причиненные целыми месяцами вдыхания ядовитых паров за то время, когда он хранил под подушкой динамит, ни злая чахотка не могут осилить этой закаленной воли, этого стального характера. Но известие о том, что Александр II-й уцелел, что долгие месяцы работы принесли в результате одни только невинные жертвы из числа караульных солдат, подействовали на Халтурина очень сильно. Он надломлен, он никак не может примириться с неудачей своего дела, и не прощает Желябову того, что он давно называл „ошибкой" — недостаточного количества динамита.

— Я ведь говорил, я говорил, что мало динамиту! Через два этажа, два потолка разрушить надо. Это все они, интеллигенты с своею мягкотелостью, с прекраснодушием своим... Они, интеллигенты, виноваты.

Но и надломленный, потрясенный неудачей Степан Халтурин остается на своем посту, продолжает сурово и настойчиво делать свое революционное дело. Жандармерия и полиция с ног сбились, разыскивая исчезнувшего из Зимнего дворца безвестного столяра, а Степан Халтурин уже снова, как ни в чем не бывало, занят рабочим делом и организацией пропаганды. Но отравленный остротой переживаний террориста, он не может ограничиваться одной только работой пропагандиста и организатора, и снова кидается в самую гущу террористической деятельности.

Погиб Степан Халтурин лишь через два года после взрыва в Зимнем дворце при совершении казни Исполнительным Комитетом военного прокурора Стрельникова.

Военный прокурор Стрельников успел в те годы обратить на себя исключительное внимание крайней жестоко-

стью с какою он вел дела о политических преступлениях. С первых шагов своей карьеры он успел зарекомендовать себя необычайной свирепостью в деле борьбы с революционерами. „Заслуг“ у него много. Аресты производятся им целыми толпами, причем арестовываются даже дети. С подследственными обращается Стрельников с необычайной жестокостью. Дела ведет Стрельников пристрастно. Он пользуется составлением подложных показаний, вводит в систему подсаживание к арестованным шпионов.

При практикуемой Стрельниковым системе массовых арестов,—в тюрьмах оказывается много людей, далеких от революции. Стрельников доводит их до слез, до истерики, до отчаяния. Никогда количество самоубийц среди арестованных не доходило до такой высокой нормы, как среди тех, чьи дела ведет эта восходящая звезда жандармского неба.

Деятельность Стрельникова была восторженно замечена и оценена при дворе и царь наделил его чрезвычайными полномочиями. Стрельникову предоставлено право посылать свои донесения непосредственно во дворец, помимо генерал-губернаторов и министра. Стрельникову поручено произвести широко поставленное дознание по политическим преступлениям на всем Юге России. Стрельников выдвигается в первые ряды в деле борьбы с революцией. — „Далеко пойдет! Блестящую карьеру сделает!“ — завистливо говорят об этом новоявленном царском любимчике матерые волки в голубых мундирах.

Но слишком уже перестарался этот прокурор „из молодых, да ранний“, и вот его имя уже значится в списке приговоренных Исполнительным Комитетом Народной Воли. Осуществление приговора взяли на себя Степан Халтурин и Желваков. Казнь прославившего свое имя

прокурора Стрельникова совершается в Одессе среди дня. Беспечно пьет вино за обедом во французском ресторане прокурор Стрельников, не подозревая того, что неотступно следят за ним зоркие глаза Халтурина и Желвакова. После обеда прокурор в сопровождении своего телохранителя-шпиона, гуляет на бульваре. Желваков, не спеша прицелившись из револьвера, спускает курок. Стрельников убит.

Н. А. Желваков.

Шпион, охранявший Стрельникова, пытается догнать человека с револьвером в руке, несущегося по крутому спуску от бульвара.

— Ловите! Держите! Убили! — кричит шпион. — Какие беспорядки! — возмущается генерал Гурко, чуть не сразу явившийся на место происшествия: — Какие беспорядки! Немедленно переписать всех присутствующих! Отобрать у всех адреса, — приказывает генерал только теперь с опозданием появившимся чинам полиции.

Желваков по узкому и крутому спуску бежит вниз к пролетке, на которой поджидает его Степан Халтурин. Какие-то обыватели, хотя и не понимают, в чем дело, считают своим долгом на всякий случай попытаться задержать юношу, бегущего с револьвером в руке. Желваков отстреливается. В револьвере зарядов больше нет. Желваков выхватывает второй. Когда истощились заряды и во втором, он отбивается кинжалом. Вот-вот он пробьется к пролетке, на которой ждет его Степан Халтурин.

Цель уже близка. Но кучка праздношатающихся зевак уже сообразила, куда несется отчаянно отбивающийся юноша. Сгрудившись тесной толпой, добровольцы стараются перерезать Желвакову путь к пролетке. Халтурин кидается на помощь. Выхватив револьвер, он оставляет пролетку и несется к толпе обывателей. Их много, но это не останавливает Халтурина, спешащего на выручку товарища. Но вот вдруг, из угольного склада на углу выскочил какой-то приказчик, и уже спешат на его зов несколько карантинных рабочих. Все они еще не разобравшись, не понимая, в чем дело,—толпой наваливаются на худощавого, истомленного туберкулезом Степана Халтурина.

— Оставьте! Я социалист, я за вас! — нервно восклицает Халтурин. Смущенно отшатываются рабочие. Но уже подвернулся откуда-то околоточный, и усердствует жирный приказчик, и помогают какие-то неведомые люди в котелках.

— Крути ему руки за спину, вяжи его!

Уже повалены, обезоружены и связаны и Степан Халтурин, и Желваков. Оба свалены в пролетки и, придавленные тяжелыми сапогами полицейских, отвезены в участок. Только теперь становится известно толпе, кто такие арестованные. — Это — те самые, что убили Стрельникова, кого так остро ненавидит все население. Это — революционеры, исполнявшие приговор Исполнительного Комитета.

— А мы-то, мы ведь думали, что мазурики какие-нибудь, — говорят со вздохом карантинные рабочие: — Когда бы знать, нешто мы бы их хватали. Мы бы околоточному и городовым руки назад скрутили, а уж наших-то вызволили бы.

В толпе усердствовавших оказывается некий чиновник, Игнатович. Узнав, кто были те люди, аресту которых он помогал, Игнатович тяжело заболевает. Но позднее раскаяние делу не помогает.

Арестованные отказываются отвечать на вопросы. Они настойчиво расспрашивают, убит, или только ранен прокурор Стрельников.—Убит? Ну, тогда, все хорошо! Теперь делайте, что хотите.

В ту же ночь военный суд проделывает те формальности, какие нужны, чтобы удавить намыленной петлей Халтурина и Желвакова. Власти тщетно стараются узнать, кто они такие, выяснить их прошлое, их знакомства. Город полон слухами, что арестованных Халтурина и Желвакова пытают, но и этим путем добиться результатов жандармам не удается.

Подсудимые держатся тона спокойного и уверенного. Данное им партией задание выполнено. Смерть их не страшит. На это они шли. — „Нас повесят, но найдутся другие“, — заявляют они тем товарищам Стрельникова, какие ведут военно-судебное заседание: — „Всех вам не перевешать. От ожидающего вас конца ничто вас не спасет“.

Судебное дело ведется во мраке ночи со всей поспешностью.

От Александра III из Гатчины получен строжайший приказ с казнью поторопиться. Одесские власти не рискуют даже тратить время на выписку знаменитого палача Фролова, разъезжавшего в те годы по всей России в качестве гастролера по приведению в исполнение смертных приговоров над политическими.

Палача в срочном порядке стараются найти в уголовном отделении местной тюрьмы. Обращаются к убий-

цам и разбойникам, вызывают каторжников, потерявших счет загубленным жертвам. Им сулят и помилование, и огромное вознаграждение, но даже эти люди единодушно отказываются от предложений начальства.

— „Чтобы мы да на такое дело пошли? Да чтобы нам всем подохнуть, ежели их хоть кто пальцем тронет. Всех генералов передушим, а этих, которые за народ, не тронем“, — гудит каторжное отделение.

Начальство в отчаянии. Еще и еще повышают условия, до небывалых размеров взвинчивают котировку, увеличивают цену крови и вот, — ура! Нашелся-таки, начальству на утешение, церкви и отечеству на пользу, каторжник, который согласился удавить Степана Халтурина и Желвакова.

— Только я ведь вешать не умею, — сконфуженно заявляет доброволец.

— Пустяки! На то доктор есть. Тюремный врач, Розен, — он человек опытный, не раз виселицу видел. Он научит, дело не трудное.

Сообщать о казни в печати строго воспрещается. Дело во избежание осложнений ведут в глубокой тайне. Но, чтобы придать этому убийству по суду благовидную форму, власти считают необходимым, чтобы при казни присутствовали хоть какие-нибудь „представители общественности“. Редактору „Новороссийского Телеграфа“, известному черносотенцу Озмидову, и нескольким из наиболее „благонадежных“ и патриотически настроенных гласных городской думы послана повестка с приказом „в 5 часов утра собраться у городского головы“. Ослушаться никто и не помыслил. Собравшиеся „представители общественности“ ранним утром доставлены в тюрьму. Их дело маленькое. Они — благородные свидетели.

В шесть часов утра вывели осужденных Халтурина и Желвакова. Настроены оба бодро. — Вот как высоко! — говорит улыбаясь Желваков, пересчитав четырнадцать ступенек, ведущие к виселице. Желваков сам надел на себя петлю. Халтурин—болен. Туберкулез и побои при задержании довели его до того, что таких сил, какие нужны, чтобы одолеть четырнадцать ступенек эшафота, — у него не хватает. Его взводят под руку.

Палач-доброволец, по неопытности, выпил „для храбрости“ слишком много. Из-за его неумелости муки Халтурина оказались необычайно длительны. Даже оффициальные представители, командированные для присутствия при казни, не в силах вынести издевательских мучений. Полицеймейстер, и тот закрыл лицо руками и отвернулся. Офицеру, распоряжавшемуся процедурой, сделалось дурно, — сообщают документы.

Так или иначе, казнь совершена: царским правительством одержана блестящая, полная и совершенная победа. Революционер Степан Халтурин удавлен. „Все обстоит благополучно“ — рапортует начальству приведенный в чувство распоряжавшийся казнью офицер.

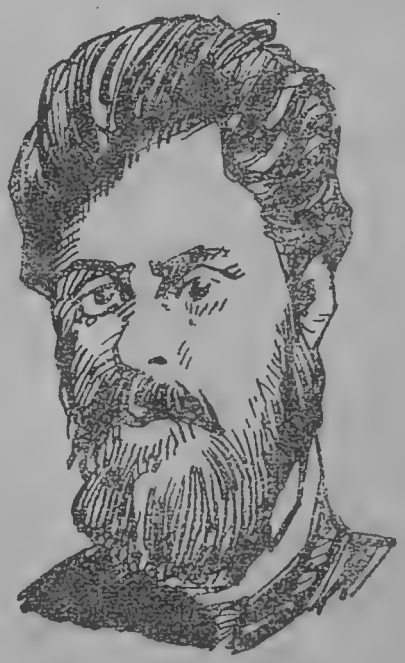
* * *

Если Степан Халтурин представляет собой яркий образ вышедшего из рабочей среды террориста, — то еще более цельную, яркую и значительную фигуру пропагандиста — представляет собой рабочий ткацкой фабрики Петр Алексеев.

До чего цельна, выдержана от начала и до конца каждая черта биографии этого человека! Родившийся в 1849 году, в бедной крестьянской семье, Алексеев успел полностью, на собственной шкуре, изучить крепостное

право. Его детство и ранняя юность протекли в атмосфере полного рабства, где живые люди являли собой лишь товар, рабочую „безрогую скотину“. Но с первого же проблеска сознательности его душа и все его мысли—в том царстве разума, свободы и справедливости, в обетованной земле социализма, которой он отдал всю свою трудовую рабочую жизнь.

От крепостного права — к царству социализма! Какая трудная задача жизни, какое тяжелое положение у этого человека, являющего собой как бы живой мост от темного прошлого к радостному будущему.



Петр Алексеев.

Петр Алексеев родился в мужицкой избе, в имении Сычевка, Смоленской губернии.

Жизнь рабочего Петра Алексеева от начала и до конца выдержана в одном и том же тоне. Тяжкая нужда, неустанный труд, безграничная и безпредельная влюбленность в дело освобождения,— отличают от рождения и до смерти всю жизнь этого революционера.

Уже в раннем детстве маленькому Пете Алексееву нет места в родной семье. Надел нищенский, земля убогая. Никак не управиться. Мальчонку, как и всех детей из тех мест, с ранних лет отправляют в далекий город на фабричную каторгу.

Маленький Алексеев вместе с целой партией крестьянских детей попадает на ткацкую фабрику в Москве.

Жуткую обстановку являют собой фабрики того времени. Рабочий день длится шестнадцать часов. Живут ра-

бочие здесь же, в грязных фабричных казармах, здесь спят все они вповалку на полу.

Мальчик Алексеев с первого же дня попал в рабскую зависимость от всех окружающих, не только от хозяина, от полиции, и от любого мастера, но и от своего же брата, взрослого рабочего, норовившего сорвать накипевшую от беспросветной жизни злобу на безпомощном мальчугане. Жутким было „золотое детство“ Петра Алексеева, нечем было ему помянуть „счастливые невозвратные“ годы юности.

Тягостна была не только внешняя обстановка. Убого и убийственно и внутренее содержание фабричной жизни того времени. Рабочая среда в те дни еще не была разбужена от векового сна, в каком держал многомилионную народную массу Романовский режим. Рабский страх перед всяким „начальством“, полное отсутствие каких бы то ни было духовных интересов, всеобщая грубость, сплошное пьянство,—вот основной фон жизни на фабрике. Юноша Алексеев мучительно старается разобраться в окружающем. В чем дело? Кто виноват в том, что в такой беспросветный кошмар обратилась жизнь рабочего?

„Мы, миллионы людей рабочего класса населения“,— говорил впоследствии Петр Алексеев в своей знаменитой речи на суде в заседании особаго присутствия сената: — „Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть только встанем на ноги, брошены отцами и матерями на произвол судьбы. Мы не получаем никакого воспитания, за неимением школ и времени.

„Уже с детства мы измучены от сильного труда и скудного за это вознаграждения. С 9 лет, мальчишками, нас стараются спровадить с хлеба долой, на заработки. Что же нас там ожидает?“—вдумчиво и спокойно спрашивает

Петр Алексеев в этой своей речи, взволновавшей даже сенаторов в их золоченых мундирах.

„Что же нас ожидает? Мы продаемся капиталисту на сдельную работу из-за куска хлеба. Взрослые розгами и пинками приучают нас к непосильному труду. Питаемся кое-чем, задыхаемся от пыли и зараженного воздуха, спим, где попало, на полу, без постели, в лохмотьях, со множеством всяких паразитов. В таком положении некоторые навсегда притупляют свои умственные способности. Нравственные понятия не развиваются. Вот что нам, рабочим, приходится выстрадать под ярмом капиталиста уже в детский период. Какое же мы можем усвоить понятие по отношению к капиталисту, кроме ненависти? С малолетства закаляется у нас затаенная ненависть в сердце, решимость лишь до поры терпеть давящий нас гнет капиталистов и все причиняемые нам оскорбления“.

Веско и значительно звучало на суде каждое слово подсудимого.

Горько и тягостно протекала юность Петра Алексеева на фабрике. Немудрено, что не нашлось у него доброго слова, когда он в своей речи на суде вспоминал этот период. Но мириться с этим положением юноша Алексеев уже и в ранние годы не желает. Упорно и настойчиво он старается что-то понять, чему-то научиться.

Раньше всего он берется за изучение грамоты. Нелегко достается ему эта наука. Лишь к семнадцати годам успевает он изучить азбуку. Осиливать каждый шаг приходится самоучкой. Но препятствия не пугают юношу; с неутомимой энергией ищет он книжек, какие бы объяснили ему мучающие его вопросы. В этих вот поисках живого слова встречается он впервые с вестниками новой правды, юношами и девушками, которые, повинуясь распространен-

ному тогда лозунгу, „хождения в народ“, оказались на той ткацкой фабрике, где прошла юность Петра Алексеева.

Встреченные им революционеры—это „молодые люди и девушки, большею частью прекрасно образованные и принадлежавшие к достаточным, подчас богатым, семьям“. „Они“—говорит, обрисовывая этих людей, Ю. М. Стеклов—„отбросили в сторону все выгоды своего положения, надели мужичьи платья и отправились на фабрику заурядными рабочими и работницами. Они спали на грязных нарах, среди мириадов насекомых, ходили босые, ели невозможную пищу, дышали промозглым казарменным воздухом, в котором стоном стояли матерные слова и похабные шутки. Девушкам-революционеркам приходилось терпеть от распущенности фабричных нравов, от озорства“...

„Все это они терпели ради того, чтоб после 17 или 18 часов труда, вместо отдыха, поделиться с рабочими хоть крупицей истины, чтобы заставить рабочих призадуматься над собственным положением и причинами этого положения, чтобы пробудить в рабочих самоуважение и чувство гражданства“.

Встреча с этими новыми людьми, книжки, полученные от них, разговоры с ними—составили целую эпоху в жизни Алексеева. Целые ночи после долгой дневной работы он проводит отныне за книжками. Все дальше отлетает шелуха, привитая бытом темной деревни и еще не разбуженной фабрики, все четче и яснее вырисовываются перед глазами будущие пути жизни.

Едва только почувствовал Алексеев, что у него открылись глаза, что он стал понимать, в чем правда,—как он уже не считает себя вправе спокойно оставаться на месте. Он теперь разбужен, и он не вправе оставлять своих

товарищей по станку за завесой глубокаго сна. Это им, белоручкам, революционерам из интеллигентов, людям, пришедшим на фабрику со стороны, с иными, буржуазными навыками и замашками, это им трудно найти прямой путь к душе и сознанию рабочего. Петр Алексеев— он сам мужик, сам рабочий. Его услышат, его поймут!

Неустанно и неослабно берется Петр Алексеев за работу пропагандиста. Он поступает то на одну фабрику то на другую, и, упорно работая здесь целые дни, каждую свободную минуту тратит на горячие беседы с окружающими.—„Долго ли терпеть будете? Неужто правды не понимаете?“ И внимательно слушают рабочие простые, от сердца к сердцу идущие слова своего товарища, и распрямляются усталые груди, и новые, неведомые огоньки загораются в их изможденных глазах.

Будить спящих, открывать глаза слепым, объяснять положение непонимающим, — такова жизненная задача Петра Алексеева, которой он со всей страстью отдает свои незаурядные силы. Пылкая убежденность слышится в каждом его слове. Пропагандистская деятельность его идет с исключительным успехом. Но едва только успевает убедиться Алексеев, что сдвинулись с мертвой точки, что стали работать головой и по своему оценивать положение его товарищи по станку, как вот уже он считает себя обязанным двинуться дальше, на новую фабрику, к новым людям, чтобы снова и снова будить спящих, еще и еще сеять семена новой жизни.

„Это был настоящий русский крестьянин, как по внешнему виду, так по внутреннему складу“,—описывает Петра Алексеева в своих „Воспоминаниях“ В. Ф. Волховской:—„Среднего роста, широкий, кряжистый, это был богатырь, как будто вылитый из чугуна. Подстать

к богатырскому телу была и крупная голова с крупными глубоко вырубленными смуглыми чертами лица, с шапкой черных, как смоль, густых волос. Всего лучше были глаза, ясные и пламенные. Неукротимая энергия светилась в них вместе с добротой сильного человека. Он был бы похож на цыгана, если бы не открытое, прямое и добродушное, чисто-великорусское выражение лица".

Целые годы длится пропагандистская работа Петра Алексеева. „Как настоящий крестьянин, он был человек практический, человек дела, а не разговоров", и необходимость ограничиваться одной только словесной деятельностью его не мало тяготит. Он тоскует по настоящему делу, пламенно мечтает о восстании, но ослаблять свою работу он не считает себя вправе, и со всей энергией все дальше и дальше, с завода на завод, движется пропагандист, и все новых и новых товарищей успевает разбудить от былого сна.

Но вот Петр Алексеев арестован. На конспиративной квартире захвачено восемь человек. Пятеро из них—бывшие студенты и студентки, живущие по крестьянским паспортам и занимающиеся пропагандой; трое, в том числе Алексеев,—рабочие от станка. Жандармерия помещает всех восьмерых в тюрьму, и в эти годы, проведенные в тюремной камере, Алексеев в первый раз в жизни получает возможность серьезно заняться самообразованием. Алексеев упорно и настойчиво пополняет свои знания, еще яснее и сознательнее разбирается в своих целях и мечтаниях, и ко времени процесса („дело пятидесяти" на суде особого присутствия правительствующего сената в 1877 году) Петр Алексеев чувствует себя человеком окончательно сложившихся, до конца продуманных убеждений.

На суде Алексеев от защитника отказывается. „Всякому известно, что в процессах такого рода приговор суда составлен заранее. Весь этот суд — не что иное, как комедия. Защищайся или не защищайся,—это все равно. Я от защиты отказываюсь“.

Улик против Алексеева, как это выяснилось на суде, почти нет. У него есть все основания рассчитывать, если не на оправдание, то на очень легкую кару, если только он не станет „злить судей“. Но Алексеев считает необходимым использовать процесс в агитационных целях. Вместо робкой защиты, он выступает на суде с грозным обвинением не только по адресу судей, но и всего строя, представителями которого они являются.

Главное содержание речи Алексеева посвящено положению рабочаго класса:

„Отчего сидит на скамье подсудимых тот, кто чуть ли не от самой колыбели всю свою жизнь зарабатывал семнадцатичасовым трудом кусок черствого хлеба?“ — спрашивает Алексеев: — „Наш народ рабский и полудикий. Разве у нас есть свободное время для каких-нибудь занятий?

„Неужели кто-нибудь полагает, что мы, работники, не слышим, как нас ругают дураками, лентяями и пьяницами? Неужели мы не видим, как вокруг нас все богатеют и веселятся за нашей спиной? Неужели мы не можем понять и сообразить, почему это мы так дешево ценимся, и куда девается наш невыносимый труд? Отчего это другие роскошествуют не трудясь, и откуда берется их-нее богатство?“

До чего необычайными и неслыханными явились речи такого рода в те дни! По словам очевидцев, не только публика и судьи, но даже часовые и жандармы „точно окаменели“ во время речи Петра Алексеева. — „Я уве-

рен", — свидетельствует один из адвокатов, — „что если бы Алексеев после своей речи повернулся и вышел, его бы в первую минуту никто не остановил, до того все растерялись".

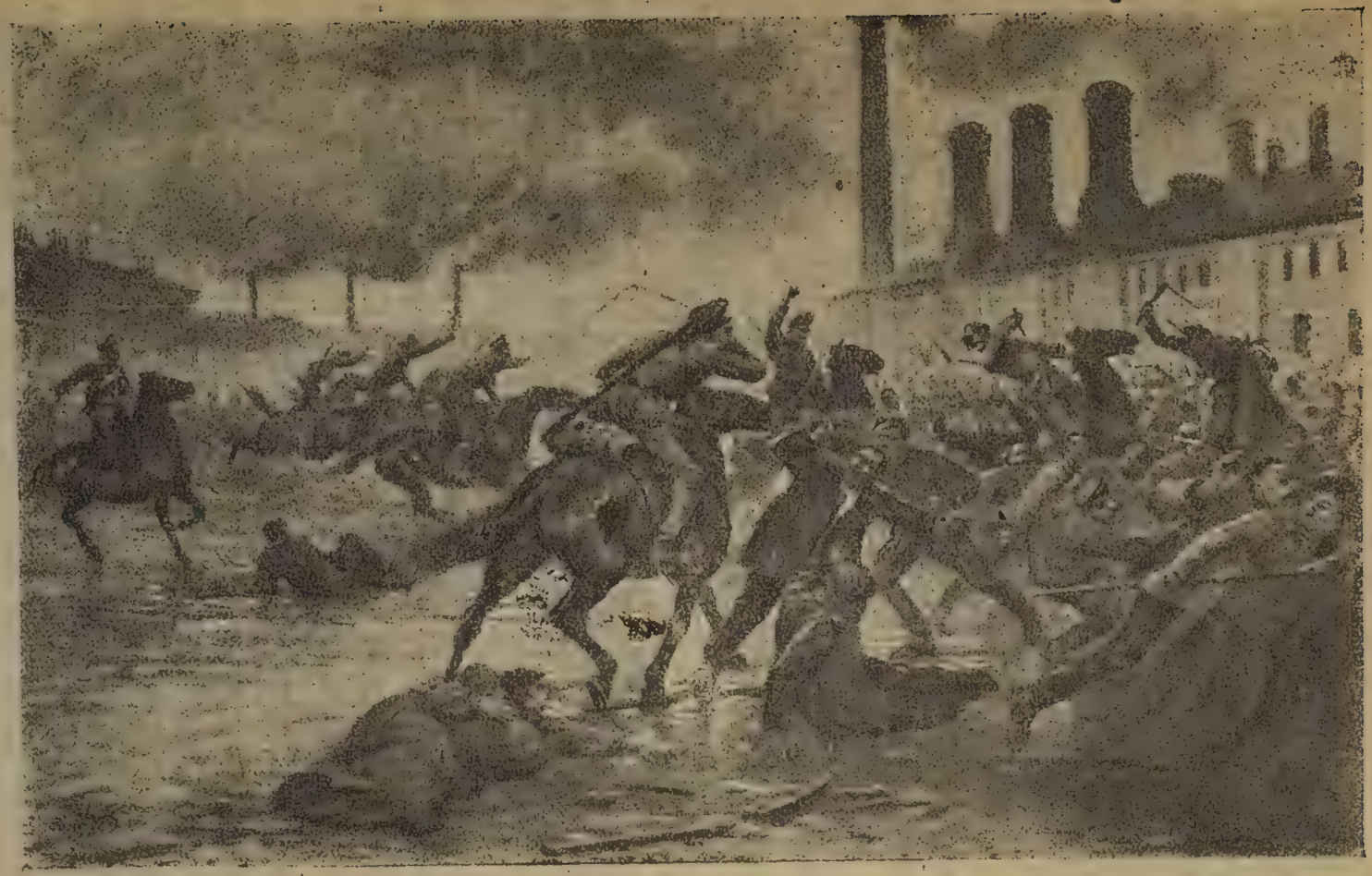
— Рабочий народ, — гремит со скамьи подсудимых: — хотя и остается в первобытном положении и до настоящаго времени не получает никакого образования, смотрит на это, как на временное зло. Мы знаем, что и самая правительственная власть только временно захвачена силой.

— Мы, рабочие, знаем, что реформа 19 февраля не обеспечивает самых необходимых потребностей крестьянина. Мы попрежнему остались без куска хлеба, с клочками никуда негодной земли, и перешли в зависимость к капиталисту. Мы, рабочие, все крепостные. Если нас из-за заботы о повышении заработной платы, обвиняют в стачках и ссылают в Сибирь, — значит, мы крепостные. Если нас прикладом солдатского ружья приневоливают продолжать работу на капиталиста, — значит, мы крепостные. Если первый встречный квартальный бьет нас кулаком в зубы и гонит нас пинками, — значит, мы крепостные! Русскому рабочему народу остается только надеяться самим на себя.

— Молчите, замолчите! — кричит вышедший из остолбенения, вскочивший со своего места, председатель суда.

Но Петр Алексеев, возвысив голос, продолжает:

— Рабочий народ должен надеяться только сам на себя. Нам не от кого ожидать помощи, кроме как от одной нашей интеллигентной молодежи. Она одна братски протянула нам руку. Она одна откликнулась и подала свой голос на крестьянские стоны Российской империи. Она одна до глубины души прочувствовала, что это значит, и отчего это отовсюду слышны стоны. Она одна от искреннего



Забастовка фабричных. Разгон митинга.

сердца желает вытащить нас на благоприятный для всех стонущих путь. Она одна выведет нас, всех наших братьев из этой лукаво построенной ловушки до тех пор, пока не сделает нас самостоятельными проводниками к общему благу народа. И она одна, — заканчивает свою речь Петр Алексеев, — пойдет с нами до тех пор, пока подымется мускулистая рука миллионного рабочего люда...

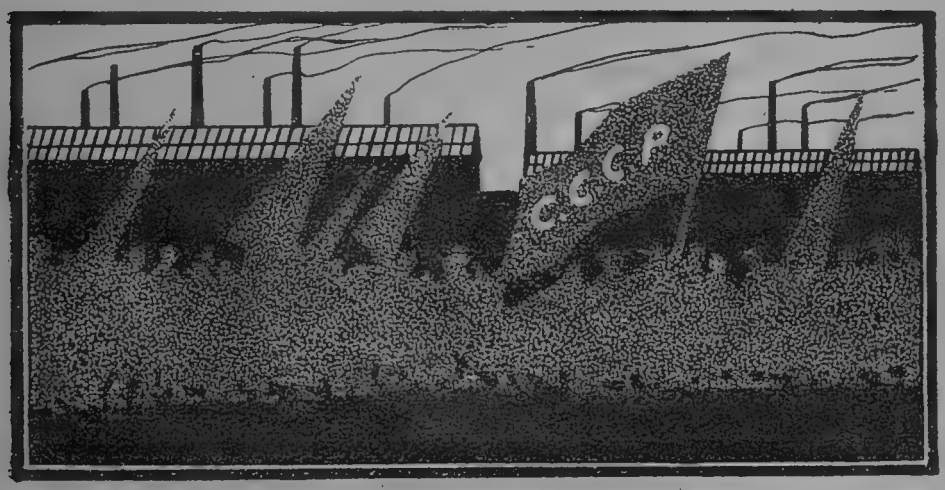
— Молчать! Молчать! — истерически кричит, вскочив со своего места, председатель особого присутствия в залитом золотом сенаторском мундире.

Но заставить замолчать Петра Алексеева и теперь не удается. Он еще более возвысил голос. Его глаза горят. Его слова четко и ясно разносятся по притихшему испуганному залу:

— Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда и разлетится в прах огражденное солдатскими штыками ярмо деспотизма!

Огромное впечатление, какое произвела вдохновенная речь Алексеева, не ограничилось судебным залом. „Далеко за пределами суда произвела эта речь потрясающее действие“, — указывает в своей работе об Алексееве Ю. М. Стеклов: — „Она совершенно неожиданно показала, какая огромная сила заключается в рабочей среде, в том классе населения, который до тех пор слишком многими не принимался в расчет в русских политических делах“. Сказалось впечатление от речи Алексеева и на личной судьбе подсудимого. Вместо ссылки на поселение, к какой приговорены были находившиеся в том же положении, как и он, его товарищи по процессу, суд, раздраженный смелой и правдивой речью, приговорил Алексеева к каторжным работам на десять лет.

В карийской каторжной тюрьме в Сибири отбывает долгие годы своего срока Петр Алексеев. После каторги его сослали в глухой улус далекой Якутской области. Здесь, в мерзлой тайге, он занимается земледелием, нечеловеческими усилиями добивается расчистки и обработки своего участка. Как ни тяжелы условия жизни, Петр Алексеев бодр и энергичен. Его поддерживает мечта вернуться на родину, снова оказаться в близкой и родной ему рабочей среде. Эта мечта была уже близка в осуществлению. В девяностых годах, когда по всей России стал сказываться подъем рабочего движения, Алексеев ждал возвращения, но мечтам его так и не суждено сбыться. Какие-то якуты с целью грабежа „убили поселенца Петра Алексеева". Убийцы напали на него в глухом лесу и ограбили его до-нага. Много дней лежит в лесу ограбленный труп убитого Алексеева. И лишь спустя много времени в мерзлой яме, под гнилыми листьями, найдено полицией в тайге тело бесстрашного бойца за освобождение рабочего класса, одного из первых пионеров рабочего дела в России!



СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
Предисловие		3
ГЛАВА I	**Молодая Россия**	5
ГЛАВА II	**Стенька Разин**	31
ГЛАВА III	**А. Н. Радищев**	52
ГЛАВА IV	**Декабристы**	71
ГЛАВА V	**Петрашевцы**	148
ГЛАВА VI	**Каракозов, Стефанович, Нечаев**	202
ГЛАВА VII	**Мужицкие бунты**	265
ГЛАВА VIII	**Рабочие волнения**	301

ИЗДАТЕЛЬСТВО Л. Д. ФРЕНКЕЛЬ

МОСКВА, Кузнецкий пер., 4, кв. 25, тел. 2-50-45.
ЛЕНИНГРАД, Мойка, 42, кв. 25, тел. 175-11.

ИСТОРИЯ, МЕМУАРЫ, ЛИТЕРАТУРА, КРИТИКА И ИСКУССТВО.

	Р.	К.
А. В. Богданович.—Три последних самодержца: Александр II, Александр III, Николай II	4	—
Н. Л. Бродский и Н. Н. Сидоров — Три литературно-художественных сборника:		
1. **От вольтерьянца до марксиста** (печатается)	—	—
2. **Русский рабочий** в отражениях художественной литературы XIX—XX в.в. (печатается)	—	—
3. **Деревня XIX—XX в.в.** в русской художественной литературе (печатается)	—	—
Вильгельм II.—Мемуары	1	20
Ф. А. Волькенштейн.—В царских судах	2	50
А. У. Гемфри.—История рабочего представительства в Англии. Пер. с англ. с примечан. и прилож. В. Цедербаум	—	75
Б. И. Горев.—От Томаса Мора до Ленина. 5-е издание	—	60
Л. П. Гроссман.—Этюды о Пушкине	—	90
С. М. Дубнов.—Евреи в России и Западной Европе в 3-х ч.	3	—
На веленевой бумаге в переплете	10	—
Гроф. Г. Леви.—Экономическая жизнь Соединенных Штатов Америки. Перевод Я. И. Рамма (печатается)	—	—
Литературная энциклопедия.—Словарь литературных терминов. В 2-х томах под редакц. проф. Н. Л. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Б. Лунина, В. Л. Львова-Рогачевского, акад. М. Н. Розанова и В. Е. Чешихина-Ветринского	7	—
В. Л. Львов-Рогачевский. — Новейшая русская литература. 3-е исправленное и дополненное издание	2	60
Ф. Нитти.—Вырождение Европы	1	—
Общественно-историческая Энциклопедия. — Под редакц. И. Н. Бороздина и Б. И. Горева. В 4-х томах (печатается)	—	—
И. Пуни.—Современная живопись	4	—
Письма И. С. Тургенева к Людвигу Пичу. — Под. редакц. Л. Гроссмана, богато иллюстрирована	3	60
Путеводитель по Государственному Румянцевскому Музею.	2	25
А. С. Суворин.— Дневник	3	—
А. Франс.—Книги и люди. Литературные очерки	1	25
О. Шпенглер.—Закат Европы, т. I. (распрод.)	2	50
Россия наших дней.—Сборник статей на немецком языке	2	50

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

	Р.	К.
Б. Бавинк.—Строение материи. Пер. с немецкого	1	—
В. Г. Богораз (Тан).—Эйнштейн и религия	1	—
Л. А. и Л. М. Василевские.—Аборт, как социальное явление	—	75
Д-р Л. М. Василевский.—Половое воспитание ребенка	—	60
Его же.—Гигиена труда	1	25
Артур Гааз.—Физическая картина мира	—	80
Н. Н. Дурново.—Грамматический словарь	—	90
Б. Ф. Добрынин.—Потонувшие материки	—	50
Ф. Джильбрет.—Азбука научной организации труда	—	60
Б. С. Жуков.—Происхождение человека	1	20
А. С. Ирисов.—Звук и музыка	—	75
Проф. Э. Коршельт. — Продолжительность жизни, старость и смерть. В трех выпусках. Перевод с 3-го нем. изд. проф. А. В. Анучина (печатаются)	—	—
Прив.-доц. А. К. Ленц. — Стыд (печатается)	—	—
Л. В. Литцман.—Веселое и занимательное в фигурах и числах	1	50
Б. М. Лобач-Жученко.—От челнока до океанского парохода	1	75
В. А. Любарский.—Болезнь и борьба с ней	1	20
Проф. П. И. Люблинский. — Преступления на половой почве (печатается)	—	—
Малая биологическая энциклопедия под ред. проф. П. Ю. Шмидта	3	75
Миниатюрный словарь иностранных слов	—	30
Проф. А. В. Немилов.—Пол и его значение (печатается)	—	—
В. К. Никольский.—Очерк первобытной культуры. 3-е доп. издание	1	50
Его же.—Критико-библиографический указатель по первобытной культуре (заканч. печатанием)	—	—
Ш. Нордманн.—Эйнштейн и вселенная. 3-е издание	1	20
В. Л. Омелянский.——Невидимый мир. 2-е изд. (печатается)	—	—
А. И. Опарин.—Ферменты и их роль в жизни организмов	—	30
Г. Н. Попов.—Очерки по истории математики	1	20
Г. Н. Попов и А. Воронец. - Математический словарь	—	80
Б. И. Словцов. Физиология труда. 4-е изд.	1	25
Его-же. - Питание и работа. 4-е изд.	—	20
Л. Сангурский.—Здоровье и брак	—	70
Л. Словцова.—Техника коммунального питания	1	50
Э. Рузсефорд. - В погоне за атомом. Пер. с английского	—	75
А. Ю. Фейт. - Очерки по физиологии человека	1	20
Н. А. Шилов. - Первые шаги в химии	—	20
Его же. - Химические основы питания	—	30
П. Ю. Шмидт (проф.). - Анабиоз	1	20
Е. А. Энгель. - Очерки материалистической социологии	1	35
Л. Н. Якобзон. — Онанизм и борьба с ним	—	50
И. Л. Ярхо. — Воспитание грудного ребенка здорового и больного	—	50

ИЗЯЩНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

	Р.	К.
Ш. Андерсон.—Уайнсбург, Огайо	1	35
Б. Бюргель.—Ракетой на луну (печатается)	—	—
А. С. Грин.—Алые паруса.	—	40
Г. Даниловский. Мария Магдалина. 2-е изд.	1	10
Его же.—Ласточка. Роман (печатается)	—	—
О. Генри.—Постскриптумы	—	75
Д'Эм.—Душа джунглей. Пер. с французского	1	20
Д. Конрад.—Приливы и отливы. (Повести).	—	90
Альберик Каюэ. — Молитвенник любви.	—	50
В. Лидин.— Мышиные будни	—	75
Его же.—Морской сквозняк.	—	90
Д. Лондон.—Сердца трех. 3-е изд.	1	50
Ш. Л. Филипп.—Мари Донадье. Пер. с франц.	—	90
А. Франс.—Книга моего друга	—	80
Его же.—Красная лилия.	1	35
Стендаль.—Новеллы, хроники и эпизоды. С худож. иллюстр.	15	—
Хаггард.—Бенита. Роман (печатается).	—	—
Честертон.—Жив-человек. Перев. с английского.	1	—
М. Шагинян.—Своя судьба. Роман.	1	20
Его же.—Приключения дамы из общества. Роман.	1	20
В. Язвицкий. — Побежденные боги. Роман.	—	70

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

К. Беркова.—Рыцарь духа. (Очерки о Герцене).	—	30
Детские книжки-ширмы: Шесть горошин.	—	40
„ „ „ Загадки	—	40
„ „ „ Рак и волчок	—	40
„ „ „ Петрушка	—	40
„ „ „ Сказка про дедку и репку	—	40
Л. Карроль.—Алиса в стране чудес.	2	—
Его же. — Алила в Зазеркальи (в перепл.).	3	50
М. Пришвин.—Колобок.	1	25

ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ В ИГРАХ.

Заканчиваются печатанием первые 6 серий:

1) Научно-Общественный отдел: а) Революционные деятели.
2) Природа: а) Животный мир, б) Насекомые, в) Растения.
3) Техника: а) Машины и аппараты, б) Способы передвижения.

Готовятся к печати:

Научно-Общественный отдел: а) Памятники революций, ученым, общественным деятелям и т. д., б) Ученые, изобретатели и путешественники.

ПЕЧАТАЕТСЯ

И НА-ДНЯХ ВЫЙДЕТ В СВЕТ:

Ил. ПОЛТАВСКИЙ

„Героическое в Русской Революции“

ТОМ II

СОДЕРЖАНИЕ 2-го ТОМА:

1) **Первомартовцы** (А. И. Желябов, Софья Перовская и др.).
2) **1 марта 1887 года** (Александр Ульянов, Генералов, Шевырев и др.).
3) **Тюрьмы и этапы.** (Процесс 193, дело 50 и др.).
4) **Террористы** (Иван Каляев, Егор Сазонов, Гершуни, Савинков и др.).
5) **Каторга и ссылка.**
6) **9-е Января.**
7) **Революция 1905 г.**
8) **Шлиссельбуржцы.**
9) **Февральекая Революция 1917 г.**

Ленингр. Гублит.—11830. Напечат. 5000—16 л.

Цена 2 р. 50 к.

СКЛАД ИЗДАНИЙ:
Центральное Т-во „КООПЕРАТИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО“
МОСКВА, Моховая, 20, тел. 5-87-92.

Ке.